

АВТОГРАФ

Женская библиотека

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ



МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ

ВИРДЖИНИЈА ВУЛФ

МИССИС
ДЕЛЛОУЭЙ

Женская библиотека

серия
«АВТОГРАФ»



Вирджиния Вулф
МИССИС
ДЕЛЛОУЭЙ



Санкт-Петербург • «Северо-Запад» • 1993

На суперобложке использована
репродукция картины Густава Климта

Вулф В.

В88 Миссис Дэллоуэй: Романы, повесть/ Пер. с
англ. Е. Суриц. — СПб.: Северо-Запад, 1993. —
480 с.

ISBN 5-8352-0218-0

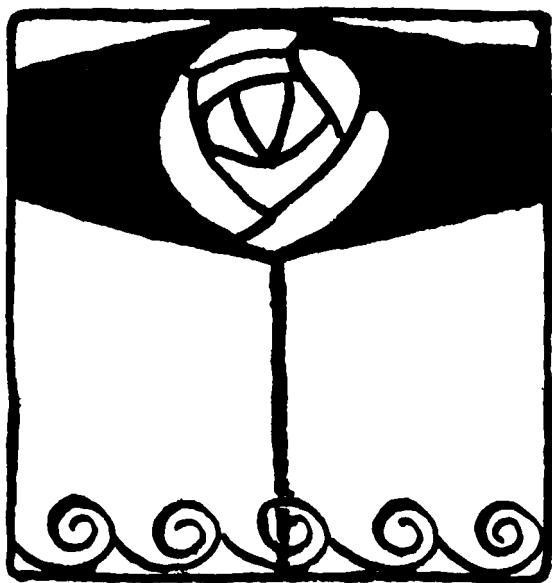
«Давайте не будем брать на веру, что жизнь про-
является полнее в том, что принято считать большим,
чем в том, что принято считать малым», — так писала
в одном из эссе знаменитая английская писательница
Вирджиния Вулф (1882—1941). Подлинный мастер пси-
хологической прозы, она умела создавать в своих ро-
манах мир «изнутри» — из глубины внутреннего чувства,
отвергая традиционную сюжетную событийность и опи-
сательность. Экспериментальная проза В. Вулф — часть
классического наследия литературы XX века.

*Перепечатка отдельных глав
и произведения в целом — запрещена.
Всякое коммерческое использование настоящего перевода
может быть осуществлено
исключительно с ведома издателя.*

- © Е. Суриц, перевод, 1989.
- © Издательство «Северо-Запад»,
оформление, 1993.
- ® ~~Северо-Запад~~. Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется
законом.

ISBN 5-8352-0218-0

МИССИС
ДЕЛЛОУЭЙ



THE
UNION
REVOLVED

MRS. DALLOWAY
1925





Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое – свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Боргоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей безвозвратно ушло – до чего же странно! – кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птвичку; на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере — сколько? уже больше двадцати лет, — даже посреди грохота улицы или проснувшись среди ночи, да, положительно — ловишь это особенное замирание, неопишемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично — вступление; потом непреложно — час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клеткот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и по верх всего странно тоненький визг аэроплана, — вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат

крикетные биты; «Лордз»¹, «Аскот»², «Рэниле»³ и всякое такое; они еще одеты синеватым, матовым блеском утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотуньи-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возьмется в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, — сама она тоже сегодня зажжет огни; у нее сегодня прием. А странно, в парке — вдруг — какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зобатые аисты; но кто же это шествует, выходя, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбред, старый друг Хью — дивный Хью!

— Добрый день, Кларисса! — сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. — Чему обязан?

— Я люблю бродить по Лондону, — сказала миссис Дэллоуэй. — Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали — увы — из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; выводить дочерей; Уитбреды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбред в лечебнице. Неужто Ивлин опять забо-

¹ Крикетный стадион в Лондоне.

² Ипподром близ Виндзора, где в июне проходят ежегодные скачки — важное событие в жизни английской аристократии.

³ Стадион для игры в поло.

лела? «Ивлин изрядно расклеилась», — сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр — вздувания и сокращения, что ли, — и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Даллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помахивая шляпой и уверяя Клариссу, что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, — Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту и отвезти ее в Бат¹, он без слов повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена — так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть несносным;

¹ Курорт с минеральными водами в Сомерсете; известен руинами римских бань.

совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листик на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса. Танцы, верховая езда — она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались — она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма — сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого — спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймский парк в одно прекрасное утро — возьмет и придет. Только Питер — какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, — Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему — и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома — так он ее называл (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, — конечно, права! — что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она — ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой — она же не стала спрашивать.) А с Питером всем надо было б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда дошло до той сцены в том садике, около того фонтана,

она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная — хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив — он уверял, — совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день — очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий; и все равно — как это захватывает; все это; скользящие такси; и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее — чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду — она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон — бездна народа; танцевали всю ночь

до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин¹. Но подумаешь, мало ли кто чего помнит; а любит она — вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот — даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее — она убеждена — есть в родных деревьях; в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как деревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшись
И зимы свирепой бурь²

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, — как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока» и «Мистер Спонж»³, «Мемуары» миссис Асквит⁴,

¹ Искусственное озеро в Гайд-Парке.

² Шекспир. Цимбелин.

³ Сборники рассказов Роберта Смита Сертиза (1805–1864), юмористически изображавшего жизнь английской аристократии в поместьях.

⁴ Асквит Марго (1864–1945) — жена Генри Асквита, премьер-министра Великобритании в 1908–1916 гг.

«Большая охота в Нигерии» — все лежали распахнутые. Бездна книг; но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неопишимо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда тыходишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость — делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! — думала она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы иначе!

Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тисненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной; крупной; по-мужски интересоваться политикой; иметь загородный дом; быть царственной; откровенной. У нее же, наоборот, тело узкое, как стручок; до смешного маленькое личико, носатое, птичье. Зато она держится прямо, что правда, то правда; и у нее красивые руки и ноги; и одевается она хорошо, особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время — странно — об этом своем теле (она остановилась полюбоваться на голландскую живопись), этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима; невиданна; неведома, и будто другая выходила замуж, рожала, а она только идет и идет без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит; некая миссис Дэллоуэй; даже не

Кларисса; а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя.

Ей страшно нравилась Бонд-стрит; Бонд-стрит ранним утром в июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни мишуры; один-одинешенек рулон твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд заказывал костюмы; немного жемчуга; семга на льду.

— Вот и все, — сказала она, глядя на рыбную витрину. — Вот и все, — повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром, в разгар войны, он повернулся на постели к стене. Он сказал: «С меня хватит». Перчатки и туфельки; она помешана на перчатках; а родной дочери, ее Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать.

Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Но уж лучше бедняжка Бом, чем мисс Килман; лучше чумка, и вар, и прочее, чем сидеть взаперти в душевой спальне с молитвенником! Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдет, все девочки через это проходят. Влюбленность такая. Хотя — зачем же именно в мисс Килман? Которой, конечно, несладко пришлось; и на это надо делать скидку, и Ричард говорит, она очень способная, по складу ума настоящий историк. Но, во всяком случае, они неразлучны. И Элизабет, ее родная дочь, ходит к причастию; а как полагается одеваться, как полагается вести себя с гостями за обедом — это ее нисколько не занимает, и вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми («идеи» разные — тоже), бесчувственными; мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущее бедствие, совершенный чурбан

в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая; вечно потная; пяти минут не пробудет в комнате, чтоб ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна; какая она бедная, а ты богатая; как она живет в трущобах, без подушки, или без кровати, или без одеяла, Бог там ее знает без чего, и вся душа ее иссохла от обиды из-за того, что ее из школы уволили во время войны — бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не ее же ненавидишь, а самое понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее призраком, из тех, с которыми бьешься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат, тираны; а ведь выпади кость иначе, кверху черным, не белым, и она бы мисс Килман даже любила! Но только не на этом свете. Нет уж.

Ну вот, опять, спугнула все-таки злобное чудище! И теперь кончено, уже затрещали сучья, — стук копыт идет по занесенной листьями чаще, непроходимой чаще души; никогда нельзя быть спокойной и радоваться, вечно стережет и готова напасть эта тварь — ненависть; и, особенно после болезни, повадилась причинять боль, и боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее любят и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох, эта ненависть!

Глупости, глупости, кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Мал-бери.

Она вошла, легкая, высокая, очень прямая, навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде.

Тут были: шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы; были ирисы. Ох — и она вдыхала земляной, сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая была ей обязана и считала доброй, и она правда была к

ней когда-то добра, очень добра, но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных поддонах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек, и розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, аромом; и будто уже седьмой час, и каждый цветок — сирень, гвоздика, ирисы, розы — сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах; и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом!

И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, «Глупости, глупости!» — говорила она себе все спокойнее, будто яркость, и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище-ненависть, смывали все; и волна несла ее самое, выше, выше, пока — ой! — на улице бахнул пистолетный выстрел!

— Господи, эти автомобили, — сказала мисс Пим, и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины — всецело ее вина.

Причиной страшного грохота, заставившего миссис Дэллоузэй вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малбери. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой обивки, но тотчас мужская

рука проворно задернула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более.

И, однако, сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит, с одной стороны, а с другой — к парфюмерии Аткинсона, понеслись невидно, неслышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами и, как облако, строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна их коснулась крылом; их призывал голос власти; подле витал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского, королевы ли, премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется: — Это примерминистра машина.

Септимус Уоррен-Смит, застрявший на тротуаре, услышал его.

Септимус Уоррен-Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него ни взглянет, сразу тревожится тоже. Мир поднял хлыст; куда падет удар?

Все стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдается во всем теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малбери; старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики; там и сям с веселым щелчком распахивался то зеленый зонтик, то красный. Миссис Дэллоуэй с охалкой душистого горошка в руках высунула в окно розовое маленькое личико, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов. Еще и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное

совсем почти вышло уже на поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал и качался, и грозил взметнуться костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только зачем?

— Пойдем, Септимус, — говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким; итальяночка.

Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет? Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место.

— Пошли, — сказала Лукреция.

Но ее муж — ведь они четыре, нет, пять лет уже как женаты — топнул ногой, дернулся и сказал: «Ладно!» — так зло, будто она к нему пристаёт.

Люди заметят; люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль; англичане — со своими детишками и лошадками в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились; но они теперь стали именно «люди», потому что Септимус сказал: «Я покончу с собой», а такое нельзя говорить. Вдруг услышат! Она разглядывала толпу. «Помогите! Помогите! — хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. — Помогите!» А еще осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом. Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел! А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк.

— Давай перейдем, — сказала она.

Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она, наивная, юная, двадцатичетырехлетняя, ради него покинула родину и друзей — он не должен ее обижать.

Автомобиль с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пиккадилли,

по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему овеяв лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговенья — к принцу ли, королеве, премьер-министру, не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчет пола возникли уже разногласия. Но определенно — сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни пришлось быть бок о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда.

Вероятно, королева, думала миссис Дэллоуэй, выходя от Малбери с цветами. Да, королева. И на лице ее застыло сверхдостоинное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар, думала Кларисса.

Шум для такой рани был удивительный. «Лордз», «Аскот», «Херлингем»¹. Да что же это? — удивлялась Кларисса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и — да, в эту жару — в мехах, представляли собой, Кларисса считала, смехотворное, невозможное, Бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать! Кларисса застряла по одну сторону Брук-стрит; сэр Джон Бакхэст, старый судья, — по другую, и тот автомобиль был как раз между ними (сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно,

¹ Лондонский аристократический клуб для игры в поло и его стадион.

и ему понравилась хорошо одетая женщина), когда шофер, чуть-чуть наклонясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козырнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно он двинулся с места.

И Кларисса догадалась; Кларисса все поняла; она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофера, диск, с оттиснутым именем — королевы, премьер-министра, принца Уэльского? — прожигающим путь себе собственным блеском (автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Клариссы из глаз), чтобы затмевать сверкание люстр, и дубовых листьев, и прочего, и Хью Уитбрета, и цвет английского общества — нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Клариссы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да, она будет сегодня встречать гостей, стоя на верху лестницы.

Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых тридцать секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении — к окнам. Выбирая перчатки — какие взять, до локтя ли, выше ли, лимонные ли, бледно-серые? — на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. До того пустячное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить; в целом, однако ж, огромное нечто; волнующее; ибо во всех магазинах — мужских ли костюмов, перчаток ли — незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза; подумав о мертвых; о флаге; о Великой Британии. В кабаке на задворках какой-то житель колонии недобрый словом задел Виндзоров, что повело к перебранке, а от нее к разбитым пивным кружкам и общей драке; и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке

белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины.

Автомобиль же пересек Пиккадилли и свернул на Сент-Джеймс-стрит. Рослые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудно определимыми целями стоявшие в оконной нише «Уайтса»¹, поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии, и бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Клариссы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей, руки опустили по швам, и казалось, вот-вот они бросятся на жерла вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами «Татлера»² и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли; точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб; точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Мол Прэт, в шали, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику (это же, ясное дело, был принц Уэльский) и бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит (а ведь это целая кружка пива!) просто так, от веселости и от презрения к бедности, — если б взор констебля вовремя не унял верноподданного порыва старой ирландки. Часовые Сент-Джеймского дворца взяли на караул; полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен.

Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали; поглядывали на дворец с реющим флагом; на величаво высящуюся Викторию; похваливали ее уступчики и каскады; ее герани; пристально глядя на Мэлл, вдруг изливали чувства

¹ Старейший лондонский клуб консерваторов.

² «Татлер» («Болтун») — сатирически-нравоучительный журнал, издававшийся в 1709-1711 гг. Р. Стилом.

на какую-нибудь машину; убедившись, что зря обласкали обывателя за рулем, тотчас брали излишние чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания; и все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в чреслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор; им кивнет королева; им улыбнется принц; при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям; о конюших, о реверансах; о старинном кукольном домике королевы; о том, что принцесса Мэри — на поди! — вышла за какого-то англичанина, а принц — ах, принц! — он, говорили, вылитый старый король Эдуард, только subtilней. Принц жил в Сент-Джеймском дворце, но почему б ему утром не навеститься к матери?

Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в Пимлико у своей каминной решетки, однако не спуская с Мэлла глаз, а Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных, сколько их там, горничных, думала про комнаты, сколько их там, комнат. Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и несколькими личностям без определенных занятий. У маленького мистера Боули (сам он обитал в Олбани¹, душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно некстати от подобных вещей; бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война — ох, уж эта война!) в глазах просто стояли слезы. Теплый ветер, добродушно пройдясь по легким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули, и он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал ее высоко над головой, и бедные матери Пимлико беспрепятственно жались к нему; он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.

¹ Фешенебельный многоквартирный жилой дом на Пиккадилли.

Вдруг миссис Коутс задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился, ей-богу, что-то писал! Выводил по небу буквы! Все задрали головы.

Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, он делал петли, он парил, он взмывал, он падал и все время, все время, все время сзади плоёное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу буквы. Но какие же буквы? «Б», что ли?.. А потом «Р»? Всего на секунду они застывали и сразу расплывались, и таяли, и стирались с неба, и аэроплан летел себе дальше и на новом небесном куске уже снова чертил «Б»... и «Р» и «Ю»...

— Крем, — произнесла миссис Коутс благоговым, пресекшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх.

— Мокко, — пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэлла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лёт спугнутых чаек, сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немислимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола, и звон таял, не долетая до чаек.

Аэроплан кружил, качался, выделял черт-те что, легко, вольно, как конькобежец...

— Это же «и», — сказала миссис Блечли...

или танцор...

— Это же ириски, — пробормотал мистер Боули...

(автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул), и выталкивал дым, и несся все дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков.

Исчез. Скрылся за облаками. Ни звука. Облака, на которых висели буквы Р, О или Ю, плыли и плыли, будто посланные с Запада на Восток с чрезвычайно важным известием, каким — никогда

не выяснится, но все равно чрезвычайно важным известием. Потом — вдруг — как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков, и снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мэлле, в Грин-Парке, на Пиккадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-Парке, — и сзади вился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы — но что за слово он выводил?

Лукреция Уоррен-Смит, сидя рядом с мужем в Риджентс-Парке на Главной аллее, посмотрела вверх.

— Смотри-ка, смотри-ка, Септимус, — вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтоб она отвлекала мужа (хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился), отвлекала внешними впечатлениями.

Ну да, подумал Септимус, глядя вверх, они мне сигналият. Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка; но она была достаточно внятна — красота, божественная красота, — и слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают, и расплзаются в сини, и в неизреченной своей благости, по милой своей доброте дарят ему образ за образом немислимой красоты, и сигналами обещают безвозмездно, навечно — только смотри — снабдить его красотой, еще красотой! Слезы катились у него по щекам.

Да, это ириски. Это реклама ирисок, сказала Реция присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе: «и»... «р»... «и»...

— К... Р... — сказала няня, и Септимус услышал, как у самого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органые ноты, но с хрипотцой, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие — что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! Слава Богу, Реция страшно прижала ему ладонью колено, придавила

к скамье, не то бы от того возбуждения, с каким вязы теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всеми листьями сразу, все окатывая то редеющим, то загустевающим цветом от сини до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величаво они вздымались, они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки. Надо только закрыть глаза. Не смотреть.

Но они кивали; листья были живые; деревья — живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, оведали его, оведали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок — белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии...

— Септимус! — сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как бы люди не заметили. — Я до фонтана и обратно, — сказала она.

Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше б он умер! Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее, и все он делает страшным — деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят в свистульки и шлепаются — все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой; и никому ведь не скажешь: «Септимус слишком много работал, он устал» — и больше ничего ведь не скажешь, даже своей родной матери. Когда любишь — делаешься такой одинокой, думала она. И никому ведь не скажешь, теперь не скажешь и Септимусу, и, оглянувшись, она увидела, как он сидит — скорчился, в своем потрепанном пальтеце, смотрит. Просто трусость, когда мужчина говорит, что покончит с собой, но ведь Септимус воевал; он был храбрый; а это разве Септимус? Она кружевной воротничок надела, она надела новую шляпку, а этот и не заметил; ему без

нее хорошо. Ей без него никогда не может быть хорошо! Никогда! Эгоист. Все мужчины такие. И вовсе он не болен. Доктор Доум говорит: у него ничего абсолютно серьезного. Она протянула и разглядывала свою руку. Вот! Обручальное кольцо чуть не свалилось — до того она похудела. Ей — вот кому плохо. И никому ведь не скажешь.

Далеко осталась Италия, белые дома и комната, где они с сестрами делали шляпки, и шумные улицы, где каждый вечер толпится народ и гуляют, смеются, не то что эти калеки на колесиках, которые пьются на противные, растыканные по горшочкам цветы.

— Посмотрели б, какие сады в Милане! — сказала она громко. Кому?

Никого же нет. И слова загасли. Так гаснет ракета; искры чуть поцарапают ночной свод и сдаются тьме, и тьма опускается, проливается на очертания домов и башен; в ней затихают и тонут бледные, печальные скаты. Но вот они все исчезли, а ночь по-прежнему ими полна; утратив краски, растеряв окна, они тем настойчивей существуют и выдают ночи то, чего ни за что не понять простодушной открытости дня: тревогу и страхи вещей, собравшихся во тьме, теснящихся во тьме, томящихся по той радости, которую приносит рассвет, когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимает с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо; и все сызнова себя дарит глазам; сызнова существует. «Я одна, одна!» — крикнула она фонтану Риджентс-Парка (глядя на индейца и его крест); наверно, как в полночь, когда заблудились вежи и земля принимает древний свой облик, в каком видели ее, высажаясь, римляне: туманная, и горы еще безымянны, и реки петляют неведомо где — такая была тьма и в душе у Реции; и вдруг, будто она стояла на доске, и оттолкнулась, и доска подпрыгнула — она сказала себе, что она его жена, они давно поженились в Милане, и никогда, никогда она никому не скажет, будто он сумасшедший! Доска

подпрыгнула, а она стала падать, вниз, вниз. Он ушел, подумала она, ушел, как грозился, — он закончит с собой, бросится под грузовик! Но нет; вот он; сидит, один, в своем потрепанном пальтеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух.

Люди не смеют рубить деревья! Бог есть. (Свои откровения он записывал на обороте конвертов.) Изменить мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет известно (он и это записал). Он обождал. Вслушался. Воробушек с ограды напротив прочитал: «Септимус. Септимус» раз пять и пошел выводить и петь — звонко, пронзительно, по-гречески о том, что преступления нет, и вступил другой воробышек, и на дряхлых пронзительных нотах, по-гречески, они вместе, оттуда, с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет.

Вот — мертвые совсем рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой!

— Ты что говоришь? — вдруг спросила Реция и села рядом.

Опять перебила! Вечно она мешает.

— Подальше от людей — надо скорей уйти подальше от людей, — так он сказал (и вскочил). Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зеленой полосой под синющим куполом с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму мрели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули длинные шеи над оградой зоологического сада и тьякали, выли. Там и сели, под деревом.

— Погляди, — молила она, показывая на группу мальчишек, они шли с крикетными битами, и один все шаркал, и вертелся на каблуке, и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле.

— Погляди, — молила она, потому что доктор Доум ей сказал, чтоб отвлекала его внешними впечатлениями, водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет — это прекрасная игра, говорил

доктор Доум, игра на свежем воздухе, игра в самый раз для ее мужа.

— Погляди, — повторяла она.

Погляди, зывало к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбежному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу, но не надо, нет, нет — и он отпихнул рукою вечное страдание, вечное одиночество.

— Погляди же! — повторяла она, чтобы он не говорил сам с собою на людях.

— Погляди же! — молила она. Но на что тут было глядеть? Только овцы одни. Вот и все.

Как пройти к метро «Риджентс-Парк»? Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро «Риджентс-Парк», хотела знать Мейзи Джонсон. Она только позавчера из Эдинбурга приехала.

— Нет, нет, не так — вон туда! — крикнула Реция, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса.

Оба странные, подумала Мейзи Джонсон. Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Леденхолл-стрит и пошла утром по Риджентс-Парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали: женщина, видимо, иностранка, он — не в себе; и, доживи она даже до старости, все равно ее память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Риджентс-Парку пятьдесят лет назад. Ведь ей исполнилось всего девятнадцать, и наконец-то она дорвалась до Лондона; но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу, как девушка вскочила, как махала рукой, а он — ужасно странный какой-то: наверно, поссорились; навек решили расстаться; да, что-то у них определенно стряслось; ну, а это все (она опять вышла на Главную аллею): каменные чаши, выстроившиеся цветы, старики и старухи, большей частью калеки, в креслицах — все это тоже после Эдинбурга было странно. И присоединясь к тихо пле-

тущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании — чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный, теплый ветер всех оведал и оставлял в пристальных, неувиденных глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешенное, — Мейзи Джонсон чуть не крикнула «ох!» (тот молодой человек всерьез напугал ее; она поняла — определенно там что-то стряслось).

Мейзи хотелось кричать: «Ужас! Ужас!» (Вот уехала от своих; ведь говорили же ей, предупреждали.)

Зачем она не осталась дома! И Мейзи заплакала, ухватясь за железную шишечку.

Девчонка, думала миссис Демпстер (которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Риджентс-Парке), пока не знает, что к чему; да, оно лучше — быть покрепче, и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь, думала миссис Демпстер. Ей несладко пришлось, и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. Ладно, вот выйдешь замуж. Ты из себя-то ничего, думала миссис Демпстер. Выйдешь замуж, тогда узнаешь. Стряпня, то да се. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее — я б согласилась, а? — думала миссис Демпстер, и ей очень хотелось шепнуть кое-что Мейзи Джонсон и почувствовать на изношенном, старом лице поцелуй; чтоб ее поцеловали. Из жалости. Да, тяжелая была жизнь, думала миссис Демпстер. Чего только не отняли. Радость; внешность и ноги. (Она подтянула под юбку культи.)

Внешность, думала она горько. Все дребедень, моя милочка. Есть, да пить, да вместе спать в добрые и черные дни; тут не до внешности; но если желаешь знать, Кэрри Демпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие коврижки. Ей только хотелось, чтоб ее пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтоб Мейзи Джонсон ее пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками.

Ах да — аэроплан! Миссис Демпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. (Аэроплан Бог знает что выделывал, кувыркался.) Она всегда далеко заплывала в Маргейте, конечно, не так чтоб совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал. У нее прямо дух захватило. Опять вверх! Там прекрасный парень сидел, миссис Демпстер об заклад была готова побиться, и все дальше, дальше летел аэроплан, летел и таял — все дальше, дальше; проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами; над островком серых церквей, святого Павла и прочих, туда, где за Лондоном лежат поля, и темные стоят леса, и дрозд-ловкач прыгает дерзко, глядит зорко и — хватать улитку об камень — раз-два-три!

Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой; стремлением; сутью; символом (как представлялось мистеру Бентли, который всю жизнь трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон) души человеческой; ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела, своего обиталища, с помощью мыслей — Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя, — аэроплан же летел и летел.

И пока жалкий, болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступеньках святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни, он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу; к нему же принадлежат великие мужи; ради него принимали смерть мученики; почему б не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким, — почему б не войти? — и пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-сёркэс.

Странно; тихо он летел. Ни один звук не взвился над гудением улицы. Будто неуправляемый лет, будто аэроплан сам летел куда вздумается. И вот — вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытии, вверх потек белый дым, клубясь, выводя «И», «Р», «И».

— И на что они смотрят? — сказала Кларисса Дэллоуэй отворившей дверь горничной.

В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Дэллоуэй вступила в дом, как отрешаясь от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрывала и молитвенный дух. На кухне насвистывала кухарка. Стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь, и, склонясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась, и, нагибаясь к блокноту, куда заносилось, кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты — почки на дереве жизни, это цветение тьмы (будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза); нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила; но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарностью слугам, да и собакам, и канарейкам, ну а главное, мужу, Ричарду, он основа, на которой все это держится — веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки (миссис Уокер была ирландка и свистела на кухне день-деньской), нужно, нужно платить из тайного вклада драгоценных минут, думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить что-то:

— Мистер Дэллоуэй, мэм...

Кларисса читала в блокноте:

«Леди Брути хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею».

— ...Мистер Дэллоуэй, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома.

— Ах так! — сказала Кларисса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование (но не муку); ощутила

их сродство; поняла намек; подумала про то, как они любят, эти господа; решила, что сама она ни за что не будет страдать; и, приняв из рук миссис Дэллоуэй зонтик, как священный меч, оброненный богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке.

— Не страшись, — сказала себе Кларисса. — Злого зноя не страшись. — Ибо леди Брутн пригласила Ричарда на ленч без нее, и от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне; и сама Кларисса сбилась; она дрогнула.

Милисент Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутн, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь; что с каждым годом отсекается от нее доля; что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собой комнату и замирала на пороге, будто она — пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли.

Она положила блокнот на столик. И побрела вверх по лестнице, забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приема, где друзья по очереди зеркалом отражали ее лицо и эхом голос, и вот она затворила за собою дверь и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно суетливого июньского утра, которое для других держало нежный накал роз, да, для других, для других; она это чувствовала, замерев на лестнице у распахнутого окна, куда неслись хлопки штор и собачий лай; и пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, несся гул, дребезжание и цветение утра — оттуда, с воли, не про

нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз леди Брути, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила.

Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность; был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы; в полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, несмятой белой полосой тянулась от края к краю. Все уже и уже будет ее кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо¹. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтоб ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке; узкая кровать; и, читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девства, выстоявшего роды и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекши Ричарда обаянием, потом она вдруг обманывала его надежды, пойдя на поводу у этого холодного духа — тогда, например, в роце под Кливлендом. И потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте. И не в уме. А в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою. Ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей, от этого ее защищала природа (которая всегда права); но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина ей изливалась, что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее

¹ Марбо Антуан Марселен (1782–1854) — французский генерал.

прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому, что сама она старше, или просто из-за случайности — дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной (поразительно, как иногда действуют звуки), но вдруг она понимала, что, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг; но и того довольно; это было откровение, внезапное, будто краснеешь, и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя, и тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины и раны. Это как озарение; как вспышка спички в крокусе; все самое скрытное освещалось; но вот опять близкое делалось дальним; понятное — непонятным. И уже он пролетал, тот миг. В полном несогласии с теми мигами — узкая кровать (вот она положила на нее шляпку), и барон Марбо, и обгорелая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом, и, подняв голову, она слышит, как Ричард долго-долго, чтоб не стукнула, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается! Как же ей всегда бывает смешно!

Да, так насчет любви (думала она, убирая плащ), насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сетон; ее отношение к Салли Сетон когда-то. Что же это еще, если не любовь?

Она сидела на полу — это было ее первое впечатление от Салли, — сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Мэннингов? Или у Кинлох-Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях (только забыла где), потому что, совершенно же точно, она спросила у кого-то, с кем разговаривала: «А это кто?» И он сказал, и сказал, что родители Салли не ладят (она еще содрогнулась в душе: родители — и вдруг ссорятся!). Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли была красавица, и того удивительного типа, который больше всего нравился Клариссе — темная, большеглазая, — и была черточка в этом лице, которой, сама

ею не обладая, особенно Кларисса завидовала — какая-то самозабвенность, будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть; свойство, более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у нее в жилах течет французская кровь, предок был при дворе Марии-Антуанетты, кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего, на ночь глядя нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал, чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив брошку, чтоб добратся. Выбежала из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не Салли, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем Бортоне. Она была совершенная невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы. (Когда Салли дала ей Уильяма Морриса¹, его пришлось обернуть бумагой.) И они сидели вдвоем у нее в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, все это Салли, но она и сама скоро зажглась, читала Платона в постели до завтрака; читала Морриса и Шелли тоже читала.

И что за поразительная сила — одаренности, личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные, узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, охавками рвала штокрозы, далии, — наобум сочетая никогда не виданные вме-

¹ Моррис Уильям (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства и общественный деятель.

сте цвета, — срезала головки и пускала плавать в широких чашах. И это просто ошеломляло — особенно на закате, когдаходишь ужинать. (Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами.) А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта злоющая Эллен Аткинс, потом весь день ворчала: «Вдруг бы кто из молодых людей увидел...» Да, она многих возмущала. Папа говорил: неряха.

Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить; оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит (о замужестве говорилось всегда как о бедствии), и оттого эта рыцарственность, желание охранить, защитить, которого с ее стороны было куда больше, чем у Салли. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла Бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Невозможная, просто невозможная. Но зато ведь и обаяние само, во всяком случае в глазах Клариссы; раз как-то, она запомнила, у себя в спальне, в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: «Она здесь, под этой крышей! Она под этой крышей!»

Нет, сейчас эти слова — пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодела она от волнения, в каком-то восторге расчесывая волосы (вот к ней и начало возвращаться то, прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы), а красный закат зигзагами расчерчивали грачи, и она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала: «О, если б мог сейчас я умереть! Счастливее я никогда не буду»¹. Это было ее чувство — чувство Отелло,

¹ Шекспир. Отелло.

и она, конечно, ощущала его так же сильно, как Отелло у Шекспира, и все оттого, что она спускалась, в белом платье, ужинать вместе с Салли Сетон.

Она была в красном, газовом — или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица, будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюбленности (а это была влюбленность, ведь верно?) — совершенное безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тетя Елена. Читал газету папа. Питер Уолш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс; был и Йозеф Брайткопф, был, конечно, бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы чтоб читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса.

Все это составляло лишь фон для Салли. Она стояла у камина и чудесным своим голосом, каждое произносимое слово обращая в ласку, говорила с папой, таявшим против воли (он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать и забыла под дождем на террасе), а потом вдруг сказала: «Ну можно ли сидеть в духоте!» — и все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась: сорвала цветок; поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся! Все исчезли; она была с Салли одна. Ей как будто вручили подарок, бережно завернутый подарок, и велели хранить, не разглядывать — алмаз, словом, что-то бесценное, но завернутое, и пока они бродили (туда-сюда, туда-сюда), она его раскрыла, или это сияние само прожгло обертку, стало откровенным, набожным чувством! И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них.

— Звездами любуетесь? — сказал Питер.

Она как с разбегу впотьмах ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно!

И дело не в ней самой. Просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли; его враждебность и ревность; его желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это все, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли (никогда она так ею не восхищалась) невозмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить названия звезд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьезно. А она стояла рядом. И слушала. Она слышала названия звезд.

— Ужасно! — говорила она про себя, и ведь она как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да помешает.

Зато скольким она потом была Питеру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры? Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова: «сентиментальный», «цивилизованный». Они и сейчас то и дело всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга. Сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная: размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Сам скажет или она прочтет у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая.

Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались ее задумчивостью и сжали ее только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой пятьдесят второй год, впереди пока целехонькие месяцы. Июнь, июль, август! Все еще почти непчатые, и, словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Кларисса окунулась (перейдя к туалетному столику) в самую гущу происходящего, вся отдалась минуте — минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уж стольких утр, и увидела, будто сызнова и впервые, как зеркало,

туалетный столик, флакончики отражают всю ее под одним углом (перед зеркалом), увидела тонкое, розовое лицо женщины, у которой сегодня прием; лицо Клариссы Дэллоуэй; свое собственное лицо.

Столько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое! Глядя в зеркало, она поджимала губы. Придавала лицу законченность. Это она — но законченная; заостренная, как стрела; целеустремленная. Это она, когда некий сигнал заставляет ее быть собою и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, до чего они разные, несовместимые, — стягиваются и создают для посторонних глаз одно, тот единый, сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную, — для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе, для кого-то, возможно, якорь спасения от одиночества; она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны; и она всегда старается быть одинаковой, и не дай Бог, чтобы кто догадался обо всем остальном — слабостях, ревности, суетности, мелких обидах, из-за того, например, что леди Брути не пригласила ее на ленч, что, конечно (думала она, проводя гребнем по волосам), не лезет ни в какие ворота. Да, так где ж это платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Кларисса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху, под складками. Зеленый шелк весь сиял под искусственным светом, а теперь, на солнце, поблек. Надо его починить. Самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы, и что? — ах, ну да, наперсток, конечно, — взять в гостиную, потому что ведь надо еще кое-что написать, присмотреть, как там у них идет дело.

Странно, думала она, остановясь на площадке и входя в тот единый, сверкающий образ, странно, как хозяйка знает свой дом! Спиралью вилась по

лестничному пролету смутные звуки; свист швабры; звяканье; звон; гул отворяемой парадной двери; голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ; стук серебра на подносе; серебро начищено для приема. Все для приема.

(А Люси, внеся поднос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкапулку — посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут; встанут; будут говорить, растягивая слова, — она тоже так научилась. Дамы и господа. Но ее хозяйка из всех была самая красивая — хозяйка серебра, полотна и фарфора, — потому что солнце, и серебро, и снятые с петель двери, и посыльные от Рампльмайера вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. Глядите-ка! Вот! — сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтреме, где она проходила свою первую службу, и кинула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэллоуэй.)

— А, Люси! — сказала она. — Как чудесно блестит серебро!

— А как, — сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо, — как было вчера в театре?

— О, тем-то пришлось до конца уйти, — сказала она, — им уже к десяти надо было обратно! — сказала она. — Так и не знают, чем кончилось, — сказала она. — В самом деле, неприятно, — сказала она (ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся). — Просто ни на что не похоже, — сказала она, и, сдернув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула:

— Заберите! Отдайте миссис Уокер! Подарите от меня! Заберите!

И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев: не помочь ли ей с платьем?

Нет-нет, сказала миссис Дэллоуэй, у нее ведь и так работы хватает, и без платья у нее вполне хватает работы.

— Спасибо, спасибо, Люси, — сказала миссис Дэллоуэй, и она повторяла: «спасибо, спасибо (сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье), спасибо, спасибо», повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой — такой, как ей хочется, благородной, великодушной. Они ее любят. Да, ну вот, теперь, значит, платье — где тут разорвано? Главное, вдеть нитку в иголку. Платье было любимое, от Салли Паркер, чуть не последнее от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше, живет теперь в Илинге, и если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная, решила Кларисса (но откуда, откуда возьметса эта минутка?), я навещу ее в Илинге. Да, это личность и художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое — где-то, чуть-чуть. Зато уж ее платья можно смело куда угодно надевать. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец. Она надевала их в Хатфилд; и в Букингемский дворец.

И тишина нашла на нее, покой и довольство, покуда иголка, нежно проводя нитку, собрала воедино зеленые складки и бережно, легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают; собираются — опадают; и мир вокруг будто говорит: «Вот и все», звучней, звучней, мощней, и уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: «Вот и все». «Не страшись», — твердит это сердце. «Не страшись», — твердит сердце, предав свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете, снова, снова, ну вот, собирается, опадает. И только лежащий теперь уже слышит, как жужжит, пролетая, пчела; как разбилась волна; как лает собака; лает где-то вдали и лает.

— Господи, звонят! — вскрикнула Кларисса и остановила иголку. И тревожно прислушалась.

— Миссис Дэллоуэй меня примет, — сказал пожилой господин в холле. — Да, да, она меня примет, — повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегаая по лестнице. — Да-да-да, — бормотал он на бегу. — Примет, примет. После пяти лет в Индии Кларисса меня примет.

— Да кто же это... да что же это... — недоумевала миссис Дэллоуэй (ну, не наглость ли — врываться в одиннадцать утра, когда у нее сегодня прием?), слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку. Она заметалась — прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница — свое целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошел... на секунду у нее даже вылетело из головы имя, до того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг свалился с утра! (Она не читала его письма.)

— Ну как ты? — спрашивал Питер Уолш, буквально дрожа; беря обе ее руки в свои, целуя у нее обе руки.

Она постарела, думал он, садясь, не стану ей ничего говорить, думал он, но она постарела. Разглядывает меня, подумал он, и вдруг смешался, вопреки этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Все тот же, думала Кларисса, тот же взгляд странноватый; тот же костюм в клеточку; чуть-чуть что-то не то с лицом, похудело или подсохло, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и все тот же.

— Как чудесно, что ты тут! — сказала она. И нож выгасил, она подумала. Старые штучки.

Он сказал, что только вчера вечером приехал. И придется, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все — Ричард? Элизабет?

— А это по какому поводу? — И он ткнул ножом в сторону зеленого платья.

Он прелестно одет, думала Кларисса. А меня критикует вечно.

Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платье, думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии; чинила платье. Развлечения. Приемы. Парламент, то да се, думал он и все больше раздражался, все больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политика, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то, думал он. Так-то. И, щелкнув, он закрыл нож.

— Ричард — чудесно. Ричард в комитете, — сказала Кларисса.

И она раскрыла ножницы и спросила: ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня прием?

— На который я тебя не приглашу, — она сказала, — мой милый Питер! — она сказала.

Но как чудно хорошо она сказала «мой милый Питер»! Да, да, все было чудно хорошо — серебро, стулья. Все, все чудно хорошо! Он спросил, почему она не пригласит его на прием.

Да, думала Кларисса. Он очарователен! Просто очарователен! Да, я помню, как невысказанно трудно было решиться — и почему я решилась? — не пойти за него замуж в то ужасное лето!

— Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал! — вскрикнула она, ладонь на ладонь складывая руки на платье.

— А помнишь, — спросила она, — как хлопали в Бортоне шторы?

— Да уж, — сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом; тот умер; и он тогда не написал Клариссе. Правда, он не ладил со старым Парри, сварливым, шаркающим стариканом, Клариссиным отцом Джастином Парри.

— Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом, — сказал он.

— Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну... наших друзей, — сказала Кларисса и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться.

Конечно, хотел, думал Питер. Я тогда чуть не умер с горя.

И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня.

Никогда я не был так несчастлив, думал он. И, будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Клариссе; вытянул руку; поднял; уронил. Он висел над ними — тот лунный лик. И Кларисса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе, в лунном свете.

— Там теперь Герберт хозяин, — сказала она. — Я туда не езжу, — сказала она.

И в точности, как бывает на террасе, в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой, пригорюнясь, молчит и разглядывает луну, а потому остается молчать и ему, и он ерзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит, — так теперь и Питер Уолш.

И зачем ворошить прошлое, думал он, зачем заставлять его снова страдать, не довольно ль с него тех чудовищных мук. Зачем же?

— А помнишь озеро? — спросила она, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг невпопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо — сразу — она, девчонкой, бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла и несла на руках свою жизнь, и чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью, и тогда она ее сложила к их ногам и сказала: «Вот что я из нее сделала, вот!» А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица; остановился на нем в поволоке слез; и вспорхнул и улетел, как, едва тронув ветку, птица

вспархивает и улетает. Осталось только вытереть слезы.

— Да, — сказал Питер, — да-да-да, — сказал он так, будто она что-то вытянула из глубины наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: «Хватит! Довольно!» Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом; ему только-только за пятьдесят. Сказать? — думал он. Или не стоит? Лучше б сразу. Но она чересчур холодна, думал он. Шьет. И ножницы эти. Дейзи рядом с Клариссой показалась бы простенькой. И она сочтет меня неудачником, да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Дэллоуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим со всем — инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфин, и подсвечники, и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры — конечно, он неудачник! Мне претит это самодовольство и ограниченность, думал он; все Ричард, не Кларисса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж? (Тут появилась Люси, внося серебро, опять серебро, и до чего мила, стройна, изящна, думал он, покуда она наклонялась, это серебро раскладывая.) И так все время! Так и шло, думал он. Неделя за неделей; Клариссина жизнь; а я меж тем... подумал он; и тотчас из него будто излучилось разом — путешествия; верховая езда; ссоры; приключения; бридж; любовные связи; работа, работа, работа! И, смело выгтащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой (тот же, готова была поклясться Кларисса, что и тридцать лет назад), он сжал его в кулаке.

И что за привычка невозможная, думала Кларисса. Вечно играть ножом. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, баллаболкой. Но я-то хороша, подумала она и, снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна (а ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи), и каждый, кому не лень, может вломиться и застать ее под склоненным кустом куманики, — призвала все, что умела, все, что имела —

мужа, Элизабет, словом, себя самое (теперешнюю, почти неизвестную Питеру) для отражения вражьей атаки.

— Ну, а что у тебя происходит? — спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением; трясут гривами, блестят их бока, изгибаются шеи. Так Питер Уолш и Кларисса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собрал свои силы. Готовил к атаке все: похвальные отзывы; свою карьеру в Оксфорде; и как он женился — она ничего об этом не знает; как он любил; и свою беспорочную службу.

— О, тьма всевозможных вещей! — объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки-толпы, он поднял руки к вискам.

Кларисса сидела очень прямо; она затаила дыхание.

— Я влюблен, — сказал он, но не ей, а тени, встающей во тьме, которой не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме.

— Влюблен, — повторил он, уже сухо — Клариссе Дэллоуэй, — влюблен в одну девушку в Индии. — Он сложил свой венок. Пусть Кларисса что хочет, то с этим венком и делает.

— Влюблен! — сказала она. В его возрасте в галстучке бабочкой — и под пятою этого чудовища! Да у него же шея худая и красные руки. И он на шесть месяцев старше меня, доносили глаза. Но в душе она знала — он влюблен. Да, да, она знала — он влюблен.

Но тут неукротимый эгоизм, неизбежно одолеваяющий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, — неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Клариссы краской; Кларисса помолодела; очень розовая, с очень блестящими глазами, сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. Влюблен! Не в нее. Та небось помоложе.

— И кто же она? — осведомилась Кларисса.

Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними.

— Она, к сожалению, замужем, — сказал он. — Жена майора индийской армии.

И, выставляя ее перед Клариссой в столь комическом свете, он улыбался странно-иронической, нежной улыбкой.

(Но все равно он влюблен, думала Кларисса.)

— У нее, — продолжил он деловито, — двое детишек — мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода.

Вот они тебе, думал он. На, делай с ними что хочешь, Кларисса! Пожалуйста! И с каждой секундой жена майора индийской армии (его Дейзи) и ее двое детишек становились будто прелестней под взглядом Клариссы, словно он поджег серый шарик на металлическом блюде, и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости (ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Кларисса), их восхитительной близости.

Подольстилась к нему, одурачила, думала Кларисса. Три взмаха ножа — и ей совершенно ясна была эта женщина, эта жена майора индийской армии. Глупость! Безумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь еще эта жена майора индийской армии. Слава Богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж! Да, но он влюблен, старый друг, милый Питер влюблен.

— И что ты думаешь делать? — спросила она.

— О, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнз инн», уж они-то найдут, что тут делать, — сказал он. И он положительно стал подрезать перочинным ножом себе ногти.

Да оставь ты ради Бога в покое свой нож! — взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность — вот его слабость; совершенное нежелание считаться с тем,

что ощущает другой, — вот что вечно бесило ее. Но в его-то возрасте — какая нелепость!

Знаю я все, подумал Питер, знаю, против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Кларисса, Дэллоуэй и прочая братия. Но я покажу Клариссе! — и вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам.

И Кларисса наклонилась вперед, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала — и она ощущала его щеку на своей все время, пока унимала колыханье, вздуванье султанов в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром, а когда ветер унялся, она сидела, трепля его по коленке, и было ей удивительно с ним хорошо и легко, и мелькнуло: «Если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя».

Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась в башню одна, а они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и ключья от птичьих гнезд, и земля далеко-далеко, и тоненько, зябко долетают оттуда звуки (как когда-то в Лей-Хилле!), и — Ричард, Ричард! — взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирают руки в ночи — и получила: «Завтракает с леди Бругн». Он меня предал; я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки.

Питер Уолш встал, и подошел к окну, и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пестрый носовой платок. Он стоял, подтянутый, поджарый, потерянный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком; он истошно сморкался. Возьми меня с собой, вдруг подумала Кларисса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась, и за пять актов она прожила всю свою жизнь, и сбежала, прожила жизнь с Питером, и все теперь кончилось.

Теперь пора было уходить, и как дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встает, чтоб идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру.

Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти, поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бордоне.

— Скажи мне, — и он схватил ее за плечи, — ты счастлива, Кларисса? Скажи — Ричард...

Дверь отворилась.

— А вот и моя Элизабет. — сказала Кларисса с чувством, театрально, быть может.

— Здравствуйте, — сказала Элизабет, подходя.

Удар Биг-Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями.

— Здравствуй, Элизабет, — крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал: — До свиданья, Кларисса, — быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь.

— Питер! Питер! — кричала Кларисса, выходя за ним следом на лестницу. — Прием! Мой прием не забудь! — кричала она, стараясь перекрыть рев улицы, и, заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу, ее голос: «Мой прием не забудь!» — очень тоненький, хрупкий и дальний — долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь.

Мой прием не забудь, мой прием не забудь, повторял Питер Уолш, выходя на улицу, повторял, скандируя, в лад отвесно текущим звукам Биг-Бена, отбивающего полчаса. (Свинцовые круги разбегались по воздуху.) Ох уж эти приемы, думал он. Клариссины приемы. Зачем ей эти приемы? — думал он. Не то чтоб он осуждал ее или, скажем, вот этого господина во фраке с гвоздикой в пет-

лице, вышагивающего навстречу. Нет, только один-единственный человек на свете так влюблен. А вот и этот счастливец собственной персоной, вот он вам — в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами — целая Индия; долины; горы; эпидемии холеры; округ вдвое больше Ирландии; и все надо было решать самому — ему, Питеру Уолшу, который наконец-то, впервые в жизни, влюблен. А Кларисса как будто жестче стала, думал он, и чуть сентиментальна вдобавок, сдавалось ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать — сколько миль, на скольких галлонах? Он ведь не полный профан в механике; ввел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии, только кули не захотели, а что про все это знает Кларисса?

И то, как она сказала: «А вот и моя Элизабет!», его покорило. Почему не просто: «Вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. (Тут последние раскаты гулкового голоса сотрясали воздух; полчаса; еще рано; всего половина двенадцатого.) Он-то понимает молодых. Она ему нравится. А Кларисса всегда была холодновата, думал он. В ней всегда, даже в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость, и тогда — все, тогда — все, думал он, и, не без тоски вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли ей неприятно его неурочное вторжение; вдруг устыдился, что сваял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все — как всегда, как всегда.

Как туча набегаёт на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время полощется на мачте. И — стоп. Мы стоим. Лишь негнувшийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри — ничего там нет, совершенно полный корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту. Кларисса мне отказала, думал он. Он стоял и думал: Кларисса мне отказала.

Ах, сказала церковь святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. Я не опоздала. Нет-нет, сейчас ровно половина двенадцатого, говорит она. И хотя она совершенно права, голос ее (она ведь хозяйка) вам не хочет навязывать свои характерные нотки; он подернут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. Сейчас половина двенадцатого, говорит она, и звон святой Маргариты попадает в тайники сердца, и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожи восторга — будто Кларисса сама, подумал Питер Уолш, в белом платье спускается вниз с ударом часов. Это Кларисса сама, подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Клариссе, будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем, залетел в минуту их невыносимой близости, подрожал над ним и над нею и, как добывшая меда пчела, улетел, отягченный минутой. Но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон святой Маргариты стал таять, он подумал: «Она же была больна» — и в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем, он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызволил смерть, всегда стерегущую смерть, и под этот удар Кларисса падала замертво на пол гостиной. «Нет-нет! — закричало сердце Питера. — Она жива еще! Я еще не стар!» — кричало его сердце, и он зашагал вверх по Уайтхоллу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее.

Он не стар, никоим образом; не скис, не скукожился. А насчет того, что скажут Дэллоуэи, Уитбреды и вся эта шатия — ему с высокой горы наплевать — наплевать! (Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтоб помог с работой.) На ходу он окидывал взглядом статую

герцога Кембриджского. Прогнали из Оксфорда — верно. Был социалистом, в известном смысле неудачник — верно. И все же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей; таких, как он был тридцать лет назад; которые преданы отвлеченностям; которым шлют книги, где б они ни застряли, от Лондона до вершин Гималаев; научные книги, философские книги. Будущее в руках таких молодых людей.

Где-то сзади родился дробно-рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу, накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайтхоллу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, выпятив грудь, устремив взоры в пространство, а выражение на лицах у них было как надпись по цоколю статуи, восхваляющая чувство долга, благодарность, верность, любовь к Англии.

Да, думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, превосходная выучка. Но тут были отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше шестнадцати лет, и завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех, отреша от мирской сутолоки и сердечных забав, осеняла торжественность венка, который они несли из пригорода возлагать на пустую гробницу. Они священнодействовали. И улица их уважала; фургоны не пропускались.

Нет, за ними не угонишься, подумал Питер Уолш, когда они вышагали по Уайтхоллу, и, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из-за венков и статуй и силою дисциплины вгонялась в застывший, хоть и глазьющий труп. Этого нельзя не уважать; пусть это даже смешно, да, но не уважать нельзя, думал он. Идут-идут, думал Питер Уолш, остановясь на краю тротуара. А все величавые статуи — Нельсона, Гордона, Хэвлока, — черные, гордые образы доблестных воинов меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же само-

отречение (Питеру Уолшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение), одолели те же соблазны, чтоб наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Питер Уолш, на каменный взор нисколько не притязал. Хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. Они еще не познали мучений плоти, подумал он, когда марширующие юнцы канули в сторону Стрэнда, ну а мне досталось, подумал он, и перешел через дорогу, и остановился у памятника Гордону, Гордону, которого мальчишкой боготворил; Гордон стоял сиротливо, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга Гордон!

И оттого, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому не ведомый стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? — думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули: снисхождение, любовь ко всем и — как их результат — захлестывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы, он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконечные улицы — иди по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым.

Спасен! Избавлен! — так бывает, когда привычка вдруг рушится и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится и вот-вот сорвется с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасенный от того (на часок на какой-то, конечно), от чего никуда не денешься, от самого себя, — как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестна, подумал он, ибо Трафальгар-сквер в направлении к Хэймаркету пересекала молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону,

роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему, — юная, но статная; веселая, но сдержанная; темноволосая, но обворожительная.

Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворачивая ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно-громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя, не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях.

«Ты» говорила женщина, просто «ты», говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной, облекающей нежностью, будто принимая в объятия усталого...

Э, да она не замужем; молоденькая, совершенно молоденькая, подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова польхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы. Вот она остановилась у края тротуара. Ждет. В осанке — какое достоинство. Она не светская, не то что Кларисса. И не богатая, не то что Кларисса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи? Она остроумна, у нее острый, жалящий язычок, думал он (почему же не пофантазировать — легкая вольность не возбраняется), ее остроумие сдержанно, метко, она не шумлива.

Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он, натурально, не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать: «Пойдемте-ка есть мороженое», почему не сказать, и она, не кривляясь, ответит: «Отчего ж».

Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись, у нее смеялись глаза. А он был смельчак, удалец,

быстрый, бесстрашный (только вчера из Индии), отважный пират, и плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, и на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла, по Пиккадилли, по Риджентс-стрит, шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд нисходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая, над сонной травой.

Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку и — вот, вот он, торжественный миг, да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но мимо, сквозь, и взгляд был прощальный, последний и подводил итог, победный итог, и она вынула ключ, открыла дверь и исчезла! Клариссин голос: «Мой прием не забудь!» — звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено.

Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот — вдребезги эта забава; потому что он в общем-то сам ее сочинил, ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей; сочинил, как мы всё почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя. И ее. Прелестные увеселения и кое-что посерьезней. Но вот что странно — и верно: ни с кем ничего не разделишь — все разбивается вдребезги.

Он повернул. Пошел обратно и стал думать, где б приземлиться, пока не пора еще в «Линкольнз инн», к господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, не важно. Ладно, значит в Риджентс-Парк. И ботинки выбивали по тротуару «не важно»; потому что в самом деле оставалась еще бездна времени, бездна времени.

Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце, ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперенье, воздушная, но не слишком в его вкусе (да и все позади, позади) выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы — все это глянуло на Питера через отворенную дверь и понравилось. Великолепное, в сущности, достижение — Лондон, летом особенно; цивилизация, да.

Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере три поколения которой ведали делами Индии (странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью, я не люблю ведь Индию, империю, армию), минутами он ценил цивилизацию — даже в таких ее проявлениях — как свою собственность. На него находило; и тогда он гордился Англией; дворецкими, чау-чау, недосыгаемыми девицами. Смешно, а вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны, свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль, и оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой.

Вот и Риджентс-Парк. Да. Мальчишкой я гулял в Риджентс-Парке — странно, думал он, и что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому, что повидался с Клариссой; женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон — чудное место, дивное место, но я не ладил со стариком, думал он. Как-то вечером разразился даже скандал, вышел спор, он не мог уже вспомнить, из-за чего, из-за политики, кажется.

Да. Риджентс-Парк. Длинная прямая аллея; слева домик, там покупали воздушные шарики; дурацкая статуя, на ней еще где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтоб лезли с вопросами: «который час?» (немного клонило в сон). Вот пожилая седенькая няня, и рядом ребенок в колясочке — ага, это самое лучшее; подсесть на скамейку к той няне, на дальний конец.

А она странная девочка, подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая. И взрослая совсем; не то чтобы очень хорошенькая. Скорее миловидна. Ей ведь не больше восемнадцати, кажется. Наверное, не ладит с Клариссой. И это вот «а вот и моя Элизабет» (почему не просто: «Вот Элизабет»), наверное, как у большинства матерей от желания что-то замаскировать. Слишком уж она нажимает на свое обаяние, думал он. Палку перегибает.

Сигарный благодетельный дым прохладой спустился по горлу; он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро сражались с воздухом, синие, круглые, — надо вечером улучшить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз, он думал, — но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились; странные какие формы, он думал. Глаза слипались, еле-еле удалось поменять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям, прометала ветки, детский говор, прохожих, шорох ног, грохот улицы, нарастающий, опадающий грохот. Вниз, вниз, вниз затягивали перья и перышки сна, и вот он уже провалился и увяз в перьях.

Седенькая няня снова принялась вязать, когда Питер Уолш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над рощами — порождения веток и облаков.

Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень.

По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немислимые минуты. Все, что вне нас, — лишь сознание нашего разума, так думает он, все от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых, и трусливых, и низких мужчин и женщин. Но раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует, так думает он, и, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью; с изумлением замечает, как они наливаются тягостью; как величаво, движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение и, вдруг дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле.

Вот какие видения манят одинокого странника, как рог изобилия, полный плодов, или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн, или как розы в росе, когда бьют по лицу, или как лица, как бледные нежные лица, когда околдовывают и зовут рыбака, поднимаясь к поверхности изглубока.

Вот какие видения непрестанно всплывают, и мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что по-длинно существует; и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен даря совершенный покой, будто (так он думает, продвигаясь по просеке) вся эта горячка жизни — сплошная наивность; и бездна разных вещей уже слита в одну; и эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря (он уж стар, ему уж за пятьдесят), как призрак встает над волнами, чтоб струить из своих несравненных, ее нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уже не придется, так думает он, возвращаться под сень абажура; в гостиную; дочитывать книжку; выко-

лачивать трубку: звонить миссис Тернер, чтоб убрала; пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени, и она встряхнет головой, и поднимет меня на своих выпелах, и прахом развеет, как всех.

Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу. А там на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его, в белом веющем фартуке, стоит седая женщина, и кажется (так неодолимо сильна эта немощь), что она в пустыне выискивает блудного сына; ищет павшего конника; что она — это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идет деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением; и все замирают; будто высокий, заводомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметет их в совершенное небытие.

В комнате, среди обыденных вещей — стол, буфет, подоконник с гераньками, — очерк хозяйки, наклонившейся, чтобы снять скатерть, вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом, и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет.

— Больше сегодня ничего не надо, сэръ?

Но кому ответит одинокий странник?

И вязала над спящим младенцем старая няня в Риджентс-Парке. И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами: «Погибель души».

— Господи! Господи! — произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза. — Погибель души. — Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснилось: сцена, комната, прошлое, о котором был сон.

Это было в Бортоне тем летом, в начале девяностых годов, когда он так сходил с ума по Клариссе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната

плыла в желтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то — имя запомнил, — кто женился на собственной горничной. Женился и привез ее в Бортон с визитом, и вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась — «совершенный попугай», сказала изображавшая ее Кларисса, — и не закрывала рта ни на минуту. Трещит, и трещит, и трещит. Кларисса ее изображала. А потом кто-то сказал — это Салли Сетон сказала: «И что же меняет, в конце концов, если она родила ребенка до того, как они поженились?» (Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе.) И — он как сейчас видит — Кларисса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила: «О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать!» После чего всех за столом будто встряхнуло. Вышло ужасно неловко.

И важно даже не то, что она сказала; девушки, воспитанные, как она, в те времена ничего не знали о жизни, но его возмутил ее тон — скованный, резкий, надменный, жеманный. «Погибель души». У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком — погибель ее души.

Все вздрогнули; все согнулись от Клариссиних слов и встали уже другими. Помнится, Салли Сетон, как набедокурившее дитя, вспыхнула, подалась вперед, хотела что-то сказать, но побоялась. Клариссы побаивалась. (Она была ближайшая подруга Клариссы, жила в Бортоне, привлекательное существо, красивая, темноволосая, и считалась по тем временам очень смелой, он сам давал ей сигары, и она курила их у себя в комнате, и она была то ли с кем-то помолвлена, то ли порвала с семьей, и старый Парри обоим их не любил, что очень сблизало.) А потом Кларисса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла — одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пес, он у них сторожил овец, и она бросилась к нему, начала умиляться. Будто хотела сказать Питеру (все, он-то знал, делалось ради него): «Вот ты осуждаешь меня за мое отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но

посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего Роба!»

Они всегда странным образом могли общаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он ее осуждал. И что-нибудь делала, явно чтоб оправдаться, — вроде той возни с собакой, да только напрасно старалась, он видел Клариссу насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры.

Она затворила дверь. И сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно — дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться. И он побрел, один, среди служб и конюшен, глядя на лошадей. (Парри жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы — Кларисса любила ездить верхом, — и был старый кучер — как бишь его звали? — и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так, и полагалось к ней ходить на поклон в комнату, увешанную фотографиями и птичьими клетками.)

Чудовищный вечер! Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще. И он никак не мог поймать ее, переговорить, объяснить. Везде толклись люди, и она вела себя как ни в чем не бывало. В том-то и ужас — ее эта холодность, каменность, и так глубоко в ней сидит, сегодня утром он снова почувствовал. Непроницаемость. Но, видит Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да.

Он очень поздно вышел к ужину, чтоб привлечь к себе внимание — о, болван, — и уселся рядом со старой мисс Парри, тетей Еленой, сестрой мистера Парри, как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шали, затылком к окну — весьма грозная старуха, но к нему она благоволила, он нашел ей какой-то редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой, вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизируку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить.

Все мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», — сказал он себе. А он не знал его даже по имени.

Потому что — да! — ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй; и Кларисса еще называла его Уикем, с этого все и пошло. Кто-то его привез; и Кларисса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикема. В конце концов он сказал: «Но я Дэллоуэй!» Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало: светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает: «Но я Дэллоуэй!» Сали к этому прицепилась, потом называла его не иначе как «Но я Дэллоуэй!».

Вообще его в ту пору непрощено осеняло. А уж это открытие — что она выйдет за Дэллоуэя — обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она обращалась к нему — как бы назвать? — простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шел о политике. И до конца обеда он напряженно вслушивался, стараясь расслышать, что они говорят.

Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Парри в гостиной. Кларисса вошла — светская, безукоризненная, безупречная хозяйка, — хотела его кому-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы, и это взбесило его. Но даже и тут он восхищался. Восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал, и вот тут-то ее переделернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть, после того как увидел их с Дэллоуэем. И она ушла. Ему казалось, что все сговорилось против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Парри, как истукан, посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно! Он, наверное, даже не мог

делать вид, будто слушает; вдруг опомнясь, он увидел выпученные глаза мисс Парри, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать, оттого что ведь это ад, сущий ад! Из гостиной начинали уже расходиться; говорили, что надо надеть плащи; на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне — очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает луну. И все ушли. Он остался один.

— А вы разве не идете? — спросила тетя Елена; бедная старушка, она догадалась! Он обернулся и увидел Клариссу. Она вернулась, за ним. Его ошеломило ее благородство — ее доброта.

— Идем же, — сказала она. — Там ждут.

Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив! Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. Двадцать минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье (что-то веющее, белое и малиновое), ее настроение, дух приключений; она заставила всех высадиться и исследовать остров; спугнула курицу; она хохотала; пела. И все время, все время он в себе чувствовал: Дэллоуэй влюбляется в нее; она влюбляется в Дэллоуэя; но как-то это было не важно. Они сидели на земле и болтали — он и Кларисса, и все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, в секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку: «Она выйдет замуж за этого человека», устало сказал, без досады; но все было ясно. Дэллоуэй женится на Клариссе.

Греб Дэллоуэй. Он все время молчал. Но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтоб сделать двадцать миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает — нутром, глубоко и мучительно — все это: ночь, нежность, Клариссу. Он ее заслужил.

Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Клариссе (теперь-то он видит) были нелепы. Он хотел невозможного. Устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не

веди он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма; они-де про него говорили; она-де хвалила его, и Кларисса расплакалась! Невероятное лето; письма, сцены, телеграммы; приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги; чудовищные завтраки tête-à-tête со старым мисте-ром Парри. Свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена; Салли, таскавшая его для срочных бесед в огород; Кларисса — в постели из-за мигреней.

Решительная, последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни (возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так), произошла в три часа, в один очень жаркий день. Началось с пустяка, Салли упомянула за завтраком Дэллоуэя и назвала его «Но я Дэллоуэй!»; после чего Кларисса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила: «Мы уже слышали эту глупую шутку». Вот и все. Но для него она все равно что сказала: «С вами я просто развлекаюсь; а серьезно я отношусь к Ричарду Дэллоуэю». Так он ее понял. Не одну ночь он провел без сна. Он сказал себе: «Будь что будет, но надо с этим покончить». Он послал ей через Салли записку, прося о встрече возле фонтана, в три. «По очень важному поводу», — приписал он в конце записки.

Фонтан стоял посреди кустарника, вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла, даже раньше времени, фонтан разделял их и непрестанно ронял (был испорчен) каплями воду. Как застревают в памяти зрительные впечатления! Например, тот едко-зеленый мох.

Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», — повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Кларисса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду», — повторял он, когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс»; вы-лупился на них; открыл рот и ушел восвояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду», — повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физи-

чески твердое; она не поддавалась. Она была как железо, кремень, она совершенно застыла. И когда она сказала: «Не к чему, не к чему. Это конец», — после того, как он говорил, ему казалось, часами, в слезах, — она будто ударила его по лицу. Она повернулась, она бросила его, она ушла.

— Кларисса! — кричал он. — Кларисса! — Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее.

Ужасно, кричал он, ужасно, ужасно!

А, впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и приходя постепенно в себя, в Риджентс-Парке мало что переменялось со времени его детства — вот разве что, может быть, белки, — но были, наверное, и новые радости — вот малышка Элси Митчелл, она собирала камушки для коллекции в детской, бухнула на бегу полную пригоршню к няне в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тети. Питер Уолш рассмеялся. А Лукреция Уоррен-Смит думала: «Это гадко, за что я должна страдать?» — спрашивала она, идя по широкой дорожке. Нет, сил никаких больше нет, думала она, бросив Септимуса, а в общем-то он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи, и пусть говорит сам с собой, с мертвецом со своим говорит там на скамейке; но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась.

И Лукреция полегчало. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платице, поцеловала ее.

Она же ничего плохого не сделала; любила Септимуса; была такая счастливая; и у нее был такой чудный дом, сестры и сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать?

Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бранит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязанье, а добрый на вид господин дал ей часы («подуй-ка на крышку — откроются»), — но ей-то

все это за что? Зачем-надо было тащить ее из Милана? И мучить? За что?

Чуть покачивались от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка, поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком, шевельнется листок, и она мигает; дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были кругом и огромные облака — все чужое; и некому за нее заступиться; и вечно ей мучиться; за что же страдать? За что?

Она нахмурилась; топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу, им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться — сказать, а то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой или с этим покойником Эвансом, она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса; его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то, когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами, так и она бы могла, только дай себе волю. Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Миссис Филмер просто диву давалась. И видел видения. Старушечью голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив — пожалуйста. Они ездили в Хэмптон-Корт на втором этаже автобуса и так были счастливы. Красные и желтенькие цветы повысыпали в траве, он сказал — как плавучие лампочки, и он все время болтал, и смеялся, и сочинял разные веселые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал: «А теперь мы покончим с собой», — и посмотрел на воду такими глазами, она и раньше за ним замечала, он так смотрел — на автобусы, на поезда, как зачарованный; и она почувствовала: он от нее уходит, и она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный; объяснял, почему им надо покончить с собой; и как люди злы; как он

видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он, мол, насквозь их видит; он, мол, все знает. Знает смысл жизни.

А когда пришли домой, он еле ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтоб она держала его за руку, а то, мол, он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь! И каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен, и страшно, жутко как-то его обзывают, и тычут в него из-за ширмы пальцами. А ведь никого не было. Но он начал вслух говорить, отвечает кому-то, спорит, хохочет, плачет — и велел ей записывать. Чуть какую-то; насчет смерти; насчет мисс Изабел Поул. Просто невыносимо. Но надо вернуться к Септимусу.

Вот она подошла. Так и есть: опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Доум говорит: ничего с ним серьезного. Тогда отчего это все? Отчего он вдруг, почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся, и покосился так зло, и отпрянул, и показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился?

Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? «У меня рука похудела, — сказала она. — Я его в сумку спрятала», — она ему сказала.

Он отпустил ее руку. Брак их расторгнут, подумал он, с мукой, с облегчением. Перерезана веревка; он парит; он свободен, как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен; один (раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его) он, Септимус, один призван, избран услышать истину, познать смысл, ибо после всех трудов цивилизации (греки, римляне, Шекспир, Дарвин и наконец-то он сам) настала пора открыть этот смысл непосредственно... «Кому?» — спросил он вслух. «Премьер-министру», — прошепестели голоса над его головой. Следует открыть кабинету министров тайное тайных: во-первых, деревья — живые; затем — преступления нет, затем — любовь, всеобщая любовь, он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, зарытые

истины было мучительно трудно выговорить, но они полностью и навек изменяют мир.

Преступления нет, любовь... — повторял он, нащупывая карандаш и блокнот, но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся. Пес превращался в человека! Только не видеть! Отвратительно, страшно — видеть, как превращается в человека пес! И тотчас собака затрусила прочь.

Беспредельна милость благих небес! Его пощадили, снизили к его слабости. Но каково же научное объяснение (ко всему ведь нужен научный подход)? Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей?

Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале.

Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой, вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко, у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо; шершавые их листья шелестели над головой; наверху были скалы; они звенели. Это машина гудит на улице, пробормотал он; но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах (оказывается, музыка бывает видна — это открытие) взмывали вверх и делались гимном, и гимн свивался с дудочкой подпасака (это старик свистит на свистульке в кабаке, пробормотал он), и когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьком, а как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. Он исполняет свою элегию прямо на мостовой, думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитый розами, — пышными красными цветами (как у меня в

ванной на стене, вспомнил Септимус). Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак.

А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенного на скалу волнами. Я перегнулся через край лодки, и вот я упал, думал он. Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил, только не трогайте меня, молил он (опять он заговорил вслух — ужасно, ужасно!), и, как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно, в лад, и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибывало к берегу жизни, солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту.

Только б открыть глаза; но на них что-то давило; давил страх. Септимус поднатужился; вытянулся; открыл глаза; увидел перед собой Риджентс-Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались; мы рады, будто говорил мир; мы согласны; мы создаем; создаем красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы доказать (научно), куда б ни взглянул Септимус — на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, — отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость — видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с невероятной правильностью, будто качаются на невидимой резинке; а как вверх-вниз носятся мухи; и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом, исключительно от избытка счастья. И такой идет, идет по траве колдовской перезвон (возможно, это часто-часто гудит машина) — и все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне историей. Красота — вот что есть истина. И красота — всюду.

— Уже время, — сказала Реция.

Со слова «время» сошла шелуха; оно излило на него свои блага; и с губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали

слова, скорей, скорей занять место в оде Времени — в бессмертной оде Времени. Он пел. Эванс отзывался ему из-за вяза. Мертвые в Фессалии, пел Эванс, среди орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы, и сам Эванс...

— Бога ради, не подходите! — вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников.

Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс! Но ни грязи, ни ран — он такой же, как был. Я возведу это всем народам, кричал Септимус, подняв руку (а покойник в сером к нему приближался), подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби, но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса (Септимус приподнялся со стула), и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас...

— Мне до того плохо, Септимус, — говорила Реция, пытаясь его усадить.

Миллионы стонали; веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им, сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие...

— Время, Септимус, — повторяла Реция. — Сколько сейчас?

Он бормотал, он весь дергался, тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.

— Сейчас я скажу тебе время, — произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть — было без четверти двенадцать.

Молодость называется, думал Питер Уолш, проходя. Устроить ужасную сцену (бедная девочка, кажется, сама не своя) прямо с утра. И с чего бы? — гадал он. Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто, чем довел он ее до отчаяния? Что у них, у бедняжек, стряслось? Оба такие потерянные, и в такое дивное утро? Самое забав-

ное, когда возвратишься в Англию после пяти лет отлучки, по крайней мере вначале все видишь будто бы в первый раз; под деревом ссорится парочка; семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным — тающие дали; роскошь; зелень; цивилизация — да, после Индии, думал он, ступая по траве.

Эта его восприимчивость, впечатлительность — конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже скорей у девчонки; без всяких причин день — прекрасно, день — скверно; он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку, и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая; и даже самая бедненькая одета лучше, чем пять лет назад; да, на редкость удачная мода; длинные черные плащи; стройность; изящество; и потом — прелестный этот и, кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы; губы как ножом вырезаны; локоны черны, как тушь; во всем расчет, искусство; да, безусловно имеют место какие-то перемены. И чем, интересно, теперь занята молодежь? — спрашивал себя Питер Уолш.

Наверное, именно за эти пять лет — с 1918-го до 1923-го — многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватерклозетах. Десять лет назад о таком и не помышляли: взять и тиснуть статью о ватерклозетах в солидной газете. А эта манера — вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту? Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок — особенно он запомнил таких Бетти и Берти, — они флиртовали в открытую; мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста; ничуть; просто шалят; и никаких тебе

оскорбленных чувств; да, надо сказать, штучка с перцем, эта Бетти — и притом вполне, в общем, ничего. Годам к тридцати будет прекрасной женой — выйдет замуж, когда приспееет пора; выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером.

Да, с кем же на самом-то деле так получилось? — спрашивал себя Питер Уолш, сворачивая на Главную аллею. Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером? Она еще ему написала недавно длинное, пламенное послание насчет «голубых гортензий». Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него, про старые времена — ах, Господи, да Салли Сетон, конечно! Салли Сетон — вот уж меньше всего можно было рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером, кто-кто, но она-то — отчаянная, непутевая, романтическая Салли!

Правда, из этой братии, из Клариссиных старых друзей — всех этих Уитбредов, Киндесли, Каннинэмов, Кинлох-Джонсов, — Салли, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбрета — дивного Хью, — а ведь остальные, в том числе и Кларисса, смотрели ему в рот.

— Уитбреды, — он так и слышит голос Салли. — Да кто они такие, Уитбреды? Торговцы углем. Почтенные торгаши.

Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила: ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно — он в жизни не видывал, чтобы кто-то еще, кроме Хью, так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Кларисса принуждена была согласиться. Ах, но зато какая он прелесть, как самоотвержен, бросил охоту, чтоб успокоить старушку мать, не забывает тетушкин день рождения и прочее.

Салли, следует ей отдать должное, не попала на эту удочку. Как-то воскресным утром в Борто-не — этот случай ему особенно врезался в память — шел спор о правах женщины (допотопная тема), и Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. Объявила, что он-де виновен в участии «бедных девушек на Пиккадилли» — и это Хью, безупречный джентльмен, бедняжка Хью! — надо было видеть его ошарашенную физиономию! Она нарочно хотела уязвить Хью, она потом объяснила (они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями). «Он ничего не читает, ничего не думает, ничего не чувствует, — он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам не предусмотренный ею смысл. — Ведь это же не человек — в любом конюхе больше человеческого, — она говорила. — Типичнейшее порождение закрытой школы, — она говорила. — Такое только в Англии уродиться может». Она почему-то не в шутку злилась; имела зуб против Хью; что-то у них получилось — дай Бог памяти, — да, в курительной; он ее оскорбил — поцеловал, что ли? Невероятно! Никто не верил, конечно. Естественно. Целовать Салли в курительной! Хью! Ну, будь это какая-нибудь сиятельная особа — куда бы ни шло; но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой не то отец, не то мать продувается в Монте-Карло. Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый раболепный сноб. Не то чтоб буквально ползать на брюхе; он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса — да, вот это сравнение в самую точку; который исправно принесет чемоданы, разошлет телеграммы, — незаменим для хозяйки. Ну, и нашел себе службу — женился на своей сиятельной Ивлин; получил местечко при дворе, ведает королевскими погребями, драит пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе!

Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин, и вот они живут где-то тут, кажется (он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк), он ведь как-то у них даже обедал, и в доме Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое — бельевые чуланы, что ли? Их непременно надо было осматривать; вообще надо было долго восхищаться уж чем придется — бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, которые Хью сумел раздобыть по дешевке. Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставит словцо, и весьма, между прочим, хлесткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур — ну, и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь, со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах, проживают пятьдесят тысяч в год, а он, на два года старше Хью, должен выклянчивать хоть какую-то службу.

В пятьдесят три года надо еще просить, чтобы его сунули протирать штаны в учреждении, или обучать мальчишек латыни, или бегать на побегушках у важного чинуши, ради пяти сотен в год; потому что, если он женится, даже с пенсией, на меньше им с Дейзи не продержаться. Наверное, Уитбред сможет его пристроить или Дэллоуэй. Почему б не обратиться к Дэллоуэю? Он вполне ничего; ну, твердолобый; ну, звезд с неба не хватает; верно; но вполне ничего. За что бы ни взялся, во всем деловит и разумен; никакого полета; ни искорки блеска, но — на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить — его губит эта политика. Лучше всего он на лоне природы, с лошадьми, с собаками — как хорош он был, например, когда Клариссин этот косматый пес попал в капкан и ему чуть не оттяпало лапу, и Клариссе стало дурно, и все-все взял на себя Дэллоуэй: перевязал, наложил шину; велел Клариссе взять

себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его, вот что, наверное, и было ей нужно. «Кларисса, милая, возьмите себя в руки. Держите то, принесите это». И все время он разговаривал с собакой, как с человеком.

Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием Ричард Дэллоуэй сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину (впрочем, и отношений он этих не одобряет). Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже, ей-богу, не верится! Хотелось забросать его засахаренным миндалем — как раз обедали. Кларисса же слушала, открыв рот; это так честно с его стороны; такая независимость мысли. Господи, уж не сочла ли она его оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать, кто ее знает!

Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгороженной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста — помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете (странно, и как это всплыло все, сто лет ведь не вспоминал), а разговор, конечно, шел о Клариссе. Салли молила его, полусутия, разумеется, умыкнуть Клариссу, спасти от Хью и Дэллоуэев и прочих «безупречных джентльменов», которые «загубят ее душу живую» (Салли тогда целые вороха бумаги исписывала стихами), сделают из нее исключительную хозяйку салона, разовьют ее суетность. Но надо отдать должное Клариссе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что кому она говорила. Очень тонкая и проницательная — по существу-то она куда лучше разбиралась в людях, чем та же Салли, а притом она настоящая женщина; у нее дар, чисто женский дар создавать вокруг себя свой

собственный мир, где бы она ни оказалась. Вот она входит в комнату; стоит на пороге, он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Клариссу. Не то чтоб она бросалась в глаза; не очень красивая даже; ничего в ней особенного; и не скажет она ничего такого уж умного; просто это она; она есть она.

Нет, нет, нет! Конечно. Вовсе он в нее не влюблен! Просто, как увидел ее утром с этими ножницами и нитками, за подготовкой к приему, так она и не идет у него из головы; просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая, пассажир, клюющий носом напротив в купе; это, разумеется, далеко не влюбленность; просто он думает о ней, осуждает ее, он снова, после тридцати лет, пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать — что она суетная; слишком печется о положении, ранге, успехе, и в известном смысле это так и есть; она даже ему сознавалась. (Она всегда сознается вам в своих недостатках, если об этом постараться; она честна.) Она сама говорила, что ей претят распустехи, размазни и разини. Такие, как он, по-видимому; что никто не имеет права слоняться и праздно шататься; что каждый обязан что-то делать, кем-то быть; а обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах герцогинях, которых он видел у нее в гостиной и в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счетом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьез. Леди Бексборо, она как-то сказала, — несгибаемая (сама Кларисса — тоже; не гнется ни в буквальном смысле, ни в переносном; прямая, как стрела; даже чуть-чуть негибкая). В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит все больше и больше. Разумеется, тут многое идет от Дэллоуэя; многое от этого шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней, она на все смотрит глазами Дэллоуэя — тоже один

из ужасов брака. С ее умом — вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю «Морнинг пост». И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него, верней, ради созданного ею самой образа Дэллоуэя. (Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливей, займись он сельским хозяйством в Норфолке.) В своей гостинной она сводит нужных друг другу людей; тут у нее просто дар какой-то; сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет и вынырнет вдруг поразительный человек: то художник; то писатель; залетные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня — визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки; такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка; сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением; но у Клариссы-то все искренне, все от естественной внутренней потребности.

Странно, она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать, а возможно (эту теорию он некогда сочинил, чтоб объяснить себе Клариссу — в чем-то такую понятную, а в чем-то непостижимую), возможно, она сказала себе: «Раз мы обреченное племя, прикованное к тонущему кораблю (ее любимые авторы в детстве были Гексли и Тиндаль¹, а уж они обожают морские метафоры), раз дело дрянь, надо, по крайней мере, исполнять свою роль — облегчать мучения собратьев-узников (снова Гексли), украшать застенки цветами и надувными подушками; быть как можно пристойней. Нет, не выйдет у негодьяев-богов все как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но

¹ Гексли Томас Генри (1825-1895) — английский естествоиспытатель. Тиндаль Джон (1820-1893) — английский физик.

всерьез теряются, если все-таки ты ведешь себя как настоящая леди. Это пошло у нее сразу после смерти Сильвии — чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево (все Джастин Парри виноват — его ротозейство) и она умирает прямо у тебя на глазах, совсем девочка и самая, Кларисса всегда говорила, из них одаренная, — тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла; сочла, что нет никаких богов; винить некого; и отсюда эта ее атеистическая религия — делать добро ради самого добра.

И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее — радоваться (хотя, кто ж ее знает, что там творится у нее в глубине души; это всего лишь эскиз, набросок, и даже ему, после стольких лет, не дано полней очертить характер Клариссы). Во всяком случае, ожесточенности в ней нет; нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по Гайд-Парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой и с ходу, из ничего, создаст потешную сценку (скорей всего, она завела б разговор с этой ссорящейся парочкой, если б решила, что им плохо). Удивительно у нее развито чувство комического, но ей вечно нужны люди, люди для постановки спектаклей, и в результате она тратит время по пустякам, на завтраки, на обеды, устраивает бесконечные свои приемы, болтает вздор, говорит, чего не думает; и притупляет остроту своего ума, теряет критерии. Она может сидеть во главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Дэллоуэю — и где они только, ей-богу, откапывают таких, — но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был в прошлый раз, она училась в школе, в каком-то там классе — пучеглазая, бледная девочка, ничего не взяла от матери, молчаливое, флегматическое создание, принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила: «Мне можно уйти?» — будто она четырехлетнее дитяtko; пошла, как Кларисса объяснила с той смесью веселого

недоумения и гордости, какие вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, «выезжает», его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть. Утешение старости, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-Парка со шляпой в руке, в том-то и состоит: страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь — наконец-то! — способность, в которой самая изюминка и есть — способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно, медленно поворачивать на свету.

В таких вещах даже страшно сознаваться (он снова надел шляпу), но теперь, в свои пятьдесят три года, он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг ее, каждая капля, — вот то, что сейчас, тут, Риджентс-Парк, солнце — и спасибо. И чересчур даже много. И всей жизни не хватит, оказывается, чтоб уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой; выжимать каждую унцию радости; все оттенки смысла; ибо и то и другое раскрывается нам, наконец, в невыдуманной серьезности, не то что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то из-за Клариссы. Между прочим, часами подряд (господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мыслей), часами и днями он думать не думал о Дейзи.

Возможно ли? Вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней — он все же влюблен? Да, теперь-то дело другое — и куда приятней, — теперь уж *она* влюблена. И потому, вероятно, когда отчалил-таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание — побыть одному, и его раздражали ее милье знаки внимания — сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам то же скажет; после пятидесяти люди уже не нужны; после пятидесяти надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие; это вам каждый скажет, кому за пятьдесят, думал Питер Уолш, если только он честен.

Ну, а эти приступы чувствительности — утренние слезы — как прикажете понимать? Что поду-

мала о нем Кларисса? Сочла, вероятно, кретином, и не впервые. В основе всего лежит ревность, ревность — самое прочное из чувств человеческих, думал Питер Уолш, держа перочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом; написала, он был уверен, нарочно, чтоб заставить его ревновать; он видел воочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И все равно. Он разъярился! Всю эту суетню — поездку в Англию, встречу с адвокатами — он затеял не ради того, чтоб на ней жениться, а чтоб не дать ей выйти за кого-нибудь другого. Вот что его мучило, вот что он понял, пока смотрел на Клариссу, спокойную, холодную, сосредоточенную на своем платье, или что там она еще штопала; и видел со стороны — могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого, — как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осел. Женщинам вообще, подумал он и защелкнул нож, не понять, что такое любовь. Им не понять, что значит она для мужчины. Кларисса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять за руку, чмокнула в щеку... А, вот и переход.

Его отвлек звук; жидкий, зыбкий звук; голос тек, без направления, напора, без конца и начала, и вливался, слабо и пронзительно-тоненько и без всякого смысла в

и... у... лю... ня...
да и го... и... шки...

голос без возраста, пола, голос древней статуи, бьющей из-под земли; и шел он — прямо напротив станции метро «Риджентс-Парк» — из тени, зыбкий, высокий, шел, как из воронки, как из ржавого насоса, как из голого, навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви и оно поет:

и... у... лю... ня...
да и го... и... шки...

и скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра. Века и века — когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней и мамонтов, во

времена немых зорь, — обтрепанная женщина (ибо тень была в юбке), протягивала правую руку, а левую прижимала к груди, стояла и пела про любовь, любовь, которой миллионы лет, она пела, и нет ей конца, и миллионы лет назад любимый (давно он в могиле лежит) гулял, она пела, вместе с нею по маю; но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры; смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадет старой-старой, седой головою к земле — к заледенелому пеплу, — она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска, к ней положить, на могильный курган, пригретый последней лаской последнего солнца; и тогда только кончится праздник.

Старинная песня журчала перед станцией метро «Риджентс-Парк», земля же тем временем свежо зеленела и пестрела; и хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст — будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, — а однако ж, урчала, журчала, клубилась, пробивалась сквозь путла корней и веков, сквозь скелеты и клады, и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэрилебон-Роуд и текла дальше к Юстону, и удобряла почву, оставляя лужи.

Этот май, этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, эта старая, жалкая (ржавый насос) будет помнить и через десять миллионов лет и будет все так же стоять, простирая правую руку за медяками, а левую прижимая к груди, и петь, как гуляла когда-то по маю, там, где теперь разливается море, гуляла — с кем, не спрашивайте, с мужчиной, о! с мужчиной — и он любил ее. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня; цветы побил морозом; и она уже не видела, моля (мольба как раз была очень отчетлива): «Посмотри в глаза мне нежным взглядом», уже не видела ни карих глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий, тающий образ, и к нему-то она обращала старчески щебечущее: «Дай мне руку, сядь со мной рядом» (Питер

Уолш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету) и «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» — вопрошала она, и прижимала к груди кулак, и улыбалась, пряча шиллинг в карман, а любопытные взгляды стирались, вычеркивались, а проходящие поколения — кругом мельтешили и толклись горожане — исчезали, как листья, чтоб мокнуть и преть, становясь перегноем для той вечной весны.

И... у... лю... ня...
да и го... и... шки...

— Бедная старуха, — сказала Реция Уоррен-Смит. Надо ж дойти до такого, думала она, ожидая у перехода.

А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни, и увидит, до чего докатилась... И где она спит по ночам?

Бодро, весело даже, неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтоб потом синей пасмой выбиться из-под верхних листьев. «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?»

С тех пор как ей стало плохо, вот уже несколько недель, Реция сделалась ужасно чувствительная, все на нее действовало, буквально все, иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать: «Мне плохо»; но когда она услышала, как старуха поет: «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» — она вдруг поняла, что все будет хорошо, они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома; а дальше висели газеты. Ерунда, ей просто почудилось, будто ей плохо.

И они перешли улицу — мистер и миссис Уоррен-Смит, — и кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный? Возможно, шли они несколько

медленнее других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведывавшегося по будням в этот час в Уэст-Энд, и потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд-Плейс — зала, куда он вошел, когда хозяева в отъезде, и люстры раскачиваются в чехах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому, на себя не похожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно, да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он.

С виду он и был похож на служащего, правда служащего высшего класса; у него были желтые ботинки; руки интеллигентного человека; тоже и профиль — резкий, носатый, умный и тонкий профиль; но губы подкачали, губы были расшлепанные; а глаза (это с глазами часто) были просто глаза и глаза — большие, карие; так что, в общем, неясно, куда его отнести — ни то ни се; такой может в конце концов зажить в своем доме на Поли и обзавестись машиной, а может всю жизнь проболтаться по мебелирашкам; из тех недоучек, самоучек, которые все образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером, после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваемым по почте.

Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку, в спальне, за рабочим столом, бродя по полям, и лугам, и по лондонским улицам, — они были у него; совсем мальчишкой он ушел из дому, из-за матери; она лгала; потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывши рук; потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего; и вот он посвятил в свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди, а мир читает только тогда, когда уже притчей во языцех сделается история их борьбы и лишений.

Лондон заглатывал миллионы молодых людей по фамилии Смит; не принимал во внимание невообразимых имен, вроде имени «Септимус», какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон-Роуд, переживаний у вас достаточно, чтоб у вас изменилось лицо и за два года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет: «Расцвел». Расцвел из суеты, тщеславия, выпренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени; все смешалось (в комнате за Юстон-Роуд), и он сделался робок, стал заикаться, решил избавиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабел Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоо-Роуд.

«Ведь он похож на Китса?» — спрашивала она и решала, как бы приохотить его к «Антонию и Клеопатре» и почему; давала ему книжки — почитать; писала незначачие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит; лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал над мисс Поул, «Антонием и Клеопатрой», над Ватерлоо-Роуд. Он считал ее красавицей, непогрешимой в суждениях; она снилась ему по ночам; он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером, летом, он видел, как она в зеленом платье брела по бульвару. «Расцвел», — сказал бы садовник, случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь — за письменным столом; он писал и рвал написанное; он кончал шедевр к трем часам утра и выбегал бродить по улицам, и сегодня он посещал церкви и постился, а завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, «Историю цивилизации» и Бернарда Шоу.

Тут что-то не так — мистер Брюер сразу смекнул; мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эрроусмитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости; тут что-то не так, думал мистер Брюер, и, относясь отечески к своим юношам и будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков этак через десять — пятнадцать кожаное кресло в кабинете среди карточек, — «если здоровье позволит», оговаривался мистер Брюер, да, тут-то и была заваривалась Смита был хилый, — мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалованья, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок — от этой ужасной войны никуда не денешься — разбило гипсовую статую Цереры, вспахало клумбу с геранями и вконец расстроило нервы кухарке мистера Брюера — дома, на Максвелл-Хилл.

Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабел Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал; получил повышение; снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька: один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет да тыпнет приятеля за ухо, а тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс (крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела его всего раз, и она всегда говорила про него: «Такой тихий»), когда Эванс был убит, перед самым перемирием, в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что

так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кой-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно — война, дружба, смерть, — получил повышение, ему нет тридцати, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в кадках, столики под открытым небом, дочки — шляпные мастерицы и Лукреция, младшая, к которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать.

Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их; он слышал их; они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах; они так и сяк вертели коленкор; стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами; порхали и щелкали ножницы над столом; но чего-то не хватало Септимусу; он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали; он чувствовал себя в безопасности; у него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет ни заря. Кровать проваливалась куда-то; сам он проваливался. Ох, где вы — щелканье ножниц, лампа и коленкор! Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: «Здесь у меня — все». Шелк, перья, что хотите — в этих пальчиках все оживало.

— Самое первое дело — шляпка, — говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку; и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и

разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой, кричащей, наивной подделки; великодушно, не без критических замечаний встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку, и восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шеншилях, жемчугах.

— Красиво! — шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи (Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты) не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих; они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались — им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе, среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошнотворный страх: он не способен чувствовать. Мыслить он мог — читать, например, Данте — совершенно свободно («Септимус, да оставь же ты свою книжку», — говорила Реция, ласково закрывая «Inferno»¹; он умел проверять счета; мозг работал исправно, — значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать.

— Англичане ужасно молчаливые, — говорила Реция. Ей, она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан, мечтала увидеть Лондон, и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо.

Очень возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Ньюхейвена, очень возможно, что мир вообще бессмыслен.

На службе ему сразу дали ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне.

— Вы исполнили свой долг; теперь уж нам... — начал мистер Брюер; и он не мог кончить фразу,

¹ «Ад» — первая часть «Божественной комедии» Данте (ит.).

настолько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттнем-Корт-Роуд.

Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество, обморочное опьянение словами — «Антоний и Клеопатра» — безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрево! Наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род — ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же (в переводе) Эсхил. А Реция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер; делала их часами. Бледная, загадочная, как лилия, как лилия под водой, думал он.

— Англичане ужасно серьезные, — говорила она, обнимая Септимуса, прижимаясь щекою к его щеке.

Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. А Реция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже пять лет как поженились.

Они вместе ходили в Тауэр; в Музей Виктории и Альберта; ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины; шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика.

Ей хотелось сына, в точности как Септимус. Только не бывает как Септимус; он такой ласковый и серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный? — спрашивала она.

Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам.

Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле (только б она не узнала) люди заботятся лишь о наслаждении ми-

нутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и с воем несутся в пустыни. И бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе — Брюер с нафабранными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами, а внутри холодный и липкий — герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы; или эта Берта, как бишь ее фамилия; ровно в пять разносит в чашечках чай, и косится, и скалится — ведьма; а сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком; посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделявает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны; жестокость вопит с плакатов; мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо; а как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то напоказ народу (народ хохотал до слез), и они, кивая и скалясь, ковыляли по Тоттнем-Корт-Роуд, и каждый чуть-чуть виновато, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спать...

За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. Ну а она тоже не может, не может дольше жить без детей! Ей так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач; слышал ясно, отчетливо; сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал.

Жена плакала, а он ничего не чувствовал; только каждый раз, когда она всхлипывала — тихо, горько, отчаянно, — он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть.

Наконец, шаблонно-трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул; пусть его кто-то спасает; пусть за кем-то пошлют. Он сдался.

Он не слушал, не отвечал Реции. Она уложила его в постель. Вызвала доктора — доктора Доума, он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел. И не нашел абсолютно ничего серьезного. Ох,

какое счастье! Какой добрый, хороший человек! — думала Реция. Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл, объяснял доктор Доум. Или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? «Эти старые дома в Блумсбери, — говорил доктор Доум и обстукивал стены, — часто обшиты дивными панелями, а хозяева сдуру клеят на них обои. Не далее как вчера, навещая пациента, сэра Такого-то на Бедфорд-Сквер...»

Итак, прощения нет; с ним абсолютно ничего серьезного, только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть: он ничего не чувствует. Он не пожалел убитого Эванса, это хуже всего; но и прочие мерзкие вины глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного; он женился не любя; обманул свою жену; соблазнил ее; он оскорбил мисс Изабел Поул, он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти.

Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками, глядясь в зеркало, он все отмел — головные боли, плохой сон, страхи, кошмары, — все это нервное переутомление, и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше восьмидесяти килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши на завтрак (Реция должна научиться варить овсяную кашу). Но, доктор Доум развивал свою мысль, наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то отвлечься. Завести себе хобби. Он поддел страничку Шекспира — «Антоний и Клеопатра»; типичное не то. Да, хобби, доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем (а ведь трудится, кажется, он не меньше других) тому факту, что он всегда переключается с паци-

ентов на старинную мебель? И какая, однако же, он позволит себе заметить, милая гребеночка у миссис Смит в волосах!

Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. Да неужто? — спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немислимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу.

— Ну-с, хандрим, а? — любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке, и ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчет чувства долга — супружеского долга? И может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом? У него, слава Богу, сорокалетний опыт. И пусть Септимус поверит на слово доктору Доуму: с ним абсолютно ничего серьезного! И доктор Доум высказал надежду, что, когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку.

Итак, человеческая природа восторжествовала — отвратительное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день. «Стоит зазеваться, — записал Септимус на открытке, — и человеческая природа тебя одолеет». Доум одолеет. Остается бежать и чтобы Доум не проведал. В Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума.

Но Реция не хотела его понять. Доктор Доум — такой чудный человек. Он так внимателен к Септимусу. Он говорит, что очень хочет ему помочь. У него четверо детей, и он приглашал ее к чаю, она говорила Септимусу.

Итак, его предали. Все на свете орало: «Убей себя, убей себя ради нас!» Но с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них? Еда вкусная, солнце греет. Да и как за это взяться? Как себя

убьешь? Столовым ножом? Противно, реки крови. Пустить газ? Нету сил, трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорен, одинок, как одиноки все умирающие, в его отъединенности — роскошь, величие; свобода, которой не знают все прочие. Конечно, Доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и Доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира.

И вот тут (Реция ушла за покупками) и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. Это Эванс. Вокруг были мертвые.

— Эванс! Эванс! — кричал он.

Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне:

— Мистер Смит говорит сам с собой!

Он кричал: «Эванс! Эванс!» — когда она внесла к нему поднос. Она прямо вся задрожала. Через две ступеньки сбежала по лестнице.

А Реция пришла с цветами, перешла комнату, и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом, и стала смеяться и скакать по комнате.

Пришлось купить розы, объясняла Реция, у одного бедняжки на улице. Но они почти совсем завяли, говорила она, расправляя розы.

Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые, Реция говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. Приобщение — это здоровье, приобщение — это счастье. «Приобщение...» — бормотал он.

— Септимус, да ты что? — обмерла Реция, потому что он говорил сам с собой.

Она послала Агнесу за доктором Доумом. Бегом, сказала она. Муж сошел с ума. Даже ее не узнаёт.

— Сволочь! Сволочь! — кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату.

— Ну, что там у нас стряслось? — справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. — Порем глупости, пугаем жену?

Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. И, если, конечно, они люди богатые (доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом), пусть обратятся к светилам на Харли-стрит. Если, конечно, они ему не доверяют, сказал доктор Доум, и лицо у него при этом было не такое уж доброе.

Было ровно двенадцать; двенадцать по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и с ключьями дыма и летел вдаль, к чайкам – пробило ровно двенадцать, когда Кларисса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Уоррен-Смиты шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в двенадцать. Наверное, подумала Реция, этот дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу. (Свинцовые круги побежали по воздуху.)

И в самом деле, то был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу – низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу, словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину – целителю духа, жрецу науки; и коль скоро автомобиль был сер, то и в тон к этой вкрадчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согреть ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на шестьдесят миль и более, с тем чтобы навещать богатых и страждущих, которым по средствам был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписания. Ее сиятельство, бывало, по часу и дольше ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя – порою о пациенте, порою же, вполне естественно, о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита, о золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей (она их храбро сносила; им с мужем тоже пришлось хлеб-

нуть), отделяла от тревог и превратностей, куда ее не вынесло наконец-то в тихие воды, где веют пряные ветры; там почет, восхищение, зависть, и желать больше нечего, и единственно жалко фигуру; там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары; там члены королевской фамилии; и — увы! — так мало времени она с мужем наедине, он безумно, безумно занят; и мальчик прекрасно учится в Итоне; ей, правда, хотелось и девочку; хотя она и сама занята: попечительство в детских приютах; выхаживание эпилептиков и — фотография, фотография, ибо, если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключ и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных, — куда она ждала окончания визита.

Сам сэр Уильям был уже немолод. Он очень много работал; достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованиям (будучи сыном лавочника); он любил свое дело; на церемониях он весьма представительно выглядел; он умел говорить — и в результате всего вместе взятого к тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд (ибо поток пациентов не прекращался, профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права), и утомленность эта, вкуче с сединой, усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию (весьма для лечения нервных болезней не лишнюю) не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательно-го, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет (их звали Уоррен-Смиты), тотчас же, как он увидел юнца, он понял: чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства, и случай запущенный, он установил все симптомы запущенного случая за две-три минуты (пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациента в красную карточку).

Сколько времени его лечил доктор Доум?

Шесть недель.

Прописал снотворное? Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного? Угу. (Ох уж эти мне терапевты! — подумал сэр Уильям. Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы.)

— Вы отличились на войне?

Пациент повторил «на войне?» с вопросительной интонацией.

Он придает словам особый смысл. Занести в карточку: очень важный симптом.

— На войне? — спросил пациент. Мировая война. Потасовка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет? Он просто забыл. Он скверно служил за войне.

— Да нет же, он отличился, — уверяла доктора Реция. — Он повышение получил.

— И на службе о вас весьма высокого мнения? — бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. — Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого?

Он совершил страшное преступление и приговорен человеческой природой к смерти.

— Я... я... — начал он, — совершил преступление...

— Он ничего-ничего плохого не сделал, — уверяла доктора Реция. Если мистер Смит подождет, сказал сэр Уильям, он переговорит с миссис Смит в соседней комнате. Ее муж серьезно болен, сказал сэр Уильям. Не грозил ли он покончить с собой?

Ох, да, да! — крикнула она. Но это он просто так, сказала она. Разумеется. Это лишь вопрос отдыха, сказал сэр Уильям. Есть превосходный загородный дом, где ее мужу обеспечат отличный уход. Его у нее заберут? — спросила она. Увы — да. Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны. Но он ведь не сумасшедший, правда же? Сэр Уильям ответил, что ни о каком «сумасшествии» он не говорит. Он назы-

вает это нарушением чувства пропорций. Но ее муж не любит докторов. Он туда не пойдет, он откажется. Коротко, мягко сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет. Тут уж вопрос закона. Ее муж будет лежать в постели, в превосходном загородном доме. Там превосходные сестры. Сэр Уильям будет еженедельно его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у нее больше нет никаких вопросов — он никогда не торопит своих пациентов, — можно возвратиться в кабинет, к ее мужу. У нее больше не было вопросов — вопросов к сэру Уильяму.

И они возвратились в кабинет, где ждал их возвышеннейший из людей; преступник на скамье подсудимых; жертва, вознесенная к небесам; странник; утонувший матрос; творец бессмертной оды; Господь, смертью жизнь поправший; Септимус Уоррен-Смит ждал их, сидя в кресле под стеклянным потолком, уставясь на фотографию леди Брэдшоу в придворном туалете и бормоча откровения о красоте.

— Мы кое о чем переговорили, — сказал сэр Уильям.

— Он говорит, что ты очень, очень болен, — крикнула Реция.

— Мы договорились, что вас следует поместить в один дом, — сказал сэр Уильям.

— Уж не к Доуму ли в дом? — усмехнулся Септимус.

Юнец производил отвратное впечатление. Ибо сэр Уильям (сын лавочника) питал врожденное почтение к природе, одежде, и он терпеть не мог обдрипанности; и опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаенную неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся тем не менее к числу людей образованных.

— Нет, *ко мне*, в один из моих домов, мистер Уоррен-Смит, — сказал он, — где мы научим вас отдыхать.

И, наконец, еще одна вещь.

Он совершенно убежден, что будь мистер Уоррен-Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве.

— У всех у нас бывают минуты отчаяния, — сказал сэр Уильям.

Стоит упасть, повторял про себя Септимус, и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, с воем несутся в пустыню. В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадна человеческая природа...

На него ведь временами находит такое, не правда ли? — интересовался сэр Уильям, держа перо наготове над красной карточкой.

Это никого не касается, сказал Септимус.

— Нельзя жить только для одного себя, — сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии леди Брэдшоу в придворном туалете.

— И перед вами прекрасные возможности, — сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюера. — Исключительные, блестящие возможности.

Что, если исповедаться? Приобщиться? Отстанут они от него или нет — Доум и Брэдшоу?

— Я... я... — заикался он.

Но в чем же его преступление? Он ничего не мог вспомнить.

— Так-так? — подбадривал сэр Уильям (час, однако, был уже поздний).

Любовь, деревья, преступления нет — что хотел он открыть миру?

Забыл.

— Я... я... — заикался Септимус.

— Постарайтесь как можно меньше сосредоточиваться на себе, — сказал сэр Уильям проникновенно. Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе.

Быть может, им хочется еще о чем-то спросить? Сэр Уильям все устроит (шепнул он Реции) и известит ее сегодня же вечером от пяти до шести.

— Положитесь на меня, — сказал он и их отпустил.

В жизни, в жизни Реция так не страдала! Она просила помощи, и ее предали! Он их обманул! Сэр Уильям Брэдшоу — плохой человек.

Септимус сказал: содержать такой автомобиль — уже одно это обходится в кругленькую сумму.

Она прижалась к его локтю. Их предали.

А чего же она еще-то ждала?

Он отводил пациентам по три четверти часа; а если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чем нам ничего, в сущности, неизвестно, — с нервной системой, человеческим мозгом, — врач теряет чувство пропорций, он перестает быть врачом. Здоровье — прежде всего; здоровье же есть пропорция; и если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос (распространенная мания) и его посетило откровение (почти всех посещает), и грозитя (они вечно грозятя) покончить с собой, вы призовете на помощь чувство пропорции; предпишете отдых в постели; отдых в одиночестве; отдых и тишину; без друзей, без книг, без откровений; шестимесячный отдых; и человек, весивший сорок пять килограммов, выходит из заведения с весом в восемьдесят.

Сэр Уильям обрел веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя семгу, рождая сына на Харли-стрит вкупе с леди Брэдшоу, которая сама ловила семгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии, заточал ее безумцев, запрещал им деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможности проповедовать свои идеи, покуда сами не обретут чувство пропорции — его чувство пропорции, если речь о мужчинах, или чувство леди Брэдшоу, будь речь о женщинах (она вышивала, вязала, проводила четыре вечера в неделю дома с

сыном), и его не только уважали коллеги, боялись подчиненные, но родные и близкие пациентов питали к нему живейшую благодарность за то, что он заставлял Спасителей и Спасительниц, предвещавших конец света и второе пришествие, пить молоко в постели; ибо так велел сэр Уильям; сэр Уильям, который благодаря тридцатилетнему опыту и безошибочному чутью тотчас распознавал: вот безумие, а вот разумное чувство. Чувство пропорции.

Но у Пропорции есть сестра, куда менее улыбкавая, более грозная богиня, которой и поныне приходится в горячих песках Индии, в грязных болотах Африки, в трущобах Лондона, словом, всюду, где климат либо же черт заставляет людей отпадать от истинной веры, от ее то есть веры, богиня, которой приходится сносить алтари, разбивать идолов и вместо них водружать собственный строгий образ; имя ей — Жажда-всех-обратить, и питается она волею слабых, и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лицах населения. Она ораторствует перед зеваками в Гайд-Парке; облачается в белые ризы и, покаянно переодевшись Братской Любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет власти; грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто, заглядываясь ввысь, ловит свет ее очей, — и лишь потом просветленным взором озирает мир. Эта дама тоже (Реция Уоррен-Смит догадалась) свила гнездышко в сердце сэра Уильяма Брэдшоу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычае прятаться, под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем: любви, долга, самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился — как радел он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались! Но Жажду-всех-обратить, привередливую богиню, не проведешь на мякине, ей подавай человеческую волю. Например, леди Брэдшоу. Пятнадцать лет назад она не выдержала. Ничего, в сущности, особенного; ни сцены, ни вспышки;

просто воля ее утонула в его воле; и она пошла ко дну. С томной улыбкой, с лаской во взоре; обед на Харли-стрит, еженедельный, из восьми-девяти блюд, на десять – пятнадцать персон благородной профессии, шел гладко и чинно. И лишь попозже, потом уже, – запинка, неловкость, нервное подергивание, пауза и смущение заставили предположить то, во что верить, право же, не хотелось, – что бедняжка кривит душой. Некогда, в давние дни она спокойно рассказывала, как она ловит семгу. Ныне, желая служить столь маслянисто пылавшему в глазах мужа стремлению властвовать и царить, она взвешивала, выверяла, прикидывала, подсчитывала, подстерегала, следила, так что, хоть точно никто б не сказал, отчего вечер стал неприятным и отчего ломит в затылке (это можно бы приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэдшоу, «принадлежит не ему, но всецело его пациентам»), вечер, однако же, стал неприятным. И когда пробило десять, гости вдохнули воздух Харли-стрит прямо-таки с упоением; пациентам же доктора Брэдшоу было то не дано.

В сером кабинете, увешанном живописью, среди изысканных мебели, под потолком из матового стекла они постигали масштабы своих прегрешений; съездившись в кресле, они смотрели, как сэр Уильям исключительно ради их пользы проделывает интереснейшие упражнения руками: то выбрасывает их в стороны, то опять прижимает к бокам, доказывая (если пациент упорствовал), что сэр Уильям – хозяин собственных действий, пациент же – отнюдь. И слабые не выдерживали; рыдали, сдавались; иные же, под влиянием Бог знает каких буйных, безумных идей, в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном; подвергали – еще более нечестиво – сомнению самую жизнь. Спрашивали: «Зачем жить?» Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над камином в страусовых перьях и годовой доход у него равен двенадцати тысячам. Но ведь нас, они

говорили, жизнь не балует так. В ответ он молчал. У них не было чувства пропорции. Но, может, и Бога-то нет? Он пожимал плечами. Значит, жить или не жить — это личное дело каждого? Вот тут-то они заблуждались. У сэра Уильяма был один друг в Суррее, где обучали, сэр Уильям откровенно признался, нелегкому искусству — чувству пропорции. Существовали еще и семейные привязанности; честь; мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уильям. Если же это не помогало, он призывал на помощь полицию, а также интересы общества, которое — в Суррее — заботилось о том, чтобы пресекать антиобщественные порывы, идущие в основном от недостатка породы. И тогда, осторожно, из укрытия выходила и садилась на трон богиня, вечно жаждущая покорять, и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных сэр Уильям Брэдшоу припечатывал собственной волей. Бросался коршуном; пожирал; запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв.

А Реция, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился.

На части и ломти, на доли, дольки и дольки делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит, рекомендуя покорность, утверждая власть, хором славя чувство пропорции, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на Оксфорд-стрит возвестили братски и дружески, словно бы господам Ригби и Лаундзу весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, — что сейчас половина второго.

Если посмотреть вверх, оказывается, что каждая букровка сдвоенного имени — Ригби и Лаундз — соответствует какому-то часу. И невольно испытываешь к ним благодарность за точное, по Гринвичу, время; и эта благодарность (так рассуждал Хью Уитбред, задержавшийся возле витрины) ес-

тественно потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаундза. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно; он скользил по поверхности; мертвые языки, живые, жите-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис — было когда-то. Теперь же, недоброжелатели утверждали, он нес караул в Букингемском дворце в шелковых чулках и бриджах и караулил там никому не ведомо что. Однако он делал это весьма и весьма успешно. Пятьдесят пять лет он держался на плаву на сливках английского общества. Водил знакомство с премьером. Привязанности его считались глубокими. И хотя надо признать, что действительно он не принял участия ни в одном из великих движений эпохи и не то чтобы занимал очень ответственный пост, одно-два скромных нововведения зато бесспорно делали ему честь: усовершенствование уличных навесов — это раз и, во-вторых, защита сов в Норфолке; молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью. А уж подпись его под письмами в «Таймс» с просьбами выделить средства, с воззваниями к обществу, чтоб защищало, охраняло, не сорило, не курило и боролось с безнравственностью в парках, право же, заслуживала уважения.

И он был, право же, великолепен, когда, застыв на минуту (пока замирал бой часов), критическим оком, оком судьи окинул носки и ботинки; он был безупречен и прочен, будто созерцал мир с некоей высоты, и был одет соответственно, но сознавал обязательства, какие рост, богатство и здоровье на него налагали, и скрупулезно придерживался, даже без нужды, тонкой старомодной учтивости, отчего так запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ленч к леди Брути, к которой ходил уже двадцать лет, не простирая букета гвоздик, и уйти, не справясь у мисс Браш, секретарши леди Брути, о ее брате в Южной Африке, на что мисс Браш, хоть и лишенная решительно каких бы то ни было женских чар, ужасно почему-то обижалась и от-

вечала: «Спасибо, ему очень хорошо в Южной Африке», тогда как ему уже лет пять было очень плохо в Портсмуте.

Сама леди Брутн предпочитала Ричарда Дэллоуэя, явившегося одновременно с Хью. Они буквально столкнулись в дверях.

Конечно, леди Брутн предпочитала Ричарда Дэллоуэя. Этот был из куда более тонкого теста. Но и бедного славного Хью она не дала бы в обиду. Она не могла забыть, он был удивительно мил и оказал ей как-то большую любезность, — она, правда, забыла какую. Но он был — да, удивительно мил. Впрочем, так ли уж велика разница между тем и другим человеком? Она вообще не могла понять, зачем это нужно — всех раскладывать по полочкам, как, например, Кларисса Дэллоуэй, раскладывать по полочкам и опять перемешивать; да, во всяком случае, не в шестьдесят же два года. Гвоздики Хью она приняла с обычной своей угловатой угрюмой улыбкой. Больше никого не будет, сказала она. Она обманом их заманила, они должны ее выручить.

— Но прежде надо поесть, — сказала она.

И началось бесшумное, изысканное, туда-сюда из двойных дверей скольжение фартучков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство, или великий обман, творимый хозяйками в Мейфэре с часу тридцати до двух, когда по мановению руки прекращаются дела и сделки и взамен воцаряется полная иллюзия, во-первых, относительно еды — что она не куплена, за нее не плачено; а затем — что скатерть сама собой уставилась серебром, хрусталем и сами собой очутились на ней салфетки, блюда красных плодов, тонкие дольки палтуса под коричневым соусом, и в горшочках плавают разделанные цыплята; и не в камине, а в сказке пылает огонь; и вместе с кофе и вином (не купленным, не оплаченным) веселые видения встают пред задумчивым взором; томно тающим взором; которому жизнь уже кажется музыкой, тайной;

взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутн (чьи движения все угловаты) поместила рядом с тарелкой, так что Хью Уитбред, довольный всем миром, но и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку:

— Они ведь прелестно подойдут к вашим кружевам?

Мисс Браш страшно покорило от его фамильярности. Она считала его неотесанным. Это смешило леди Брутн.

Леди Брутн подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у нее за спиной; она застыла в задумчивости. Кто же она генералу: правнучка? или праправнучка? — спрашивал себя Ричард Дэллоуэй. Сэр Родерик, сэр Майлз, сэр Толбот — а, ну да. Удивительно, как в этом роду передается по женской линии сходство. Ей бы самой драгунским генералом быть; и Ричард с радостью бы служил под ее началом; он чрезвычайно ее почитал; он питал романтические идеи относительно крепких, старых, знатных дам и, по добродушию своему, с удовольствием бы привел к ней на ленч кое-кого из молодых и горячих друзей; будто можно вывести нечто вроде ее породы из пылких говорунов за чайным столом! Он знал ее родные места. Знал ее семью. Там у нее есть виноградник, все еще плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Херрик¹ — сама она не читала ни единой поэтической строчки, но таково предание. Лучше подождать с вопросом, который ее занимает (воззвать ли к общественному мнению; и если да, то в каких именно словах и прочее), лучше подождать, пока они выпьют кофе, думала леди Брутн. И она положила гвоздики на стол.

— Как Кларисса? — вдруг спросила она.

¹ Ричард Лавлейс (1618–1657) и Роберт Херрик (1591–1674) — английские поэты, воспевавшие радости сельской жизни.

Кларисса всегда говорила, что леди Брутн ее недолюбливает. Действительно, о леди Брутн было известно, что она больше занята политикой, чем людьми; что она говорит, как мужчина; была замешана в какой-то известной интриге восьмидесятих годов, ныне все чаще поминаемой мемуаристами. Доподлинно — в гостиной у нее была ниша, и в нише столик, и над столиком фотография генерала сэра Толбота Мура, ныне покойного, который здесь же составил (однажды вечером в восьмидесятые годы), в присутствии леди Брутн и с ее ведома, то ли по ее совету, телеграмму с приказом британским войскам наступать — в одном историческом случае (она сохранила то перо и рассказывала ту историю). Потому, когда леди Брутн обрушивала подобный вопрос («Как Кларисса?»), мужьям трудно было убедить своих жен, да и самим при всей преданности не усомниться чуть-чуть в искренности ее интереса к этим женщинам, которые так часто мешают мужьям, не дают принять важный пост за границей и которых приходится в разгар парламентской сессии таскать на воды, чтоб оправиться от инфлюэнцы. Тем не менее такой вопрос («Как Кларисса?») в ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя, почти немного (все-то и было таких высказываний пять-шесть за всю ее жизнь), что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающее леди Брутн и миссис Дэллоуэй (которые встречались редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными) особыми узами.

— Я сегодня встретил Клариссу в парке, — сказал Хью Уитбред, выуживая кусок цыпленка и спеша отдать скромную дань признания своему удивительному таланту, — стоило ему приехать в Лондон, он сразу всех встречал. Но обжора, обжора, она просто таких не видывала, думала Милли Браш, которая судила о мужчинах с неколебимой суровостью и была способна на преданность до гроба, —

в частности, представительницам своего собственного пола, ибо была она сутуловата, бородавчата, угловата и решительно лишена женских чар.

— А знаете, кто сейчас в Лондоне? — вдруг вспомнила леди Брутн. — Наш старый друг Питер Уолш.

Все заулыбались. Питер Уолш! И мистер Дэллоуэй искренне обрадовался, думала Милли Браш; а мистер Уитбред только о цыпленке и думал.

Питер Уолш! Все трое — леди Брутн, Хью Уитбред и Ричард Дэллоуэй — вспомнили одно и то же: как отчаянно был Питер влюблен; получил от ворот поворот; уехал в Индию; ничего не достиг; совсем запутался; и Ричарду Дэллоуэю очень нравился старый милый приятель. Милли Браш это видела; видела глубину в его темных глазах и как он колеблется, что-то решает; и ей было интересно, ей все было интересно про мистера Дэллоуэя — интересно, что он думает про Питера Уолша?

Что Питер Уолш был влюблен в Клариссу; что сразу после ленча он пойдет к Клариссе и скажет ей, что он любит ее. Да, именно в этих словах.

Милли Браш когда-то чуть не влюбилась в эту задумчивость мистера Дэллоуэя; он такой положительный и настоящий джентльмен. Теперь же ей было за сорок, и леди Брутн стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал, как бы ни была она погружена в соображения высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула Милли Браш ради подкупа ни самомалейшей безделицы — ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щечек, решительно ничего; леди Брутн стоило только кивнуть — и Перкинс уже получал указание поторопиться с кофе.

— Да, Питер Уолш вернулся, — сказала леди Брутн. Это смутно льстило им всем. Побитого, незадачливого, его кинуло к их безопасному берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно; у него в характере какой-то изъян.

Хью Уитбред сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за «моего старого друга Питера Уолша», и прочее. Только ни к чему это не приведет — ни к чему существенному не приведет, из-за его характера.

— Вероятно, сложности с женщиной, — сказала леди Брутн. Они все подозревали, что подоплека — *в этом.*

— Однако, — сказала леди Брутн, чтоб переменить тему, — мы все узнаем от самого Питера.

(Кофе что-то долго не несли.)

— А его адрес? — бормотнул Хью Уитбред; и тотчас прошла рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутн день-деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжения, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и тотчас извлекалось седовласым Перкинсом, который служил у леди Брутн уже тридцать лет и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбреду и тот вытащил записную книжку, вскинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку.

(Кофе не вносили, пока мистер Уитбред не упрямится с этим делом.)

Хью ужасно медлителен, думала леди Брутн. И Хью потолстел, она заметила. Ричард всегда в прекрасной форме. Леди Брутн начала уже нервничать; решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности (Питера Уолша, его дела) и перейти наконец к тому, что поглощало ее помыслы, и не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Милисент Брутн не была бы Милисент Брутн, перейти к проекту эмиграции молодых людей обоюбого пола из почтенных семейств, с тем чтобы создать им условия для процветания в Канаде. Она увлекалась. Быть может, она утратила

чувство пропорции. Другим эмиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом. Для них (для Хью или Ричарда, даже для преданной мисс Браш) она не была высвобождением тех эгоистических сил, которые мощная, воинствующая женщина хорошего происхождения от хорошей жизни, непосредственных порывов, откровенных чувств и неспособности к самоанализу (я прямая, открытая, почему человеку нельзя быть прямым и открытым? — недоумевала она), которые такая женщина ощущает в себе, когда молодость миновала, и стремится направить на какой-то объект, будь то эмиграция, эмансипация, совершенно не важно что, но, ежедневно питаюсь соками ее души, объект этот неизбежно становится сверкающим, блистающим — не то зеркало, не то драгоценный камень; временами же гордо выставляют напоказ. Короче говоря, эмиграция стала теперь в значительной степени самой леди Брутн.

Но приходилось еще и писать. А одно письмо в «Таймс», говорила она мисс Браш, стоило ей больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку (какую она во время войны и отправила). Потратив утро на битву с письмом, начиная, марая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских потуг и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбреду, который обладал — тут уж никто бы не мог усомниться — удивительным даром сочинять письма в «Таймс».

Совершенно не похожее на нее существо, Хью так владел языком; умел все изложить в точности, как нужно издателям; и был, конечно, не просто примитивный жадюга, все гораздо сложнее. Леди Брутн не решалась строго судить о мужчинах из почтения к тому таинственному сговору, по которому именно они, но не женщины ведают миропорядком; знают, как что изложить; все понимают; и когда Ричард советовал ей, а Хью за нее писал, она была, в общем, уверена в своей правоте. И она дала Хью доесть суфле, спросила про бедняжку

Ивлин, дождалась, пока они стали курить, и уж потом сказала:

— Милли, вы нам не принесете мои бумаги?

И мисс Браш вышла, вернулась; положила бумаги на стол; и Хью вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже двадцать лет. И осталось в полной сохранности; он его показывал в фирме; там сказали, что оно, собственно, и вообще не должно испортиться; и почему-то такое это делало честь Хью и делало честь тем чувствам, которые (Ричард это ощущал) выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудодейственно сумбур леди Брутн к строю, ладу и грамматике, которые, поняла леди Брутн, следя за магическим превращением, непременно понравятся редактору в «Таймс». Хью был медлителен. Хью был основателен. Ричард считал, что кое-чем можно пожертвовать. Хью предложил некоторые модификации, из уважения к чувствам людей, с которыми, он прибавил довольно язвительно, когда Ричард засмеялся, «нельзя не считаться», и он читал вслух, как, «следовательно, мы придерживаемся того мнения, что настало время, когда... избыточная часть нашего непрестанно возрастающего населения... наш долг перед мертвыми...», что Ричард находил сплошной трескотней и белибердой, хотя и безвредной, а Хью продолжал намечать в алфавитном порядке чувства наивысшего благородства, отрясал сигарный пепел с жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока наконец не огласил вариант письма, который, леди Брутн понимала отчетливо, был просто шедевром. Неужто она сама до такого додумалась?

Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит; но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом.

После чего леди Брутн, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за пазуху и, распростерши руки, назвала его «мой премьер-ми-

нистр!». Она просто не знала, что бы она делала без них обоих. Оба встали. И Ричард Дэллоуэй прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, когда выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутн.

А Милисент Брутн очень гордилась своей семьей. «Но они подождут, они подождут», — сказала она, глядя на портрет; разумея, что ее семья — воины, государственные мужи, адмиралы — были все люди действия, они исполняли свой долг; и первый долг Ричарда — долг перед отечеством; но лицо прекрасное, сказала она; а бумаги для Ричарда собраны и полежат в Олдмикстоне, пока пора не пришла; пока не пришли лейбористы к власти, она разумела. «Ах, эти вести из Индии!» — вскричала она.

И вот, когда они уже стояли в холле и вынимали желтые перчатки из вазы на малахитовом столике и Хью с совершенно излишней галантностью норовил всучить мисс Браш завалящий театральный билет или подобную прелесть, чем возмущал ее до глубины души и вгонял в густую краску, Ричард повернулся к леди Брутн, держа шляпу в руке, и сказал:

— Мы увидим вас вечером на нашем приеме? — после чего к леди Брутн воротилось величие, развешенное составлением письма. Возможно, она придет; возможно, и нет. Кларисса изумительно энергична. На леди Брутн приемы наводят страх. Впрочем, она стареет — так поведала им она, стоя на пороге — статная, очень прямая; а чау-чау потягивался у нее за спиной, а мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги.

И леди Брутн весело, державно поднялась к себе в спальню. Выкинув вбок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала, она не спала, нет, она просто была тяжелая, сонная, как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчелы кружат над лугом и желтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Девоншире, где вместе с Томом и Мортимером — братьями — она

перепрыгивала через ручьи на Патти, своей лошадке. Там были собаки и крысы; и мать с отцом под вязами; и на лужайке сервировали им чай; там куртины; штокрозы и далии; и пампасская трава; а вот они, трое негодников, — одни проказы на уме! — крадутся кустарником, чумазные после какой-то проделки. Как старая няня причитала над ее платьями!

Господи, да ведь она же на Брук-стрит, сегодня среда. Эти милые, добрые люди — Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбрэд — в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до софы леди Брутн. У нее была власть, положение, доход. Она всегда была передовым человеком. Добрые друзья ее окружали; она знала немало светлых умов своего времени. Рокот Лондона натекал в окна, и откинута на софе рука сжимала воображаемый жезл, каким поманивали, наверное, предки, и, поманивая жезлом, тяжелая, сонная, она вела батальоны вперед, и шли батальоны к Канаде, а милые люди шли по Лондону, по своей территории, по этому коврику, по Мейфэру.

И все дальше они уходили, от нее все дальше, и тоненькая ниточка, которая их к ней еще прикрепляла (раз они вместе откушали), все вытягивалась, вытягивалась, все истончалась, пока они шли по Лондону; будто друзья, откушав с тобой, прикрепляются к тебе тоненькой ниточкой, которая (леди Брутн дремала) истаивает под колокольным звоном, вызывающим время, не то созывающим в церковь; так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отягчаясь, она провисает. И леди Брутн уснула.

А Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбрэд задержались на углу Кондиг-стрит в тот самый миг, когда Милисент Брутн, лежа на софе, выпустила ниточку; всхрапнула. На углу бились встречные ветры. Ричард и Хью заглянули в витрину; им не хотелось ничего покупать, ни разговаривать, хотелось, наоборот, распрощаться, но бились встречные ветры, первая половина дня с разлету врезалась во вто-

рую, и толчок еще отдавался в теле, вот они и остановились на углу Кондит-стрит. Совсем близко, как пущенный в голубизну белый змей, устремленно взмыла газета, расправилась и застыла, паря; у дамы взметнулась вуалька. Желтые навесы дрожали. Утреннее движение стихало, только редкие подводы облегченно гремели на пустеющих улицах. А в Норфолке, смутно вспоминая сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки; лохматил воду; ерошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроившись в тени соснуть, раздвигали завесу зеленых стеблей, чтобы из-под дрожащих шариков купыря заглянуть в небо; в синее, в недвижимое, в спящее летнее небо.

Поймав себя на том, что он уставился на серебряный, семнадцатого века, кубок о двух ручках, покуда Хью благосклонно, с видом знатока созерцает испанское ожерелье, чтоб к нему прицениться на случай, если оно подойдет Ивлин, Ричард все же не мог стряхнуть оцепенение; не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки; витрины, заваленные побрякушками; и летаргический сон древности, старины окутывал Ричарда. Возможно, Ивлин Уитбред и пожелает купить испанское ожерелье — очень возможно. Ричард зевнул. Хью решил войти в магазин.

— Изволь, — сказал Ричард и побрел следом за ним.

Видит Бог, вот уж он не собирался покупать ожерелья в компании с Хью. Но первая половина дня с разлету врезалась во вторую. И толчок еще отдавался в теле. Как валкий челн в глубоких, глубоких водах, прадедушку леди Брутн, воспоминания о нем и его походы в Америке опрокинуло и накрыло волной. А с ним и Милисент Брутн. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станет с эмиграцией и с письмом этим — поместит его редактор или нет. Ожерелье повисло на великолепных пальцах Хью. Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать

драгоценности; первой встречной девушке. Вдруг Ричарда поразила бессмысленность жизни. Покупать ожерелья для Ивлин. Будь у Ричарда сын, он бы твердил ему: «Трудись, трудись». Но у него была Элизабет; он обожал свою Элизабет.

— Я желал бы видеть мистера Дюбонне, — уверенно отчеканил Хью. Этот Дюбонне, оказывается, знал размер шеи миссис Уитбрэд и, еще более странно, знал, как относится она к испанским драгоценностям и (Хью лично запомнил) что имеется у нее в арсенале по этой части. Все вместе взятое весьма удивило Ричарда Дэллоуэя. Он никогда ничего не дарил Клариссе, только браслет подарил несколько лет назад, но браслет не имел успеха. Она ни разу его не надела. Ричард вспомнил с тоской, что она ни разу его не надела. И как одинокая паутинка, поболтавшись, прикрепляется к листику, так и мысль Ричарда, высвободясь из летаргии, потянулась к жене, Клариссе; по ней когда-то с ума сходил Питер Уолш; и она вдруг привиделась Ричарду во время ленча; привиделись он сам и Кларисса; их совместная жизнь. И он придвинул к себе поднос со старинными драгоценностями и, поддевая то брошку, то кольцо, спрашивал: «Сколько это стоит?» — но он не доверял своему вкусу. Ему хотелось, входя в гостиную, держать что-то в руках, подарок Клариссе. Только вот что бы? А Хью уже снова распустил хвост. Он был несказанно величествен. Естественно, тридцать пять лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека, в сущности мальчика. Ибо этот Дюбонне, выяснялось, отлучился, и Хью не намеревался ничего покупать, куда мистер Дюбонне не соблаговолит быть на месте; юнец же в ответ покраснел и поклонился очень корректно. Все вообще было очень корректно. Но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить! Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хью становился просто несносным олухом. Ричард Дэллоуэй не мог теперь выдержать его общество

более часа. И, взмахнув в знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кондит-стрит, чтоб поскорей, да, поскорей пойти следом за паутилкой, которая его привязывала к Клариссе; пойти прямо к ней, в Вестминстер.

Но ему хотелось что-то ей принести. Цветы? Да, цветы, раз он не доверяет своему вкусу относительно драгоценностей; побольше цветов — роз, орхидей, чтоб ознаменовать, как ни толкуй, событие; это чувство, которое осенило его, когда за столом говорили про Питера Уолша; они ведь никогда про это не говорят; они уж сто лет про это не говорят; и, между прочим, думал он, прижимая к груди белые и красные розы (большую охапку в шелестящей обертке), очень, очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь; такое как-то стесняешься выговорить, подумал он, сунул в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов, в Вестминстер, чтобы с порога сказать (и пусть она что хочет, то про него и думает), с порога сказать, протягивая цветы: «Я тебя люблю». Почему не сказать? Ведь это же просто чудо, как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты; просто чудо. А он вот идет по Лондону, идет сказать Клариссе, что он любит ее, именно в этих словах. Такое, в общем, не говоришь, думал он. Отчасти ленишься; отчасти стесняешься. А Кларисса... О ней трудно думать; разве вдруг, приступом, как за ленчем, когда он отчетливо увидел ее всю; всю их жизнь. Он стоял у перехода и повторял про себя — простой по натуре и неиспорченный, недаром он много бродил и охотился; настойчивый и упорный, защитник прав угнетенных, всегда искренний в палате общин; неизменный в своей простоте, но в последнее время чересчур молчаливый и скованный, — он повторял про себя, что это же чудо, что он женат на Клариссе; чудо, чудо, его жизнь — настоящее чудо, думал он; и медлил у перехода. Но кровь в нем вскипела при виде карапузов лет

пяти, которые — одни, без присмотра — пересекали Пиккадилли. Полиция в таких случаях обязана сразу перекрывать движение. Относительно лондонской полиции он не слишком обольщался. Он, собственно, собирал даже данные о преступном ее нерадении; а торговцы? Почему они ставят тележки на улице — это запрещено. А проститутки? Господи, конечно, не они виноваты и не бедные юноши, но наше отвратительное общественное устройство и прочее, прочее. Обо всем этом он размышлял, и эта работа мысли была в нем видна, когда, седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтоб сказать жене, что он любит ее.

Он войдет в гостиную и прямо так ей и скажет. Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств, думал он, пересекая Грин-Парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи разместились в тени под деревьями; детишки, совсем клопы, болтали ножонками; сосали молоко; бумажные пакеты валялись на земле, однако же (в случае возможных протестов) их тотчас мог устранить один из этих плотных господ в ливреях. Да, Ричард был того мнения, что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжение летних месяцев (трава, красноватая, вялая, подсвечивала снизу лица бедных вестминстерских матерей и копошащихся деток, будто двигали снизу желтую лампу). Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола, как вот та, например, что лежала опершись на локоть (будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтоб наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело распутив губы), он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Дэллоуэй к ней приблизился; сосредоточенно прошел мимо; но между ними успела проскочить искорка — она усмехнулась при виде его, он же доброжелательно улыбнулся, размышляя над судьбами заблудших особ женского пола; говорить им было, разумеется, не о чем. Но сейчас он скажет Клариссе, что он любит

ее, именно в этих словах. Когда-то, давным-давно, он ревновал к Питеру Уолшу; ревновал к нему Клариссу. Но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Питеру Уолшу; и это правда, он же знает Клариссу; ей нужна опора. Она вовсе не слабая; но ей нужна опора.

Ну а насчет Букингемского дворца (будто старая примадонна, вся в белом, смотрит на зрителей), ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард, и нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей (горстка любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля) является известным символом, хотя и нелепым; ребенок, ей-богу, сложил бы удачней из кубиков, подумал он и окинул взглядом королеву Викторию (он ее помнил, она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону) – белокаменную пышность, изобильное материнство; но ему нравилось, чтоб над ним царило потомство Хорсы¹, он ценил непрерывность; ощущение преемственности. Да. Великая, великая Эпоха. А его собственная жизнь – разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он, во цвете лет, он идет по Вестминстеру, идет к себе домой – сказать Клариссе, что он ее любит. Это счастье и есть, думал он.

Так и есть, сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг-Бен выбил: сперва мелодично – вступление; и затем непреложно – час. Эти ленчи в гостях разбирают весь день, думал он, подходя к своей двери.

Звук Биг-Бена затопил гостиную и застиг Клариссу за письменным столом, очень расстроенную; очень расстроенную и злую. Да, совершенно справедливо, она не пригласила Элли Хендерсон к себе на прием; но она же ее сознательно не пригласила. И вот миссис Мэшем пишет: «Она обещала Элли Хендерсон спросить у Клариссы... Элли так хотела пойти...»

Но почему, почему она обязана всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы? И при

¹ Хорса и Хенгист – вожди древних саксов, возможно, легендарные фигуры.

чем тут миссис Мэшем? И вдобавок Элизабет заперлась с Дорис Килман. Вообразить нельзя ничего более тошнотворного. Молиться среди бела дня с этой особой. А звук колокола опять затопил гостиную печальной волной; и волна отступала и опять собиралась нахлынуть, когда Кларисса различила рассеянно какой-то шелест под дверью. Кто там еще, в такой час? Три. Господи! Уже три! С победительной прямою и достоинством часы выбили три; и больше она уже ничего не слышала; но повернулась дверная ручка, и вошел Ричард! Вот неожиданность! Вошел Ричард, протягивая ей цветы. Когда-то в Константинополе она обманула его ожидания; и леди Брутен, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Ричард вошел, протягивая ей цветы — розы, красные и белые розы. (Но он так и не выговорил, что он ее любит, как собирался, именно в этих словах.)

— Какая прелесть, — сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла; она без всяких слов поняла; это же Кларисса. Она расставляла их в вазах на камине.

— Какая прелесть, — говорила она. Интересно было? Спрашивала про нее леди Брутен? Питер Уолш приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. Неужто необходимо приглашать Элли Хендерсон? Килманша торчит наверху.

— Посидим пять минут, — сказал Ричард. В гостиной стало как-то пусто. Все стулья по стенам. Зачем это? Ах да, прием; нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ну да, он у нее был. Собирается разводиться; влюбился там в кого-то. И в точности, в точности тот же. Она сидела, чинила платье...

— Вспоминала Бортон, — сказала она.

— Хью тоже был, — сказал Ричард. Ах, и она его встретила? Совершенно стал несносный. Покупает своей Ивлин ожерелья; еще потолстел; несносный олух.

— И вдруг на меня нашло: «А ведь чуть не вышла за тебя», — сказала она, думая про то, как Питер сидел тут, в галстук бабочкой; играл ножом —

открывал, закрывал. — Он, ну, ты знаешь, как всегда.

Про него шла речь за едой, сказал Ричард. (Но он не смог ей сказать, что он ее любит. Он держал ее за руку. Это счастье и есть, думал он.) Они писали письмо в «Таймс» для Милисент Бругн. Хью на одно это, кажется, только и годен.

— Ну, а что же милейшая мисс Килман? — спросил он. Клариссе безумно понравились розы; сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны.

— Килман заявляется сразу же после ленча, — сказала она. — Элизабет вся краснеет. Они запираются наверху. Наверное, молятся.

Господи! Вот уж это было не по нутру Ричарду. Но это возрастное, такие вещи проходят сами, если не обращать внимания.

— В макинтоше и с зонтиком, — сказала Кларисса.

Он ей не сказал: «Я тебя люблю»; но он держал ее за руку. Это счастье и есть, думал он.

— Но почему я должна всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы? — сказала Кларисса. — И когда у миссис Мэшем прием, она же сама решает, кого пригласить?

— Бедненькая Элли Хендерсон, — сказал Ричард. Ужасно странно, как Кларисса тревожится из-за своих приемов, думал он.

Но Ричард даже не заметил, как они убрали гостиную! Да, так что же он хотел ей сказать?

Раз она огорчается из-за этих приемов, он ей больше не разрешит их устраивать. Ну так как же? Жалеет она, что не вышла за Питера? Ему, однако, пора.

Ему надо идти, сказал он, и он встал. Но еще постоял перед нею, будто что-то решался сказать; и она гадала — что? И зачем? Вот же — розы.

— Комитет какой-нибудь? — спросила она, когда он отворял дверь.

— Армяне, — сказал он; или, может, он сказал «славяне».

И есть же достоинство в людях; отдельность; даже между женой и мужем — провал; и с этим надо считаться, думала Кларисса, глядя, как он отворяет дверь; и с этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать, не то как раз и лишишься свободы, уважения к себе — словом, бесценных вещей.

Он воротился, принес одеяло и подушку.

— После ленча полный покой в течение часа, — сказал он. И он ушел.

Как на него похоже! Он будет повторять: «После ленча полный покой в течение часа» до скончания века, потому что один врач однажды это ей прописал. На него похоже — принимать предписания врачей совершенно буквально; это часть его дивной, его божественной простоты, и больше ни у кого нет до такой степени простоты; потому-то он сразу шел и что-то делал, пока они с Питером тратили время в пустых пререканиях. Сейчас он уже на полпути к палате общин, спешит к своим армянам, к своим славянам, устроив ее на кушетке, лицом к розам. А ведь кто-то скажет: «Кларисса Дэллоуэй — неженка». Да, ей куда больше нравятся ее розы, чем армяне. Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости (Ричард сто раз говорил), нет, ей совершенно безразличны славяне — или армяне? Зато розы ей радуют сердце (ведь и для армян эдак лучше, не правда ли?) — единственные цветы, которые не противно видеть срезанными с куста. А Ричард уже в палате общин; он в своем комитете, и все ее затруднения он уже уладил. Хотя нет; увы, это неверно. Он не поддержал ее насчет Элли Хендерсон. Она, конечно, все сделает, как он хочет. Раз он принес подушку, надо полежать... Но только — только непонятно, отчего ей вдруг стало так грустно? Как кто-то, кто потерял в траве жемчужину или бриллиант и, раздвигая высокие стебли, все ищет, ищет напрасно и наконец обнаруживает пропажу у самых корней, так и она внимательно искала, перебирала причины; нет, это не из-за того,

что Салли Сетон говорила: «Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полета ум» (вдруг вспомнилось); подумаешь, ну говорила, и пусть; и Элизабет с Дорис Килман здесь ни при чем; это факты. А тут чувство какое-то, неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше; что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которая нашла на нее, когда она в спальне снимала шляпку; и от того, что сказал Ричард, это усугубилось. Но что он такого сказал? Принес розы. А! Насчет приемов! Вот оно! Приемы! Оба осуждали ее — и ужасно несправедливо, совершенно незаслуженно смеялись над ней из-за ее приемов. Вот оно! Вот!

Так что же можно сказать в свое оправдание? Теперь, когда она добралась до причины тоски, ее как рукой сняло. Они думают, Питер по крайней мере думает, что она любит привлекать к себе внимание; любит коллекционировать знаменитостей; разные великие имена; словом, обычная снобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребячеством. И оба совершенно неправы. Любит она — просто жизнь.

— Потому я все это и делаю, — сказала она вслух — жизни.

Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившись и отойдя, — жизнь, и прежде физически ощутимая, уже сама входила в окна в одежде уличных шумов, прогретых солнцем, горячих, шестелящих, прерывистых, так что у штор перехватывало дух. Но если б Питер, положим, сказал: «Да, да, а твои приемы, какой смысл в твоих приемах?» — она могла бы ответить (и ни от кого нельзя требовать, чтоб он понял такое): «Это жертвоприношение». Звучит, конечно, туманно. Только кому-кому, а уж не Питеру утверждать, что жизнь простая, понятная вещь. Сам-то? Вечно влюблен, вечно влюблен в кого не следует. А какой смысл в твоей любви? — тоже ведь можно спро-

силь. Ответ его, правда, известен: это самая важная вещь на свете, но ни одна женщина ничего в ней не понимает. Прекрасно. Ну а мужчина, хоть один, может понять вот это? Насчет жизни? Посмотрела бы она, как Питер или Ричард станут ни с того ни с сего устраивать прием.

Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что говорит (до чего же отрывочно, поверхностно они судят), сама-то она что вкладывает в свое понятие «жизнь»? О, все ужасно сложно. Такой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне; кто-то в Бейзуотере; а еще кто-то, скажем, в Мейфэре. И она постоянно в себе чувствует, что они существуют; и чувствует — какая досада; чувствует — какая жалость; и если бы всех их свести; вот она и хлопчет. И это жертвоприношение; творить, сочетать. Жертвоприношение — но кому?

Просто, наверное, надо приносить жертвы. Во всяком случае, такой уж у нее дар. Больше ей ничего не дано хоть сколько-то стоящего; она не умеет мыслить, писать, даже на рояле играть не умеет. Не в силах отличить армян от турок; любит успех; ненавидит трудности; любит нравиться; гордит горы вздора; и по сей день — спросите ее, что такое экватор — и она ведь не скажет.

И все равно — подумать только — день сменяется днем; среда, четверг, пятница, суббота; и можно проснуться утром; увидеть небо; пройтись по парку; встретить Хью Уитбрета; потом вдруг является Питер; и эти розы; разве еще не довольно? И как немыслима, невообразима смерть! И все кончится; и никто, никто в целом свете не будет знать, как она все это любила; и каждый миг...

Дверь отворилась. Элизабет знала, что мать одышется. Она вошла очень тихо. Она стояла не шевелясь. Может, правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфолка (как уверяла миссис Хилбери) и смешался с женами из рода Дэллоуэв лет сто тому назад? Ведь вообще Дэллоуэи все светлые, голубоглазые; Элизабет же темная, наоборот; у нее китайские глаза на бледном

лице; таинственность Востока; она тиха, рассудительна, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора; а теперь, в семнадцать лет, почему-то — Кларисса не могла взять в толк почему — она вдруг стала ужасно серьезна; как гиацинт, облитый зеленым глянцем и по почкам чуть-чуть тронутый краской; без солнца выросший гиацинт.

Она стояла не шевелясь и смотрела на мать; но дверь была полуотворена, и за дверью, Кларисса знала, была мисс Килман; мисс Килман, в своем макинтоше, подслушивала под дверью.

Да, мисс Килман действительно стояла на площадке и действительно в макинтоше; но у нее были резоны. Во-первых, макинтош был дешевый; во-вторых, ей шел пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедная, можно сказать — нищая. Иначе она б не стала наниматься к таким людям, как Дэллоуэи, — к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Дэллоуэй, тот, надо отдать ему должное, к ней действительно добр. А вот миссис Дэллоуэй — нет. Просто снисходительна. Она из самой противной среды — богачей с проблесками культуры. Всюду у них понатыканы ценные вещи — картины, ковры. И видимо-невидимо слуг. Мисс Килман никак не считала, что ее тут благодетельствовали.

Вообще ее попросту обобрали. Да, без всякого преувеличения, ведь имеет же каждая девушка право на счастье? А она никогда не была счастлива, никогда, такая неимущая, нескладная. И как раз, когда все могло б так хорошо обернуться — в школе у мисс Долби, — началась война; и она никогда не умела врать. И мисс Долби сочла, что ей место скорей среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно, семья их немецкого происхождения; в восемнадцатом веке еще и фамилия писалась на немецкий манер, через долгое «и»; но ее брат ведь погиб на фронте. Ее выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи — когда у нее

друзья немцы, и если уж были у нее в жизни счастливые дни, так только в Германии! А уж в истории, в конце концов, она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за все. Мистер Дэллоуэй наткнулся на нее, когда она работала в «Обществе друзей»¹. Он дал ей возможность (и очень с его стороны великодушно) преподавать его дочке историю. Потом подвернулось еще несколько лекций на вечернем факультете и прочее. А потом к ней явился Господь (тут она обычно склоняла голову). Два года и три месяца как она прозрела. И теперь она уже не завидовала женщинам вроде Клариссы Дэллоуэй; она их жалела.

Она жалела и презирала их всей душой, стоя на пушистом ковре перед старинной гравюрой – девочка с муфтой. При такой роскоши – где же надежда на спасение? Чем валяться на кушетке (Элизабет сказала: «Мама отдыхает»), постоять бы у станка; за стойкой; миссис Дэллоуэй и прочим дамам из общества!

Вся горя гневом, мисс Килман два года и три месяца назад зашла в церковь. Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уиттекер, как поют мальчишки; видела, как плывут по нефу торжественные свечи; и то ли от музыки, то ли от голосов (одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой; правда, звук получался бедственный; у нее не было слуха) буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уиттекеру с визитом, на дом, в Кенсингтон. Это рука Всевышнего, сказал он. Господь указал ей путь. И теперь, как только в ней вскипали горькие чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй и вообще обида и озлобление, она всегда думала о Господе. Она думала о мистере Уиттекере. И ярость сменялась покоем. И сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжело стоя на площадке, она пристальным, зловеще-ясным взглядом следила, как миссис Дэллоуэй выходит из комнаты вместе с дочерью.

¹ Официальное название секты квакеров.

Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс Килман. Она просто не могла их видеть вместе. Она побежала наверх, за перчатками.

Но нет, в сердце мисс Килман не было ненависти. Остановив крыжовенные глаза на Клариссе, разглядывая узкое розовое лицо, тонкое тело, всю ее, свежую и элегантную, мисс Килман думала: «Дура! Пустышка! Не знаешь ни радости, ни забот; размениваешься на мелочь!» И властное желание в ней поднималось — подмять Клариссу, сорвать с нее маску. Сокрушить бы ее — и мисс Килман стало бы легче. Не тело убить. Ей хотелось покорить ее душу, сбить с нее спесь, чтоб почувствовала. Заставить бы ее плакать; подмять; унижить, чтоб она, на коленях, кричала: «Ваша, ваша правда!» Но на то воля Божья, а не мисс Килман. Это вера должна победить. И мисс Килман смотрела; мисс Килман кипела.

А Кларисса возмущалась. И она христианка — эта женщина! И эта женщина у нее отнимает дочь! И эта — в общении с незримыми духами! Грузная, безобразная, пошлая, без доброты и милости — и такая знает смысл жизни!

— Вы идете с Элизабет в офицерский? — спросила миссис Дэллоуэй.

Мисс Килман сказала: да, в офицерский магазин. Они стояли друг против друга. Мисс Килман не собиралась подлаживаться к миссис Дэллоуэй. Она всю жизнь сама зарабатывала на хлеб. Новую историю она знала великолепно. Из скудных своих доходов она ухитрялась откладывать на дело, в которое верит; эта же дама за всю свою жизнь палец о палец не ударила; никогда ни во что не верила; а дочь воспитывала... но вот явилась Элизабет, слегка задыхаясь, — красивая девочка.

Значит, они собрались в офицерский. И странно: пока мисс Килман стояла здесь, на площадке (стояла, мощная и безгласная, как доисторическое некое чудище в доспехах для первобытных битв), от секунды к секунде таяло понятие о ней, и ненависть (она же к понятиям, а не к людям) исчезала, и от секунды к секунде мисс Килман лишалась

размеров и злобности и становилась обыкновенной мисс Килман, в макинтоше, которой, видит Бог, Кларисса очень хотела помочь.

Превращение чудища рассмешило Клариссу. Прощаясь с ними, Кларисса смеялась.

И они пошли парочкой – мисс Килман с Элизабет – по лестнице вниз.

И вдруг у Клариссы сжалось сердце от того, что эта женщина уводит от нее дочь, и, перегнувшись через перила, она крикнула:

– Прием! Не забудь, у нас сегодня прием!

Но Элизабет уже отворила парадную дверь: мимо гремел грузовик; она не ответила.

«Любовь и религия! – думала Кларисса, возвращаясь в гостиную, вся клопоча. – Омерзительны, омерзительны и та и другая». Потому что теперь, когда мисс Килман тут не было, ею снова овладело понятие. Самые жестокие две вещи на свете, думала она и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда, в макинтоше, они стоят и подслушивают под дверь; любовь и религия. Разве сама она пыталась кого-нибудь обращать? Разве не желает она каждому, чтоб был самым собою? Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, раз хочется ей; пусть остановится; а потом пусть, как часто наблюдала Кларисса, пусть войдет к себе в спальню, раздвинет занавески и опять скроется в комнатной глубине. Как-то уважаешь: старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на нее сейчас смотрят. И что-то тут важное и печальное, что ли, – но любви и религии только б это разрушить – неприкосновенность души. Мерзкой Килманше только б это разрушить. А зрелище меж тем такое, что хочется плакать.

И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное – все проходит. Например, Питер Уолш. Прелестный человек – умница, полон разных идей. Если тебе надо узнать про Поупа, скажем, или про

Аддисона, или просто поболтать-посплетничать, обсудить новости – лучше Питера никого не найти. Это ведь Питеру она стольким обязана; это он ей давал читать книжки. Но в каких он женщин вечно влюбляется – пошлые, вульгарные, заурядные. Влюблен! Через столько лет приходит повидаться и о чем говорит? О себе. Ужасная страсть, подумала она. Унизительная страсть! – подумала она и вспомнила, что Килманша с ее Элизабет идет сейчас в офицерский.

Биг-Бен пробил полчаса.

Как это поразительно, странно, да, странно и трогательно: вот старушка (а они ведь давным-давно с ней соседки) отошла от окна, будто Биг-Бен ее оттянул, звук оттянул, канатом. Огромный – а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст и делает миг важным. Старушку, Кларисса решила, звук просто понуждает двигаться – но куда? Кларисса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик мелькнул в глубине комнаты. Она там еще, в комнате, ходит. И к чему тут символ веры, и молитвы, и макинтоши? Если думала Кларисса, вот оно – чудо, вот она – тайна: старушка, и она копошится и передвигается от шифоньерки к трюмо. Ее еще видно. И высшая тайна, в которую Килманша якобы проникла или Питер якобы проник, но Кларисса-то знает – ничего подобного, и отдаленно они не проникли, – ведь высшая тайна – вот она: здесь одна комната; там другая. Ну и может религия в это проникнуть? Или любовь?

Любовь... но тут другие часы, они всегда на две минуты отстают от Биг-Бена, подоспели и вытрянули полный подол пустяков, будто напомнили, что Биг-Бен, разумеется, величаво, непреложно, торжественно провозгласил конечную истину, но остается еще бездна разного вздора – миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого, – и бездна разного вздора, плескаясь, танцуя и брызгаясь, неслась в кильватере торжественного звука, который уже золотом лег на морские воды. Миссис

Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого — надо скорей позвонить.

Запинаясь, захлебываясь в кильватере Биг-Бена, вытряхивали опаздывающие часы свой подол пустяков. Мятые, давленные, перемолотые натиском грузовиков, прытью пролетов, трусцой деловитых господ, поступью плавных матрон, куполами и шпилями больниц, учреждений, пустяки, как брызги разбитой волны, окатили мисс Килман, когда она, замерев на секунду, пробормотала: «Все плоть».

Надо держать в узде свою плоть. Кларисса Дэллоуэй ее оскорбила. Что ж, ничего неожиданного. Но она-то была не на высоте; не совладала с плотью. Ну да, нескладная, некрасивая — Кларисса над этим смеялась и пробудила в ней плотские помыслы: ей стало неприятно так выглядеть рядом с Клариссой. И манеры говорить ей такой не дано. Но зачем ей быть на нее похожей? Зачем? Она всей душой презирала миссис Дэллоуэй. Несерьезная. Недобрая. Вся жизнь — сплошное тщеславие и обман. И все равно Дорис Килман была не на высоте. Честно говоря, она чуть не расплакалась, когда Кларисса Дэллоуэй над ней насмеялась. «Все плоть, плоть», — бормотала она (по своей привычке — бормотать себе под нос), шла по Викториа-стрит и душила гадкое, непослушное чувство. Она возвала к Господу. Она же не виновата, что уродливая и ей не по карману красивые платья. Кларисса Дэллоуэй над ней насмеялась... но лучше сосредоточиться на другом, пока она не дойдет до той почтовой тумбы. И зато у нее есть Элизабет. Но лучше думать о другом; например, о России; до почтовой тумбы — думать о России.

Хорошо, наверное, сегодня за городом, пробормотала она, перебарывая, как учил ее мистер Уиттекер, свою ужасную обиду на мир, который над ней насмеялся, оскорбил и вытряхнул, снабдив ее внешностью, за которую никто не полюбит, — ужасная внешность. Как она ни причесывалась, лоб все равно был яйцом — голый, белый. Платья все были ей не к лицу. Ну а для женщины, ясно,

тут никакой надежды встретить кого-то. Для кого-то когда-то сделаться главной. Ей теперь часто сдавалось, что кроме Элизабет у нее единственное утешение — еда; крошечные приятности; обед; чай и еще грелка на ночь. Но надо бороться, одолевать себя; иметь веру в Господа. Мистер Уиттекер ей говорил, она не напрасно живет на свете. Но никому же неизвестны эти страдания! А он — рукой на распятыи: «Господу ведомо всё». Да, а почему ей страдать? Другие вот женщины, вроде Клариссы Дэллоуэй, ничуть не страдают. Но мистер Уиттекер сказал: через муку дается знание.

Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в темный прохладный табачный отдел офицерского, а она все еще бормотала про себя слова мистера Уиттекера о знании, дающемся через муки, о плоти. «Плоть», — бормотала она.

— Какой нужен отдел? — спросилась Элизабет.

— Нижних юбок, — отрубила она и напрямик зашагала к лифту.

Поднялись, Элизабет направляла ее; она шла в рассеянии, и Элизабет направляла ее, как большого ребенка, как громоздкий военный корабль. Юбки были темные, скромные, были полосатые, кричащие, плотные, воздушные; и она, в рассеянии, выбрала что-то несусветное, и девушка за прилавком глянула на нее как на сумасшедшую.

Элизабет удивлялась, пока перевязывали покупку, — о чем же думает мисс Килман? Надо выпить чаю, сказала мисс Килман, встряхнувшись, взяв себя в руки. И отправились пить чай.

Элизабет удивлялась — неужто мисс Килман так голодна? Уж очень странно она ела — жадно и то и дело кидала взглядом по блюду глазированных пирожных на столике рядом; а потом, когда дама с ребенком села за столик и мальчик взял пирожное — неужели же мисс Килман действительно стало досадно? Да, мисс Килман стало досадно. Ей самой хотелось этого пирожного — именно розового. Кроме еды, ей почти не дано никаких удовольствий — и последнее отнимают!

У счастливого человека имеются запасные ресурсы, она объясняла Элизабет, ее же, словно колесо с проколотой шиной (она любила такие метафоры), трясет на любом камешке — так говорила она, задержавшись после урока, стоя у камина, обняв свою сумку — «ранец» она ее называла, — по вторникам, после урока. И еще она говорила о войне. В конце концов есть люди, которые не считают, будто англичане всегда правы. Об этом есть книги. Бывают собрания. Есть иная точка зрения. Не хочет ли Элизабет пойти с ней послушать такого-то (невозможного вида старикана)? В другой раз мисс Килман водила ее в одну церковь в Кенсингтоне, и они пили чай со священником. Она носила ей книжки. Юриспруденция, медицина, политика — все поприща открыты для женщин вашего возраста, говорила мисс Килман. А у нее вот загублена вся карьера, и неужели она виновата? Господи, отвечала Элизабет, ну конечно же нет.

А мама заходила и говорила, что из Бортон прислали корзину с цветами, и, может быть, мисс Килман захочет выбрать себе цветов? Мама всегда бывала очень-очень любезна с мисс Килман, а мисс Килман всегда превращала цветы в какой-то веник, но болтать о пустяках она не хотела, что интересно ей, то скучно маме, и когда они вместе — на них невозможно смотреть, мисс Килман пыжится и делается безобразной, но она ужасно умная, мисс Килман. Элизабет никогда не думает о бедняках. У них у самих есть все что угодно — мать ее каждый день завтракает в постели; Люси ей тащит поднос; и старушки ей нравятся, только если они герцогини, происходят от лордов. А мисс Килман как-то сказала (во вторник, после урока): «У моего дедушки была москательная в Кенсингтоне». Мисс Килман не похожа ни на кого из знакомых; при ней чувствуешь себя просто ничтожеством.

Мисс Килман приступила ко второй чашке. Элизабет, со своей восточной непроницаемостью, очень прямо сидела на стуле; нет-нет, больше ей ничего не нужно. Она поискала взглядом перчат-

ки — свои белые перчатки. Оказалось, они под столом. Ах, неужели она уходит! Мисс Килман так не хотелось ее отпускать! Молодую, красивую, милую-милую девушку! Большая пятерня мисс Килман растопырилась и сжалась на столе.

Несколько вялая ладонь, показалось Элизабет. И, в общем, ей уже надо было идти.

Но мисс Килман сказала:

— Я же не кончила.

О, разумеется, в таком случае Элизабет готова была подождать, хотя здесь и душно, пожалуй.

— Вы идете сегодня на этот прием? — спросила мисс Килман. Элизабет думала пойти, мама же просила. Ей не следует увлекаться приемами, сказала мисс Килман, принимаясь за последний кусочек шоколадного эклера.

Элизабет возразила, что не так уж любит приемы. Мисс Килман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглотнула последний кусочек шоколадного эклера; потом вытерла пальцы, поболтала в чашечке чай.

Она чувствовала, что вот-вот разорвется на части. Какое мучение. Победить бы ее, подчинить и держать в узде, а там хоть умереть; ничего больше не надо; но сидеть, не находить слов, видеть, что Элизабет против нее восстает, что она и ей противна — это слишком; это непереносимо. И скрючились толстые пальцы.

— Я-то на приемах не бываю, — сказала мисс Килман, только чтоб задержать Элизабет. — Меня на приемы не зовут, — сказала она и поняла, что вся беда ее — эгоизм; мистер Уиттекер предупредил; но ничего не поделаешь; слишком ей плохо. — А зачем меня звать? — сказала она. — Я некрасивая, я несчастная. — Она поняла, что это ужасно глупо. Но все потому, что мимо шли и шли со свертками, и презирали ее, не то бы никогда она так не сказала. Все же она была не кто-нибудь, а Дорис Килман. Получила диплом. Кой-чего в жизни достигла. Ее осведомленность в новой истории по меньшей мере заслуживала уважения.

— Я себя не жалею, — сказала она. — Я жалею... — на языке вертелось «вашу матушку», но нет, не могла она такое сказать Элизабет. — Я куда больше жалею других.

Как бессловесный зверек, который по чьей-то воле очутился перед неведомыми воротами и рвется умчаться прочь, молчала Элизабет Дэллоуэй. Мисс Килман, кажется, хотела что-то еще сказать?

— Вы уж совсем-то не забывайте меня, — сказала Дорис Килман; голос дрогнул; в ужасе ускакал прочь к далекому краю поля спугнутый бессловесный зверек.

Растопырилась и сжалась на столе большая пятерня.

Элизабет повернула голову. Подходила официантка. Надо уплатить в кассу, сказала Элизабет, и ушла, и потянула за собой, чувствовала мисс Килман, все кишки ее, потянула их за собой через весь зал и, рванув в последний раз, очень вежливо на прощанье кивнула и вышла.

Она ушла. Мисс Килман сидела за мраморным столом в окружении эклеров, и ее дважды, трижды пронзила острая мука. Ушла. Миссис Дэллоуэй одержала верх. Элизабет ушла. Красота ушла. Юность ушла.

А она осталась сидеть. Потом она встала и пошла, ударяясь о столики, покачиваясь, и кто-то ее догнал, с забытым пакетом; и она заблудилась, застряла перед сундуками, приготовленными для отправки в Индию; попала в самую гущу наборов для рожениц и белья для младенцев; мимо бездны товаров, скоропортящихся и вечных, вин, колбас, шатаясь, она пробиралась, увидела себя самое, шатающуюся в сползшей набекрень шляпе, красную — во весь рост в зеркале; и выбралась наконец на улицу.

Башня Вестминстерского собора высилась перед ней — обиталище Господа. Среди грохота улицы — обиталище Господа. Со свертком в руке, она тяжело ринулась к другой святыне, к Аббатству, и там, держа перед собой пальцы крыши, села ря-

дом с другими, тоже нашедшими тут прибежище; прихожане разного пошиба, держа перед собой пальцы крыши, они были лишены социального положения, почти лишены пола; но стоило им эти пальцы отнять от лица, как тотчас же обнаруживались благоговейные, средние англичане и англичанки, причем иным не терпелось взглянуть на восковые фигуры.

Но мисс Килман не опускала рук; то она оставалась одна, то вновь ее окружали. С улицы входили на смену ушедшим, и пока шаркали вокруг могилы Неизвестного солдата, пока глазели по сторонам, она заслоняла глаза пальцами, чтоб в этой удвоенной тьме — ибо свет в Аббатстве бесплотный — вознестись над желаниями, суетой и товарами, освободиться от ненависти и от любви. Руки у нее дергались. Она будто боролась. А для других Господь был доступен, и удобна к нему тропа. Мистер Флетчер, на пенсии, из министерства финансов, миссис Горэм, вдова известного адвоката, приближались к нему запросто и, сотворив молитву, откидывались на сиденье, наслаждались музыкой (нежно звенел орган) и видели, как на краю скамьи мисс Килман молится, молится, молится, и, застряв на пороге своего дольного мира, они полагали сочувственно, что и ее душа обитает в тех же пределах; душа воздушная, эфемерная; не эта женщина, но ее душа.

Однако мистеру Флетчеру было пора. Ему пришлось побеспокоить мисс Килман, и, сам будучи одет как картинка, он несколько огорчился неряшливостью бедной особы; волосы распущены; свертки валяются на полу. Она не сразу его пропустила. Но куда он стоял и оглядывал белораморные статуи, серые оконные переплеты, все несметные сокровища (он чрезвычайно гордился Аббатством), мощь и грузность ее тела, время от времени тяжело срывающегося по скамье (до того труден был доступ к ее Господу, до того необоримы желания), впечатляли его, как впечатляли они миссис Дэллоуэй (которая весь день не могла ее выкинуть из голо-

вы), преподобного Эдварда Уиттекера и Элизабет тоже.

Элизабет ждала автобуса на Виктория-стрит. Она радовалась, что вырвалась из магазина. Домой ей идти пока не хотелось. Хорошо погулять немного на свежем воздухе. Надо сесть в автобус. И уже, пока она стояла на остановке в своем превосходно сшитом плаще, — начиналось... Уже начинали ее сравнивать с тополями, и ранней зарей, и гиацинтами, ланями, текучей струей и садовыми лилиями; а это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать что вздумается в деревенской тиши, а всем хотелось сравнивать ее с лилиями, и ее заставляли ходить на приемы и торчать в этом жутком Лондоне, когда так хорошо в деревенской тиши только с отцом и собаками.

Автобусы налетали на остановку, замирали, трогались с места, вульгарно сверкая красным и желтым лаком. В какой сесть? В общем, все равно. Лишь бы не протискиваться. Элизабет предпочитала покой. Ей именно живости не хватало, но глаза у нее были прекрасные, китайские, восточные глаза, и с такими плечами и осанкой, говорила ее мать, она всегда выглядела прелестно; а в последнее время, особенно по вечерам, когда разговор занимал ее (взволновать ее, впрочем, не удавалось), она казалась почти красавицей — величавая, тихая. Но о чем она думала? Все влюблялись в нее, она же не в шутку скучала. Из-за того что — начиналось. Мать видела — начинались комплименты. То, что ей в самом деле наплевать на поклонников — на тряпки, кстати, тоже, — даже беспокоило Клариссу, но, может, так оно лучше, может, все эти морские свинки, щенки со своей чумкой и создают ее очарование? А теперь еще дружба эта нелепая с мисс Килман. Ничего, думала Кларисса в три часа дня, читая барона Марбо, потому что сон к ней не шел, ничего, значит, есть у девочки сердце.

Вдруг Элизабет шагнула вперед и очень уверенно, прежде всех, влезла в автобус. Она села наверху. Смельчак, пират, взял с места, помчался.

Пришлось ухватиться за поручни — он был настоящим пират, лихой, удалой, частный пиратский автобус, колесящий по чужим колеям, — он несся стремглав, он опасно ловчил, того пассажира подхватит, того не приметит, то вьется угрем, то ухарем прет, и вот безоглядно, на всех парусах он летит по Уайтхоллу. Вспоминает ли Элизабет хоть на секунду о бедняжке мисс Килман, которая ее любит без ревности, для которой она словно лань на лугу, луна в облаках? Элизабет наслаждалась свободой. Восхитительным свежим воздухом. В магазине была невозможная духота. И было почти как скакать верхом — вот так лететь по Уайтхоллу. И каждому повороту автобуса стройное тело в светлом плаще вторило вольно, как наездница, как резная nereida на форштевне, потому что ее слегка растрепал ветерок; жара придала щекам бледность белого крашеного дерева; а прекрасные глаза, не встречая другого взгляда, смотрели перед собой — яркие, невидящие, с застывшей, непостижимой непорочностью статуи.

Не тверди мисс Килман вечно о собственных муках, с ней было бы легче. И разве вообще все это правильно?

Если оттого, что ежедневно торчишь в комитетах с утра до вечера (она его, когда в Лондоне, почти и не видит), облегчается жизнь бедняков, так уж кто-кто, а папа... но все это так сложно. О, ей хотелось бы проехать чуть подальше. До конца Стрэнда. Еще пенни? Вот, пожалуйста, пенни. До конца Стрэнда.

Она любит больных. Все поприща открыты для женщин вашего поколения, сказала мисс Килман. Можно стать врачом. Или владелицей фермы. Животные вечно болеют. Можно иметь тысячу акров, иметь в подчинении людей. Навещать их в бараках. Вот Сомерсет-Хаус. Можно стать превосходной хозяйкой фермы — и, странно, хоть и связанная отчасти с мисс Килман, в основном эта мысль ей пришла из-за Сомерсет-Хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось

думать, что люди тут работают. Нравились церкви, будто вырезанные из серой бумаги и выдерживающие напор Стрэнда. Совсем не то что Вестминстер, думала она, выходя на Чансери-лейн. Все тут такое серьезное; деловое. Короче говоря, ей надо иметь профессию. Стать врачом, разводить животных, пройти в парламент, если понадобится, — и все было решено из-за Стрэнда.

Ноги прохожих быстро-быстро их несли по делам, руки клали камень на камень, головы заняты были не чушью (очень мило, конечно, сравнивать женщину с тополем, но только слишком уж глупо), а мыслями о кораблях, капиталах, законе, управлении, и все тут глядело так важно (рядом Темпл), так радостно (река!), богоугодно (церковь рядом), что она решила твердо — пусть мама как хочет — стать врачом или разводить животных. Только бы побороть свою лень.

Но об этом лучше молчать. Это, наверное, глупо. Просто такое находит, когда человек один; и дома, которые неизвестно даже какой архитектор построил, толпы из Сити — гораздо сильнее того священника в Кенсингтоне, сильнее всех книжек, которые носит мисс Килман, будоражат душу и вдруг поднимают к поверхности то, что там сонно лежало на илистом дне, будто вдруг потянулся спросонья ребенок в постельке; да, именно такое — вздох, потягивание, толчок, открытие — остается в душе навсегда. Но вот все сразу оседает на дно.

Пора домой. Переодеваться к ужину. Сколько сейчас? Где часы?

Она посмотрела вдоль Флит-стрит. Немножко прошла к собору Святого Павла; она шла с опаской, будто забралась среди ночи в чужое жилье и пробирается на цыпочках, со свечой и дрожит, что вот-вот хозяин громыхнет дверью спальни и огреет вопросом, чего ей тут надо; она не давала себя сманить странным закоулочкам, зазывным поворотам, как не стала бы толкать чужой двери, чтоб не вломиться ненароком в спальню, гостиную или, того гляди, в кладовую. Дэллоуэй на Стрэнде —

залетная птица. Она была лазутчица, отбившаяся от своих, и шла на авось, наобум.

Мама считает, что она ужасно незрелая, просто дитя, обожающее кукол и старые шлепанцы; совершенный младенец; и это прелестно. Но ведь у Дэллоуэв в роду развита общественная жизнь. Аббатисы, школьные директрисы — по женскому счету сановницы, — хоть ни одна не блистала, но все же. Она еще чуть-чуть прошла в сторону Святого Павла. Ей нравился здешний шум — родственный, сестринский, братский. Добрый шум. Грохот невысказанный; вдруг еще трубы вступили (это безработные), вонзились, врезались в грохот; военная музыка; будто тут маршируют; но если б тут умирали, если б какая-то женщина сейчас испустила последний вздох, а единственный свидетель самого ответственного ее дела отворил бы окно на Флит-стрит, эта военная музыка, этот грохот полетел бы к нему снизу — безразличный, победный, утешный.

Он шел мимо сознания. Мимо счастья и горя. И потому как раз и мог утешить даже того, кто слепнувшим взглядом проводил последнюю судорогу сознания на уже мертвом лице.

Как бы ни задевала человеческая забывчивость, как бы ни ранила неблагодарность, этот голос тек год за годом и вбирал в себя все: этот обед; этот фургон; жизнь; это шествие; все он подхватывает и несет, как плывущий ледник подхватывает кость, и голубой лепесток, и дубы — подхватывает и несет.

Но уже очень поздно, оказывается. Что бы мама сказала, если б увидела, куда она забрела, и одна? Она повернула обратно.

Ветер взвился (несмотря на жару, было ветрено) и тонкой черной вуалью завесил солнце и Стрэнд. Вылиняли лица; автобусы вдруг перестали сверкать. Облака, хотя их горную белизну хотелось рубить косарем и, спускаясь золотыми пологими скатами к синим небесным газонам, они казались удобной и прочной резиденцией богов в вышине, — тем не менее не уставали перемещаться. Будто по

сигналу и следуя заранее продуманной схеме, то вдруг обваливалась какая-нибудь вершина, то целое скопище, величиной с пирамиду, прежде незыблемое, оседало и рушилось в новую гавань. Но даже когда они застывали, прочно прибившись к своим местам, в единодушном покое, ничто не могло быть свободней, свежее, подвижней их подпаленной золотом белизны; они были вечно готовы меняться, стремиться, струиться, и, сосредоточившись в неподвижности, не расходуя скопленной мощи, они то свет насылали на землю, то тень.

Спокойно, уверенно Элизабет Дэллоуэй вошла в автобус, который ехал в Вестминстер.

Являлись, скрывались, подмигивали, посылали сигналы свет и тень, они стену делали серой, бананы — ярко-желтыми, Стрэнд делали серым, автобусы — ярко-желтыми в глазах Септимуса Уоррен-Смита, покуда он лежал на диване и смотрел, как жидкое золото то вспыхнет, то сгаснет с поразительным проворством живого создания — на розах, обоях. За окном деревья гребли по глубине воздуха сетью листвы; шум воды стоял в комнате, и птичий гомон захлебывался в волнах. Множество щедрот изливалось ему на голову, а рука лежала на спинке дивана, как лежала его рука на гребне волны прежде, когда он купался и слышал, что где-то вдали на берегу собаки лают где-то вдали и лают. Не страшись, твердит тогда сердце, не страшись.

Он и не боялся. Каждый миг Природа веселым намеком, вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям — вот, вот оно, вот, — показывала ему, что скоро, мол, скоро, в качанье плюмажа, в потоке волос и в складках плаща, прекрасная, вечно прекрасная, стоя к нему вплотную, она выдохнет через рупором сложенные ладони Шекспировы речи, раскроет свой замысел.

Реция сидела за столом, вертела в руках шляпку и смотрела на него; смотрела, как он улыбается.

Значит, ему хорошо. Она видеть не могла эту его улыбку. Разве так живут женатые пары? Что за муж — вечно дергается, смеется, часами молчит, а то вдруг ни с того ни с сего велит писать под диктовку. В ящике стола было полно этой писанины; про войну; про Шекспира; насчет великих открытий; что смерти нет. В последнее время он вдруг стал возбуждаться ужасно (а доктор Доум и сэр Уильям Брэдшоу в один голос твердили — для него хуже нет возбуждения), стал махать руками и кричать, будто он знает истину! Все знает! И якобы его друг, этот Эванс, которого убили, к нему приходил. И якобы пел за ширмой. Она все дословно записывала. Кое-что было очень красиво; кое-что — полный бред. И вечно он остановится на полуслове, передумает; что-то хочет добавить; что-то новое слышит; поднимает руку и слушает. Но она ничего никогда не слышала.

А как-то они вошли, а девушка, которую они наняли убирать комнату, читала его бумажки и хохотала. Получилось ужасно. Септимус стал орать про человеческую жестокость, что люди мучат друг друга, раздирают на части, павших, кричал, раздирают на части. И еще он сто раз говорил: «Доум нас одолел». Насочинял разных историй про Доума; как Доум ест овсяную кашу; как Доум читает Шекспира — а сам хохочет или рычит от бешенства; этот Доум для него просто жуткое что-то. Он его прозвал «человеческая природа». И еще у него видения. Будто он утонул, и лежит на скале, и чайки рыдают над ним. И заглядывает под диван — в море. Много раз он музыку слышал. Это просто шарманка была, или кто-то кричал на улице. А он: «Как хорошо!» — и у него из глаз слезы, а для нее это было самое-самое страшное, чтоб такой человек, как Септимус, ведь он воевал, отличился — чтоб такой человек плакал... И еще иногда он лежит, и вслушивается, и вдруг начинает кричать, что он падает, падает в огонь! Она даже проверяла, нет ли огня, так он кричал. Но никакого огня. Ничего. И она объясняла ему, что это ему приснилось, и он под конец успокаивался. Но

ей и самой иногда даже делалось страшно. Она сидела и вздыхала над шитьем.

Она вздыхала прелестно и нежно, как ветер за лесом по вечерам. Вот она положила ножницы. Вот повернулась за чем-то. Из шороха, скрипа, легкого стука что-то строилось на столе, за которым она сидела и шила. Он сквозь ресницы видел ее размытый очерк; черную маленькую фигурку, лицо и руки; видел, как она поворачивается, берет катушку или ищет (вечно она все теряет) моточек шелка. Она мастерила шляпку для замужней дочери миссис Филмер, по фамилии... фамилию он забыл.

— Как фамилия замужней дочери миссис Филмер? — спросил он.

— Миссис Питерс, — сказала Реция. Она сказала, что шляпка, пожалуй, маловата. Миссис Питерс такая крупная, но она ей не нравится. Просто миссис Филмер к ним очень добра — «Сегодня виноград принесла», — и Реции захотелось что-то сделать для нее в знак благодарности. На днях она зашла в комнату, а миссис Питерс — она думала, их дома нет — сидит и слушает граммофон.

— Да что ты? — спросил он. — Граммофон слушала? — Ну, конечно; она ведь тогда же ему сказала; она входит, а миссис Питерс слушает граммофон.

Очень осторожно он стал открывать глаза, чтоб проверить, есть ли тут граммофон. Но настоящие вещи — настоящие вещи так возбуждают. Надо поосторожней. Чтоб не спятить. Сначала он оглядел модные журналы на нижней полке, потом, постепенно, перевел глаза на граммофон с зеленой трубой. Все было очень отчетливо. Потом, набравшись храбрости, он посмотрел на буфет; тарелка с бананами; гравюрка: королева Виктория с принцем Альбертом; на каминной полке вазочка с розами. Ни одна вещь не шевелилась. Все были неподвижны; все настоящие.

— Она женщина со злым языком, — сказала Реция.

— А чем занимается мистер Питерс? — спросил Септимус.

— Ах... — Реция старалась припомнить. Кажется, миссис Филмер говорила, он коммивояжер в какой-то компании.

— Вот сейчас, например, он в Гулле.

— Вот сейчас! — Она это сказала со своим итальянским акцентом. Она сама это заметила. Он прикрыл глаза рукой, так, чтобы видеть сразу только кусочек ее лица, сперва подбородок, потом нос, потом лоб — вдруг лицо изуродовано, вдруг на нем какая-то страшная метка? Но нет, вот она, сидит, как всегда, и шьет, собрав губы с тем напряженным, с тем печальным выражением, какое всегда бывает у женщины, когда она шьет. Ничего страшного, уверял он себя, глядя во второй раз и в третий на ее лицо, руки. В самом деле, что может быть страшного или отталкивающего в ней, когда в ярком свете дня она сидит и шьет? У миссис Питерс злой язык. Мистер Питерс в Гулле. И зачем тут неистовство и пророчество? Зачем после бичевания надо спасаться бегством? Зачем плакать, глядя на облака? И зачем жаждать правды и возвещать ее миру, когда Реция втыкает булавки в платье, а мистер Питерс находится в Гулле? Чудеса, откровения, муки, одиночество и провал сквозь морскую пучину — вниз-вниз-вниз — в бездны огня — все сгорело дотла, потому что, пока он глядел, как Реция мастерит соломенную шляпку для миссис Питерс, ему вдруг показалось, что он лежит под пологом цветов.

— Она чересчур маленькая для миссис Питерс, — сказал Септимус.

Впервые за столько дней он заговорил по-человечески! Ну да, конечно, шляпка ей мала, просто смешно, сказала она. Но миссис Питерс хотела такую.

Он взял шляпку у нее из рук. Сказал: «Как на обезьянку шарманщика».

До чего же она обрадовалась! Давным-давно они так не хохотали вдвоем над тем, что только им,

мужу с женой, понятно! То есть, если б зашла, скажем, миссис Питерс или еще кто-нибудь, им бы и невдомек, над чем они с Септимусом хохочут.

— Вот! — сказала она и сбоку приколола розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива! В жизни!

Но Септимус сказал — получилось еще смешней. Теперь бедняжка — точь-в-точь свинья на ярмарке. (Никто, кроме Септимуса, не мог ее так расшевелить.)

Что у нее там в шкатулке? У нее ленты, бисер, кисточки, искусственные розы. Она все вывалила на пол. Он стал подбирать цвета, потому что руки-то у него были грабли, он даже сверток упаковать не умел, но зато у него был удивительный глаз, и часто он ей очень верно советовал, иногда, конечно, предлагал совершенную чушь, но иногда удивительно верно советовал.

— Будет ей красивая шляпка! — приговаривал он про себя, а Реция на коленях стояла рядом и заглядывала ему через плечо. Ну вот, готово — то есть наметка; осталось сшить. Только надо очень-очень внимательно шить, сказал он, чтобы все осталось, как он наметил.

И она стала шить. Когда она шьет, думал он, она как чайник на огне — пыхтит, бормочет, вся в работе, и хватают и ходят сильные, заостренные пальчики; блестит, мелькает игла. Пусть солнце тускнеет и вновь проступает на кисточках, на обоях — он подождет, думал он, полежит на диване, поглядывая на свой перекрученный носок; он подождет, отлежится в тепле, в мешках тишины, на какой набредаешь порою, выйдя к вечерней опушке, где, то ли из-за понижения почвы, то ли от расположения деревьев (надо рассуждать научно, прежде всего научно) плавают задержавшееся тепло и воздух ударяет тебя по щекам, словно птичье крыло на лету.

— Ну вот, — сказала Реция, вертя шляпку миссис Питерс, — пока все. А потом уж... — и фраза по-

текла дальше — кап-кап-кап — как веселый кран, который забыли закрыть.

Роскошь, прелесть. Никогда еще он так не гордился своей работой. Настоящая, осязаемая, ошутимая — шляпка миссис Питерс.

— Ты только посмотри, — говорил он.

Да, она всегда будет счастлива, глядя на эту шляпку. Он стал прежний, он хохотал. Они были вместе, наедине. Она будет всегда любить эту шляпку.

Он сказал, чтоб она примерила шляпку.

— Ой, но я же в ней буду чудная! — вскрикнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны, с другой. А потом сдернула шляпку, потому что в дверь постучали. Неужели сэр Уильям Брэдшоу? Уже прислал?

Нет! Оказалось, просто девчушка с вечерней газетой.

И было все как всегда — как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец; Реция стала на четвереньки; Реция ворковала и чмокала; Реция вынула из ящика стола кулек конфет. Так бывало всегда. Все по порядку. Так она устраивала — все своим чередом. Они танцевали, они скакали по комнате. Он взял газету. «Суррей проиграл, — читал он. — Жара усиливается». Реция повторяла: «Суррей проиграл, жара усиливается», и это тоже входило в игру с внучкой миссис Филмер, и обе хохотали, и перебивали друг дружку, и шла игра своим чередом. Он очень устал. Ему было очень хорошо. Хотелось спать. Он закрыл глаза. Но как только он перестал видеть, шум игры стих, сделался странным, и уже было так, будто толпа кричит, что-то ищет и не находит, кричит и бежит мимо. Его потеряли!

Он в ужасе дернулся. Что это? На буфете тарелка с бананами. Никого. (Реция повела девочку к матери: ей пора было спать.) Вот оно: быть навек одному. Приговор, оглашенный еще в Милане, когда он вошел в комнату и увидел, что они кроют коленкор; быть навек одному.

Один — с буфетом, с бананами. Один — распротертый, поверженный, на этой холодной высоте — но не на холме; не на утесе; на диване миссис Филмер. Ну а видения, лица, голоса мертвых — где они? Перед ним была ширма с черными бамбуками и синими ласточками. Там, где он видел горы, видел лица, видел красоту — там была ширма.

— Эванс! — крикнул он. Никто не отозвался. Пискнула мышь, не то штора прошелестела. Вот и голоса мертвых. Ему остались — ширма, ведро с углем, буфет... но тут Реция влетела в комнату, она быстро-быстро говорила.

Пришло какое-то письмо. У всех меняются планы. Теперь миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Миссис Уильямс уже не удастся предупредить, и Реция находила, что, правда, это ужасно, ужасно досадно, но взгляд ее упал на шляпку, и она подумала... может быть... надо... чуть-чуть... и голос мелодически расплескался.

— Черт побери! — крикнула она (ее ругательства тоже были одной из любимых их шуток); сломалась иголка. Шляпка, девчушка, Брайтон, иголка. Своим чередом; все своим чередом. Она шила.

Ей хотелось, чтоб он сказал, лучше стала шляпка или нет от того, что она чуть переместила розу. Она сидела на диване, у него в ногах.

Вот теперь они совсем счастливы, вдруг сказала она и шляпку отложила, потому что теперь она все-все могла ему сказать. Она могла ему сказать все, что придет на ум. Это было чуть не первое, что она поняла про него в тот вечер, в том кафе, куда он вошел со своими приятелями, англичанами. Он вошел, как-то робко огляделся, и фуражка упала у него, когда он ее вешал. Ей это запомнилось. Она знала, что он англичанин, хоть и не похож на тех крупных англичан, которых обожала сестра; он всегда был худенький; но у него был красивый, свежий цвет лица; и своим большим носом, своими блестящими глазами и тем, как он сел — немного сгорбясь, — он напоминал ей, она часто ему говорила, молодого ястреба, в тот пер-

вый вечер, когда она его увидела, когда они играли в домино, а он вошел — он напомнил ей молодого ястреба; но к ней он всегда был добр. Она ни разу не видела его злым или пьяным, просто он страдал иногда из-за этой ужасной войны, но и то, как только она входила, он брал себя в руки. Все, абсолютно все, любое затруднение в работе, все, что придет на ум, она тут же могла ему выложить, и он сразу ее понимал. Даже дома не так ее понимали. А он ведь старше ее и такой умный, такой серьезный: хотел, чтобы она читала Шекспира, когда она еще и детскую сказочку по-английски не могла одолеть! — он был умный, ученый, он мог ей помочь. И она могла ему помочь.

Но пока эта шляпка! А потом (ведь поздно уже) сэр Уильям Брэдшоу.

Она приложила руки к вискам и ждала, когда он скажет, нравится ему шляпка или не нравится, она сидела, ждала, опустив веки, и он понимал ее душу, она была как птичка, которая прыгает с ветки на ветку и всегда очень точно садится; он следил за ее порханием; а она сидела в вольной, небрежной позе, своей излюбленной позе, и, стоило ему что-то сказать, она сразу же улыбалась, — так птичка садится на ветку, сразу, всеми коготками вцепляясь в сучок.

Но вдруг он вспомнил. Брэдшоу сказал: «Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны». Брэдшоу сказал: его надо научить отдыхать. Брэдшоу сказал: им надо расстаться.

«Надо, надо» — почему «надо»? Разве Брэдшоу хозяин ему?

— Какое право имеет Брэдшоу говорить мне — «надо»? — спрашивал он.

— Это потому, что ты грозился покончить с собой, — сказала Реция. (Слава Богу, теперь она все могла сказать Септимусу.)

Значит, он в их власти! Доум и Брэдшоу его одолели! Чудовище с красными ноздрями пронюхало все! И говорит «надо»! Где бумажки? То, что он набрасывал?

Она принесла бумажки, то, что он набрасывал, то, что она за ним записывала. Высыпала все на диван. Они вместе стали их разглядывать. Чертежи, рисунки, крошечные мужчины и женщины, размахивающие палочками, как оружием, с крыльями — ведь это же крылья? — за спиной; круги, обведенные вокруг шиллингов и шестипенсовиков — солнце и звезды; зигзаги пропастей с покорителями высот на них, связанными вместе — в точности как ножи и вилки; море, и на нем лица, хохочущие — по-видимому, среди волн; карта мира. «Сожги!» — кричал он. А теперь — его записи; как мертвые поют за рододендронами; оды к Времени; беседы с Шекспиром; Эванс, Эванс, Эванс — его послания из страны мертвых; нельзя рубить деревья; сказать премьер-министру. Всеобъемлющая любовь — смысл мира. «Сожги!» — кричал он.

Но Реция их накрывала ладошками. Кое-что так красиво, она считала. Она хотела их перевязать (конверта у нее не было) шелковой ленточкой.

Если даже его увезут, она говорила, она поедет с ним. Их не могут разлучить против воли, она говорила.

Она сровняла уголки, собрала бумажки в ровную стопку и, почти не глядя, их перевязывала, она сидела с ним рядом, тут же, сидела, думалось ему, будто сложив лепестки. Она — дерево в цвету; а сквозь ветви глядело лицо законницы, достигшей святилища, где никто ей не страшен — ни Доум, ни Брэдшоу; чудо, победа — великая и окончательная. Он видел, как, спотыкаясь, она подымается по страшной лестнице, осевшей под тяжестью Доума и Брэдшоу, которые никогда не весят меньше семидесяти килограммов, посылают жен в суд, зарабатывают десять тысяч в год и говорят о пропорциях; которые путают видения с буфетом; ничего толком не видят и, однако же, правят, однако же, мучат. И вот их-то она победила.

— Ну все! — сказала она. Она перевязала бумажки. Теперь их никто не найдет. Она их спрячет.

И ничто, она говорила, не может их разлучить. Она сидела рядом и называла его так, как называется ястреб, не то ворон, который, хоть и злой и губитель полей, все равно вылитый он. Никто их не разлучит, она говорила.

Потом она встала, чтоб идти в спальню, складывать вещи, но услышала внизу голоса, подумала, что, наверное, пришел доктор Доум, и побежала вниз, чтоб его не впускать.

Септимус слышал – она говорила с Доумом на лестнице.

– Почтеннейшая, я пришел к вам по-дружески, – говорил Доум.

– Нет. Я вас не пушу к моему мужу, – сказала она.

Он так и видел – распростершей крылья наседкой она заграждала вход. Но Доум настаивал.

– Пустите же меня, почтеннейшая... – сказал Доум и оттеснил ее (Доум был крепкого телосложения мужчина).

Доум поднимался по лестнице. Сейчас ворвется. Скажет: «Ну-с, хандрим, а?» Доум его одолеет. Нет же! Только не Доум. Не Брэдшоу. Он встал, качнулся, неловко подпрыгнул на одной ноге, потом на другой; на ручке чистого красивого хлебного ножа миссис Филмер было вырезано «хлеб». Не хочется его портить. Открыть газ? Поздно, сейчас войдет Доум. Можно бритвы, но Реция их убрала, всегда убирает. Остается только окно, большое окно мебелирашек в Блумсбери; скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие – открывать окно и выбрасываться. Это в их духе трагедия, не по душе ему или Реции (Реция всегда с ним). Доум и Брэдшоу любят такое. (Он сел на подоконник). Он подождет до самой последней секунды. Ему не хочется умирать. Жизнь хороша. Солнце светит. Но люди... Старик спустился по лестнице в доме напротив и снизу уставился на него. Доум у двери. «Вот тебе!» – крикнул он и рванулся, ринулся вниз, на оградку подвала миссис Филмер.

— Трус! — крикнул доктор Доум, врываясь. Реция подбежала к окну; она увидела; она поняла. Доктор Доум и миссис Филмер столкнулись лбами. Миссис Филмер трясла фартуком и заталкивала ее в спальню. Бегали, бегали по лестнице вверх-вниз. Доктор Доум вошел белый как полотно, он весь дрожал и протягивал ей стакан. Надо быть умницей и выпить вот это, он говорил (Что тут? Сладкое что-то), потому что муж ее страшно изувечен, не придет в сознание, ей не надо на него смотреть, надо пощадить себя, ей предстоит еще давать показания, бедняжке. Кто бы мог подумать? Дело секунды, нашло, и никто совершенно не виноват (объяснял он миссис Филмер). И какого черта ему это понадобилось, доктор Доум решительно не постигал.

Ей казалось, пока она пила это сладкое из стакана, что она открывает стеклянную дверь и выходит в сад. Только где? Часы пробили — раз, два, три; какой разумный звук, не то что вся эта толчея и шушуканье. Как сам Септимус. Она почти совсем заснула. А часы били еще четыре, пять, шесть, и миссис Филмер махала фартуком (а они не внесут сюда тело?) и казалась частью сада или флагом. Когда-то, она видела, флаг тихо струился с мачты, — давно когда-то, еще в Венеции, куда она ездила с тетей. Такие почести отдают павшим воинам, а Септимус был на войне. Воспоминания у нее почти все были счастливые.

Вот она надела шляпку и бежит полями, — только где это? — она бежит к какой-то горе, где-то у моря, потому что тут корабли и бабочки, чайки; и они сидели на скале. Они и в Лондоне так сидели, и, сквозь сон, в дверь спальни входили — шумок дождя, шепот, шуршание сухих колосьев и ласка моря, оно, ей казалось, в гулкой раковине несло их обоих, и что-то ей бормотало, и выплескивало ее на берег, и разбрасывало, рассыпало, как шелестящие на могиле цветы.

— Он умер, — сказала она и улыбнулась бедной старушке, которая ее стерегла, устремив честный,

голубой взгляд на дверь. (А они его сюда не внесут?) Но миссис Филмер только головой качала. Нет, нет и нет! Его увозят. Почему бы ей не сказать? Муж с женою должны до конца быть вместе — так считала миссис Филмер. Но надо слушаться доктора.

— Пусть она поспит, — говорил доктор Доум, щупая у нее пульс. Она видела крупный очерк тела, темный против окна. Так это — доктор Доум.

Тоже достижение цивилизации, думал Питер Уолш. Достижение цивилизации, думал он, когда над уличным шумом взвился тоненький, острый гудочек. Четко, быстро карета «скорой помощи» неслась в больницу, человечно, мгновенно подхватив какого-то бедолагу всего минуту назад где-то рядом на перекрестке — кто-то упал без сознания, попал под машину, кому-то кирпич свалился на голову — вот так: идешь и не знаешь... Цивилизация. Когда приедешь с Востока, в Лондоне поражает прежде всего деловитость, собранность, дух солидарности. Все машины, все грузовики с готовностью, тотчас пропускали «скорую помощь». Мрачновато, пожалуй. А может быть, трогательно — какое почтение к этой карете и к бедной жертве. Деловой человек поспешает домой, но тотчас со страхом вспоминает о собственной жене или о том, как легко бы он сам мог очутиться сейчас на клеенке в карете рядом с врачом и сестрой... Но как раздумаешься о врачах да о трупах, сразу делаешься мрачным, сентиментальным; слава Богу, радость, даже вождеделение какое-то, вызываемое тем, что ловят вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей — гибельных для искусства, для дружбы. Безусловно. И вообще, думал Питер Уолш, когда карета свернула, и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом еще, пока она пересекала Тотнем-Корт-роуд, надсадно звеня, — в том-то и преимущество одиночества; наедине с собой можно делать что хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто. Эта его впечатлительность была для него сущим бед-

ствием в Индии, в английском кругу. Вечно он плакал некстати или некстати смеялся. Что-то такое во мне, ничего не поделаешь, думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившийся от слез. Из-за чего, спрашивается, плакать? Бог его знает. Наверное, глаза увидели какую-то красоту, или просто сказался груз этого дня, который с утра, с визита Клариссе, томил жарой, яркостью и кап-кап-капаньем впечатлений, одного за другим в погреб, где они останутся все в темноте, в глубине — и никто не знает. Наверное, из-за этого, из-за этой тайности, полной и нерушимой, жизнь — как сад, где, петляя, заглушенные тропы бегут к неведомым уголкам, — вечно ошеломляет его; да, именно ошеломляет; от таких вот мгновений захватывает дух; как сейчас, возле почтовой тумбы напротив Британского музея — когда вдруг раскрывается связь вещей; карета «скорой помощи»; жизнь и смерть; бурей чувств его вдруг будто подхватило и унесло на высоченную крышу, и внизу остался только голый, белый, ракушками усыпанный пляж. Да, она была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу — эта его впечатлительность.

Как-то Кларисса, когда они ехали вместе в автобусе, наверху, — Кларисса, у которой в те времена стремительно менялось настроение — то она в отчаянии, то сияет, и вечно как натянутая струна, — и всегда с ней бывало так интересно, она примечала забавные сценки, людей или вывески из автобуса, когда они колесили по Лондону и набирали, бывало, полные сумки сокровищ на Каледонском базаре, — Кларисса как-то сочинила целую теорию — у них вообще хватало теорий, бездна разных теорий, как обычно у молодых. Ей хотелось объяснить это чувство досады: ты никого не знаешь достаточно; тебя недостаточно знают. Да и как узнаешь другого? То встречаешь человека изо дня в день, то с ним полгода не видишься или годами. Удивительно — он соглашался с Клариссой, — как недостаточно мы знаем людей. И вот,

на Шафтсбери-авеню, в автобусе она сказала: она чувствует, что она — всюду, сразу везде. Не тут-тут-тут (она ткнула кулачком в спинку автобусного кресла), а всюду. Она помахала рукой вдоль Шафтсбери-авеню. Она — в этом во всем. И чтобы узнать ее или там кого-то еще, надо свести знакомство кой с какими людьми, которые ее дополняют; и даже узнать кой-какие места. Она в странном родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилась словом, то вдруг с женщиной просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И вылилось это в трансцендентальную теорию, которая, при Клариссином страхе смерти, позволяла ей верить — или она только говорила, будто верит (при ее-то скептицизме), что раз очевидное, видимое в нас до того зыбко в сравнении с невидимым, которое со стольким со всем еще связано — невидимое это и осязается, возможно, в другом человеке каком-нибудь, в месте каком-нибудь, доме каком-нибудь, когда мы умрем. Быть может — быть может.

Если оглянуться хотя бы на их долгую, почти тридцатилетнюю дружбу, ее теория кажется очень правдоподобной. Уж как коротки, отрывочны, часто мучительны их свидания — из-за его долгих отлучек, из-за помех (скажем, сегодня — вошла эта Элизабет, длинноногая — жеребеночек — красивая, бессловесная, — только-только он разговаривал с Клариссой), а вот ведь их роль в его жизни безмерна. Просто загадка какая-то. Тебе дается маленькое, острое, колкое зернышко — свидание; частенько саднящее; и потом, далеко, в самых неподходящих местах, это зернышко вдруг и взойдет, обдаст ароматом и тронет, раскроется зрению, осязанию, вкусу, и чувству, и мысли — пролежав много лет неведомо где. Кларисса настигала его — на палубе, в Гималаях; совершенно необъяснимо, ни с того ни с сего с того момента (могла же Салли Сетон — добросердечная, пылкая дурища! — вдруг вспомнить — его! — при взгляде на голубую гортензию). Она больше всех на него повлияла. И

вечно она настигала его — хочешь не хочешь — холодная, надменная, придирчивая; а то восхитительная, милая, как пастбище какое-то в Англии или жнивье. Чаще он ее видел не в Лондоне, а в деревенской тиши. Сцена за сценой в Бортоне...

Вот и гостиница. Он пересек холл, где выселились красные кресла рядом с диванами и чахли в кадках остролистые пальмы. Барышня за конторкой подала ему ключ. И несколько писем. Он пошел вверх по лестнице — чаще всего она видится ему в Бортоне, поздним летом, он гостил у них по неделе, а бывало, и по две, как в те поры водилось. То она стоит на горе, придерживает руками волосы, развеивается ее плащ, и она им кричит, чтоб поглядели на Северн. Или в лесу, она кипятит чай, — пальцы не слушаются, дым выделяет книксены, веет им в лица, и за ним сквозит маленькое, розовое лицо; а как-то она попросила напиться у какой-то старушки; потом та вышла на крыльцо и глядела им вслед. Они всегда ходили пешком; остальные ездили; она терпеть не могла ездить, она не любила животных, кроме того своего пса. Они истоптали с нею долгие мили дорог. Она, бывало, вдруг остановится, чтоб разобраться в округе, и тащит его в противоположную сторону, и все время, все время они спорили; толковали о поэзии, о знакомых, о политике (у нее тогда были радикальные взгляды); и ничего-то не замечали кругом, разве что она вдруг замрет, вскрикнет при виде какого-нибудь дерева или полянки и потребует, чтоб он тоже непременно взглянул; и дальше — опять, опять по колючей стерне, она — впереди, с каким-то цветочком для тетки, и при всей своей хрупкости неутомима; в Бортон являлись уже в сумерках. После ужина старый Брайткопф раскрывал фортепьяно и пел совершенно без голоса, а они, рухнув в кресла, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того ни с сего. Брайткопф, предполагалось, не слышал. А наутро она уже снова порхала перед домом, как трясогузочка...

Э, да тут от нее письмо! Синий конверт; ее рука. И нельзя его не прочесть. Снова встреча, сулящая муку! Прочесть ее письмо стоит бездны усилий.

«Как божественно, что она его повидала. Она должна ему это сказать». И все.

А он расстроился. Разозлился. И зачем она ему написала? После всех его рассуждений — словно удар под вздох. Почему она, наконец, не оставит его в покое? Вышла же за своего Дэллоуэя и столько лет прелестно с ним прожила.

В этих гостиницах не очень-то отведешь душу. Наоборот. Кто только не нацеплял свою шляпу на этот крюк. Даже мухи, если подумать, перепробовали тысячу разных носов перед тем, как примоститься на твоём. Ну а сразу бьющая в глаза чистота — и не чистота, собственно, — так, оголенность и холод. Нечто, предписываемое порядком. Кислая матрона ни свет ни заря тут сопела, гоняла девушек с голубыми носами, заставляла драить, скрести что есть мочи, будто новый постоялец — баранья нога, которую надлежит поднести на безупречно вымытом блюде. Для сна — будьте любезны — кровать: сидеть — пожалуйста — кресло; чистить зубы, брить подбородок — вот вам стаканчик, вот зеркало. Книги, письма, халат раскинулись на безличности дивана с вопиющим нахальством. Это Клариссино письмо раскрыло ему на все глаза. «Божественно, что тебя повидала. Она ему должна сообщить!» Он сложил листок; сунул куда-то; ни за что он не станет его перечитывать!

Письмо, чтоб оно попало к нему в шесть часов, она написала, едва он вышел из комнаты; запечатала; наклеила марку; кого-то посылала на почту. Очень, как говорится, похоже на нее. Она расстроилась из-за его визита; нахлынули разные чувства; пока целовала у него руку, на минуту обо всем пожалела, даже ему позавидовала, вспомнила, может быть (он по лицу ее видел), какие-то давнишние его слова — как они преобразуют мир, если она согласится за него выйти; и вот — на деле: до

таких лет дожили; и — никаких свершений; потом, со своей этой неукротимой энергией, она заставила себя все отместить; ведь подобной твердости, выдержки, силы в преодолении препятствий он больше ни в ком не встречал. Да. Но сразу же, едва за ним захлопнулась дверь, все переменялось. Ей стало его мучительно жаль; она начала гадать, чем бы только доставить ему радость (ей единственное верное всегда невдомек), и он увидел вочию: слезы бегут у нее по щекам, она бросается к бюро и набрасывает единственную строчку, которая должна его встретить при возвращении... «Божественно, что тебя повидала!» И она ведь это искренне.

Вот Питер Уолш расшнуровал ботинки.

Но ничего бы не вышло хорошего, если б они поженились. Другое в конце концов получилось куда натуральной.

Это странно; но это правда; это бездна народу чувствовала. Питер Уолш, который только-только сносно устроился, исправно служил на ничем не примечательной службе, нравился людям, хотя и слыл чудачком и заносился слегка, — странно, что он сейчас именно, когда волосы поседели, приобрел удовлетворенный вид; будто все ему нипочем. Это и привлекало женщин; им было лестно именно в нем прозревать недостаток мужественности. Некую закавыку. Возможно, весь секрет его в том, что он такая книжная душа — не может, заглянув к вам на минутку, не поддеть книжку на столе (он и сейчас читал, пустив по полу шнурки), или в том, что он джентльмен, это видно по тому, как он выбивает трубку, и, конечно, по его обращению с женщинами. Ей-богу, прелестно и немножко смешно — до чего иная девица без капли соображения умеет его обвести вокруг пальца. Но себе же на голову. То есть хоть он и покладист и, благодаря веселости нрава и приличному воспитанию, приятен в обхождении, но — до известных границ. Она что-то скажет, и — нет, нет; он ее видит насквозь. Это невыносимо — нет, нет. А

потом он может кричать, и держаться за бока, и хохотать в мужской компании. Он был самый тонкий ценитель хорошей кухни на всю Индию. Он мужчина. Но не из тех, кто вызывает почтение — и слава тебе, Господи; не то что майор Симонс, к примеру; никоим образом, считала Дейзи, которая, несмотря на своих двоих детей, вечно их сравнивала.

Он стянул ботинки. Вывернул карманы. Вслед за перочинным ножиком выпорхнула фотография Дейзи на веранде; Дейзи, вся в белом, с фокстерьером на коленях; прелестная, смуглая — лучший ее снимок. Все в конце концов получилось так натурально; натуральней гораздо, чем было с Клариссой. Без мук, без хлопот. Без вычур и вымученности. Как по маслу. И смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка на веранде кричала (так и стоит в ушах). Да, да, она для него готова на все! — она кричала (вот уж не назовешь ее сдержанной), на все, что ему угодно! — она кричала и бежала ему навстречу, не боясь посторонних взглядов. А всего двадцать четыре года. И двое детей. Н-да!

Н-да, в его возрасте угодить в такую историю. Он среди ночи просыпался в холодном поту. Предположим, они поженятся. Ему-то, скажем, будет прекрасно, ну а она? Миссис Берджес — она вполне ничего и не сплетница, он ей доверился — считала, что его отлучка в Англию, якобы ради адвоката, позволит Дейзи очнуться, понять, что к чему. Речь идет о ее положении; о социальных барьерах; она должна подумать о детях. В один прекрасный день она станет вдовою с прошлым, и будет влачить жалкое существование в захолустье, и, чего доброго, пустится во все тяжкие (вы сами знаете, сказала миссис Берджес, ну этих, наштукатуренных). Но Питер Уолш только отмахнулся. Он покамест не собирается умирать. Впрочем, пусть решает сама, сама пусть соображает, думал он, шлепая в носках по номеру, расправляя белую рубашку, — он же идет к Клариссе, а можно пойти в мюзик-холл, а можно остаться в номере и почитать ин-

тересную книжицу, которую написал давнишний знакомый еще по Оксфорду. Уйти бы на пенсию, и тогда он вот чем займется — будет писать книжки. Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах Бодлианской¹ библиотеки. И напрасно смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка бежала к краю террасы, напрасно махала руками, напрасно кричала, что ей все равно, все равно, пусть осуждают. Она о нем Бог знает какого мнения, и вот этот безупречный джентльмен, дивный, прекрасный (возраст для нее не играет абсолютно никакой роли), шлепает в носках по гостиничному номеру в Блумсбери, бреется, умывается, и мысль гуляет по каталогам Бодлианской и докапывается до кое-каких мелочей, которые его занимают. И он может с кем угодно по пути заболтаться, и будет ее подводить, и все чаще и чаще будут опоздания к обеду, и сцены, когда Дейзи будет требовать поцелуев, и никогда ему не решиться на окончательный шаг (хоть он ей искренне предан) — словом, вероятно, миссис Берджес права, и не лучше ли ей его позабыть и запомнить таким, каким был он в августе двадцать второго — тенью на меркнувшем перекрестке, тающей, куда уносится вдаль двуколка, и ее уносит, и она надежно стянута ремнями на заднем сиденье, и руки раскинуты, и тень уже тает, уже исчезает, а она кричит, кричит, что готова на все, на все, на все...

Никогда он не понимал, что, собственно, на уме у других. Ему все труднее сосредоточиться. Он завертелся, погряз в своих личных делах; то он раскисает, а то ему весело; он зависим от женщин, рассеян, изменчив и чем дальше, тем меньше (думал он, намыливая подбородок) способен постичь, отчего бы Клариссе просто-напросто не подыскать им жилье, не пригреть Дейзи; не ввести ее в общество. А он бы тогда — да-да, что? — он бы мешкал и медлил (в данный момент он перебирал разные ключи и бумажки), возился и тешился,

¹ Оксфордская университетская библиотека, основана в 1598 г. Томасом Бодли.

короче говоря, наслаждался одиночеством, и ничего-то ему больше не нужно; но, с другой стороны, он же как никто нуждается в людях (он застегнул жилет); это просто сущее бедствие. Ему необходимо торчать в курительных, болтать там с полковниками, и он любит гольф, любит бридж, и всего больше он любит женское общество, тонкость женской дружбы, женскую верность и храбрость, величие в любви, которая, хоть имеет свои издержки (ненаглядно хорошенькое личико темнело поверх конвертов), есть прелестный цветок, украшающий нашу судьбу, а вот ведь не может он решиться на окончательный шаг, и вечно он склонен к оглядке (Кларисса в нем что-то навсегда покалечила), легко устает от немой преданности, ищет рассеяния, хотя сам с ума бы сошел, если бы Дейзи влюбилась в другого, просто с ума бы сошел! Ведь он ревнив, непристойно ревнив по природе. Какая мука! Да, но где ножик; часы; перчатка; блокнот и Клариссино письмо, он не станет его перечитывать, но все же приятно; и где фотография Дейзи? Так — а теперь обедать.

За столиками ели.

Сидели вокруг цветочных ваз, кто переодевшись к обеду, кто не переодевшись, пристроив рядом сумки и шали, изображали спокойное равнодушие к непривычному множеству блюд, светились довольством, ибо обед им был по карману, превозмогали усталость, ибо набегались за день по магазинам и памятникам; озирали с любопытством зал и входящего приятного в роговых очках джентльмена; любезно изговаривались передать меню, поделиться полезными сведениями; кипели желанием нащупать в беседе что-то сближающее, не земляки ли случайно (скажем, родом из Ливерпуля), нет ли однофамильцев-знакомых; украдкой вскидывали глаза; вдруг осекались; вдруг забывали о семейственных шуточках — за столиками ели, обедали, когда мистер Уолш вошел и занял место около занавеса

Он ничего, разумеется, особенного не говорил, ибо, сидя за столом, адресоваться он мог только к официанту; но то, как смотрел он в меню, как сидел, как отмечал указательным пальцем вино, как внимательно, однако же, не самозабвенно занялся он едой, — вызывало к себе уважение; и в продолжение обеда ничем не выказываясь, оно прорвалось за столиком, где сидели Моррисы, когда мистер Уолш, завершая обед, произнес: «Груши Бере». Отчего произнес он это так скромно и вместе с тем твердо, с видом человека дисциплинированного и сознающего свои неотъемлемые права, — ни младший Чарльз Моррис, ни старший Чарльз, ни мисс Элейн, ни тем более миссис Моррис объяснить не смогли бы. Но по тому, как он выговорил: «Груши Бере», сидя один за столиком, они ощутили, что в этом законном требовании он рассчитывает как-то на их участие, угадали в нем поборника дела, которое тотчас стало их собственным, и тотчас взгляды их встретились, полные очевидной симпатии, и когда, все вместе, они подошли к курительной, уже совершенно естественно показалось чуть-чуть поболтать.

Разговор получился не очень глубокий — в основном про то, какая бездна народу в Лондоне; как он изменился за последние тридцать лет; мистер Моррис предпочитал Ливерпуль; миссис Моррис посетила выставку цветов в Вестминстере; и все они видели принца Уэльского. И тем не менее, думал Питер Уолш, ни одно семейство на свете не идет ни в какое сравнение с Моррисами; ни единое; как они мило друг к другу относятся; и наплевать им на высшие классы, что им нравится, то им и нравится; и молодой человек заработал стипендию в техническом училище в Лидсе, и Элейн готовится вступить в отцовскую фирму, и у старой дамы (она, вероятно, одних с ним лет) дома еще трое детей; и у них две машины, но мистер Моррис все равно чинит обувь по воскресеньям; грандиозно, просто грандиозно, думал Питер Уолш, и, держа в руке рюмку с ликером, он покачивался на пятках

посреди красных плюшевых кресел и пепельниц, и он был очень доволен собой, оттого что понравился Моррисам. Да, им понравился господин, сказавший «Груши Бере». Он это чувствовал — он им понравился.

Он пойдет на Клариссин прием. (Моррисы откланивались; но они еще увидятся — непременно.) Он пойдет на Клариссин прием, ведь надо спросить у Ричарда, что они затевают в Индии — консервативные олухи? И что дают в театрах? В концертах? Ах, и еще сплетни, сплетни.

Да, душа человеческая, думал он, наше «я»; прячется словно рыба в пучине морской, снует там во мгле, огибая гигантские водоросли, промчится по солнечной высветленной полосе — и снова во тьму — пустую, густую, холодную; а то вдруг взметнется вверх, разрежется на прохваченных ветром волнах; просто необходимость какая-то встрепенуться, встряхнуться, зажечься — поболтать, поболтать. Что правительство намеревается — Ричард Дэллоуэй, уж конечно, осведомлен — предпринять относительно Индии?

К вечеру стало душно, мальчишки-газетчики разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещающую жару, и потом перед гостиницей выставили плетеные кресла, и там сидели, курили, потягивали вино. Сел в плетеное кресло и Питер Уолш. День, лондонский день, можно было подумать, едва начинался. Как женщина, сбросив затрапезное платье и беленький фартучек, надевает синее и жемчуга, все плотнее день сменял на дымчатое, наряжался к вечеру; и с блаженным выдохом женщины, скидывающей надоевшую юбку, день скидывал пыль, краски, жару; редело уличное движение; элегантная звонкость автомобилей замещала тяжелый грохот грузовиков, и там и сям в пышной листве блестили уже густые, жирные пятна. Я ухожу, будто говорила вечерняя заря, и она выцветала и блекла над зубцами и выступами, над округлыми, островерхими контурами домов, гостиницы, магазинов, я блекну, говорила она, мне

пора, — но Лондон и слушать ничего не хотел, на штыхах возносил ее к небу и силком удерживал на своей пирушке.

Ибо после прошлого наезда Питера Уолша в Англию свершилась великая революция — введение летнего времени. Длинный вечер был ему внове. Волнующее переживание. Когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой и втайне ликуя оттого, что ступают по прославленному тротуару — дешево; и несколько и показной, если хотите, но все же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо: телесного цвета чулки; прелестные туфли. Впереди — блаженных два часа в кинематографе. Лица тоньше, умнее в этом изжелта-синем свете; на листве же деревьев мертвенный, лиловатый налет, она мерцает, будто сквозь водную толщу — листва затонувшего града. Красота поражала Питера Уолша и бодрила: пусть их, воротившиеся из Индии англичане (он знает их множество) торчат, как им и положено, в своем Восточном клубе и брюзжат о конце света, а Питер Уолш — вот он; молодой, как никогда; завидует юнцам из-за летнего времени да мало ли из-за чего еще, и девичий голос, хохот служанки — все вещи неуловимые, зыбкие — наводят на мысль, что вся пирамида, в юности представлявшаяся незыблемой, вдруг поддалась. Как давила она, как прижимала, женщин в особенности, словно те бедные цветы, которые Клариссина тетя Елена, бывало, распластывала между листами серой бумаги и сверху придавливала толстым лексиконом Литтре, устроившись после ужина под абажуром. Она уже умерла. Кларисса как-то писала: ослепла на один глаз. Было бы блистательным приемом, мастерским штрихом природы, если б тетя Елена остекленела вся. Ей бы умереть, как коченеет пташка, всеми коготками вцепившись в ветку. Она человек другого поколения, но до того цельная, законченная, что навеки останется на горизонте, белокаменно высокая, как маяк, отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой-долгой дороги, этой не-

скончаемой... (он нащупал в кармане медяк — купить газеты и выяснить, чем там закончилось у Суррея с Йоркширом; он так тысячу раз вынимал медяк. Опять Суррей проиграл)... нескончаемой жизни. Но крикет не просто игра. Крикет больше. Это выше его сил — не прочесть про крикет. Итак — сперва о матче; потом он прочел о жаре; потом шел рассказ об убийстве. Когда какой-то жест повторяешь тысячу раз, он все больше говорит душе, обогащает, хотя, разумеется, в то же время делается машинальным, тускнеет. Прошлое обогащает и опыт, и когда двух-трех ты в жизни любил, обретаешь способность, которой нет у юнцов, — вовремя ставить точку, и плевать на разные пересуды, и не слишком-то обольщаться (он положил газету на столик и встал), хотя (не забыть бы плащ и шляпу), если быть честным, вот же сегодня он отправляется на прием и — в таком возрасте — весь полон неясных надежд. Что-то его ожидает. Но что?

Во всяком случае — красота. Не грубая красота — для глаз. Это не просто ведь красота, когда Бедфорд-Плейс впадает в Рассел-Сквер. Да, разумеется — стройность, простор; четкость коридора. Но — вдобавок — светились окна, и оттуда неслись фортепьянные ноты и взвой граммофона; и там пряталась радость, и то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне, в отворенном окне взгляд различал застолье, кружение пар, увлеченных беседой мужчин и женщин, а служанки рассеянно поглядывали с подоконников (своеобразный их знак, что все дела переделаны), и сушились на планках чулки, и кое-где были кактусы и попугаи. Загадочная, восхитительная, бесценная жизнь. А на площади, куда скользили стремительно, чтоб тотчас исчезнуть за поворотом, такси, толклись влюбленные и в обнимку прятались под лиственный ливень; и так это было трогательно, так они были сосредоточенно тихи, что хотелось скорей прошмыгнуть мимо, чтоб своим нечестивым присутствием не разрушить священного дей-

ства. И это тоже было славно. Но — дальше, дальше, под яркость и жаркость огней.

Плащ на нем развевался, и он шел своей неопикуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперед, заложив руки за спину, глядя все еще по-ястребиному, он шел по Лондону, шел к Вестминстеру, глядя по сторонам.

Все, что ли, сегодня собрались в гости? Швейцар распахивал двери перед старой, величавой матроной в туфлях на пряжках и с тремя страусовыми перьями в волосах. Двери распахивались и перед дамами, как мумии спеленутыми в цветастые шали, простоволосыми дамами. А в богатых кварталах, мимо колонн, к воротам, в легких накидках, с гребнями в прическах (поцеловав на ночь детишек) шли женщины; мужья их дожидались возле автомобилей; трещали моторы; развевались плащи. Все отправлялись куда-то. И оттого что все время, все время распахивалась дверь и оттуда выходили, казалось, будто Лондон скопом спускается с лодочки, мотающейся на волнах; будто город весь стронулся и сейчас поплывет в карнавале. А Уайтхолл был похож на каток, на серебристый каток, по которому носятся пауки, и чувствовалось, как плотно висит вокруг дуговых ламп мошकारа. А в Вестминстере судья в отставке, надо думать, — весь добросовестно в белом, сидел у своих дверей. В Индии отслужил, надо думать.

А вот и скандал какой-то, подгулявшие женщины, пьяные женщины; здесь всего один полицейский, и расплываются в небе дома, здесь большие дома, купола, соборы, парламенты, и дальний, полый, отуманенный крик парохода на реке. Но это ведь ее уже улица, Кларисина улица; машины обтекали угол, как вода обтекает сваи моста, — сплошной лентой, потому, наверное, что спешили на прием, на Кларисин прием.

Холодный поток зрительских впечатлений уже отплескивался от глаз, как жидкость стекает со стенок переполненного кувшина. Пора и уму включиться. Телу пора изготовиться, сжаться, пора войти в этот дом, ярко озаренный дом, в эту дверь, к которой подкатывают автомобили, выпу-

ская сверкающих женщин. Собраться с духом и — крепись, сердце.

Он приоткрыл большое лезвие перочинного ножа.

Люси опрометью сбежала по лестнице. Она только заскочила в гостиную — поправила ковер, подвинула стул, постояла минутку и почувствовала, как на любой взгляд тут чисто, ярко, красиво, хорошо устроено, и какое прекрасное серебро, и медные каминные приборы, и новая обивка стульев, и расписной желтый занавес; все, все она одобрила и услышала гул голосов; уже отобедали; надо лететь, лететь!

Агнес сказала: премьер-министр тоже будет; при ней говорили в столовой, когда она вносила на подносе бокалы. Какая разница, какая разница — одним премьер-министром больше или меньше? Это было совершенно безразлично сейчас для миссис Уокер, хлопотавшей среди блюд, кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, морожениц, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как судомойки ни лезли из кожи, все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, а огонь ревел, пылал, глаза резало электричество, и к ужину еще не накрыли. Так что, само собой, миссис Уокер было просто безразлично, одним премьер-министром больше или меньше.

Леди уже пошли наверх, Люси сказала: леди пошли одна за другой по лестнице, миссис Дэллоуэй шла последняя и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала «Большой привет миссис Уокер». Наутро они обсудят все блюда — суп, семгу; семга, миссис Уокер знала, как всегда, не очень-то удалась; она вечно нервничает из-за десерта, а семгу оставляет на Дженни; вот семга вечно и не удается. Но одна дама со светлыми волосами и вся в серебре сказала — Люси передала — когда внесли семгу: «Неужели сами готовили?» Все-таки семга огорчала миссис Уокер, пока она двигала блюда, убавляла и прибавляла

огонь; в столовой захохотали; вот голос — один; опять хохот — это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут вбежала Люси; токайское! Мистер Дэллоуэй посылал за токайским, за лучшим, королевским токайским.

Его несли на кухню. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет; просто душечка; глаз не оторвешь; в розовом платье и в бусах, которые ей мистер Дэллоуэй подарил. Дженни пусть не забудет песика, фоксика мисс Элизабет, он кусачий и его заперли, и мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится. Пусть Дженни не забудет песика. Но Дженни и не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери еще машина! Звонят! А в столовой господа токайское пьют!

Вот, пошли по лестнице; это первые, а дальше пойдут и пойдут, так что миссис Паркинсон (которую нанимали для приемов) оставит двери открытыми и в холле будут толпиться господа, ожидая (они стояли, ожидая, приглаживая волосы), пока дамы разденутся в комнате рядом; им помогала миссис Барнет, старая Элен Барнет, она прослужила в семье сорок лет и теперь каждое лето приезжала прислуживать дамам, и она помнила матерей еще барышнями, и очень скромно, правда, но здоровалась с ними за руку; очень почтительно произносила «миледи», но весело поглядывала на барышень и весело, хоть и очень тактично, помогала разоблачаться леди Лавджой, у которой оказались какие-то неполадки с нижней юбкой. И они отчетливо сознавали, леди Лавджой и мисс Элис, что им жалуют некие привилегии по части щетки и гребешка из-за того, что они знакомы с миссис Барнет — «тридцать лет, миледи», уточнила миссис Барнет. Молодые девушки раньше не красились, говорила леди Лавджой, когда они, бывало, гостили в Бортоне. А мисс Элис краситься и не надо, говорила мисс Барнет, любовно ее оглядывая. И миссис Барнет поглаживала меха, расправляла испанские шали, прибирала на туалетном столике, и

она отлично разбиралась, несмотря на меха и узоры, кто настоящая леди, кто нет.

— Милая старушка, — сказала леди Лавджой, поднимаясь по лестнице, — еще Клариссина няня.

Но вот леди Лавджой вся подобралась.

— Леди Лавджой и мисс Лавджой, — сказала она мистеру Уилкинсу (которого нанимали для приемов). У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся, склонялся, распрямлялся и возвещал с безупречным бесстрастием: «Леди и мисс Лавджой... сэръ Джон и леди Нидэм... мисс Уэлд... мистер Уолш». У него прекрасно это получалось; представлялось, что у него безукоризненная семья, хотя и трудноато вообразить, чтобы эдакого бритого, зеленогубого господина угораздило обзавестись неудобством в виде детей.

— Как я рада! — сказала Кларисса. Она это каждому говорила. «Как я рада!» Она неудачна сегодня — неискренняя, на ходулях. И зачем надо было тащиться сюда! Лучше было остаться в гостинице, почитать, подумал Питер Уолш; или пойти в мюзик-холл; надо было остаться в гостинице, он тут не знал ни души.

Господи, ничего не получится; полный провал — Кларисса так и чувствовала это хребтом, пока милый старый лорд Лексэм стоял перед нею и извинялся за жену, которая простудилась на приеме в саду в Букингемском дворце. Краем глаза она видела Питера, он стоял в углу и ее критиковал. В конце концов зачем ей все это? Зачем штурмовать высоты и взгромождаться на костер? Да хоть бы пропадом пропасть! Сгореть! Дотла! Что угодно лучше, лучше взмахнуть факелом, швырнуть его оземь, чем сойти на нет и ступаться, как Элли Хендерсон какая-нибудь! Поразительно, что Питеру достаточно было прийти и стать в углу, чтобы привести ее в подобное состояние. Она сразу увидела себя со стороны; она переигрывает; полное идиотство. Ну а он-то зачем, спрашивается, пожаловал? Критиковать ее? Вечно брать, ничего не давать — почему? Почему бы хоть чем-то не поступиться? Ну вот, он вышел из угла,

и надо с ним будет поговорить. Только разве улучшить минутку! Вот она жизнь, — унижения, разочарования. Лорд Лексэм вот что сказал — его жена не захотела надеть меховую накидку, потому что «дорогая моя, вы все одним миром мазаны», — а ведь леди Лэксем под восемьдесят! В общем, просто умилительно — такие нежности у старичков! И она была всегда очень привязана к старому лорду Лексэму. И она считала, что ее прием — важная вещь, и ей просто нестерпимо было думать, что все идет не так и ничего не получится. Да что угодно, любой ужас бы лучше, только б они не толклись бессмысленно и не подпирали бы стен, как эта Элли Хендерсон, которая даже не дает себе труда хотя бы держаться прямо.

Желтый занавес со всеми птицами рая вздулся, и будто взмахи крыл затопили комнату, вот их вынесло, снова всосало. (Окна были открыты.) Сквозняк, что ли? — подумала Элли Хендерсон. Она была подвержена простуде. Но какая важность, если она и встанет завтра с постели, хлюпая носом. Она подумала о девочках с голыми плечами, потому что ее приучили думать о других, отец приучил, немощный старик, приходской священник в Бордоне, теперь-то он умер; да и простуда у нее никогда не переходила на грудь. Она думала о девочках с открытыми плечами, а сама она всегда была хилая, лицо худое, жидкие волосы; правда, теперь, после пятидесяти в лице начало пробиваться мягкое сияние, награда за долгие годы самоотверженности, но разогреться как следует оно не могло из-за жалких потуг соблюсти достоинство и оттого, что со своими тремястами фунтами дохода Элли пребывала в вечном страхе (заработать она не могла ни гроша), и она стала робкой и с каждым годом все меньше умела вращаться среди хорошо одетых людей, которым это все нипочем, только сказать горничной: «Я то-то и то-то наде ну», а Элли Хендерсон избегалась, изнервничалась, купила в конце концов дешевых красных цветов, шесть штук, и под шалью скрыла старое черное

платье. Потому что приглашение на Клариссин прием пришло в последнюю минуту. У нее было такое чувство, что Кларисса в этом году не хотела ее приглашать.

Да и зачем ей ее приглашать? В сущности, никаких оснований, только общие воспоминания детства. Положим, они кузины. Но жизнь, конечно, их развела. У Клариссы столько знакомых. А для нее событие — пойти на прием. Так приятно смотреть на красивые платья. Неужели это Элизабет, совсем взрослая, с модной прической, в розовом платье? Ей же еще восемнадцати нет. Очень, очень хороша. Но теперь, кажется, уже не принято, как когда-то, в первый раз выезжать в белом платье? (Надо все-таки запомнить, чтоб рассказать Эдит.) На девушках платья были прямые, в обтяжку, юбки намного выше щиколоток. Мало кому идет, решила она.

Элли Хендерсон плохо видела, и она вытягивала шею, и она-то, в общем, даже не огорчалась из-за того, что не с кем слова сказать (она почти никого не знала), ведь и смотреть было интересно: такие люди; верно, политики; друзья Ричарда Дэллоуэя, — но Ричард сам решил, что нельзя оставлять бедняжку весь вечер одну.

— Ну как, Элли, как она — жизнь? — спросил он своим добродушным тоном, и Элли Хендерсон встрепенулась, покраснела и, очень, очень тронутая его вниманием, сказала, что на многих жара действует гораздо сильнее, чем холод.

— Да, действительно, — сказал Ричард Дэллоуэй. — Да.

Что еще тут можно было сказать?

— Здравствуй, Ричард, — сказал кто-то, беря его под руку, и — господи! — это оказался старина Питер, старина Питер Уолш. Он был страшно рад его видеть, просто ужасно рад его видеть! Он ничуть не изменился. И они ушли вместе, они пересекали гостиную, похлопывая друг друга по спине, будто давно не виделись, думала Элли Хендерсон, глядя им вслед и, конечно, она уже где-то

встречала этого человека. Высокий, немолодой, глаза красивые, волосы темные, в очках, напоминает Джона Бароуза. Эдит его знает, конечно.

Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес. И Кларисса увидела — она увидела, как Ральф Лайен отбивает его рукой, не прерывая разговора. Значит, не провал, никакой не провал! Все получится — прием получится. Началось. Пошло. Но пока надо быть начеку. Стоять тут. Гости, кажется, валят валом.

— Полковник Гэррод с супругой... Мистер Хью Уитбред... Мистер Баули... Миссис Хилберн... Леди Мэри Мэдокс... Мистер Куин... — выводил Уилкинс. Она с каждым обменивалась двумя-тремя словами, и они шли дальше, они шли в комнаты, входили — во что-то, не в пустоту теперь, после того как Ральф Лайен отбил этот занавес рукой.

Но от нее самой потребовалось слишком много усилий. И никакой радости не осталось. Будто она — просто некто, неизвестно кто; и любой мог бы оказаться на ее месте; правда, этим «некто» она чуточку восхищалась, как-никак кое-что сделано, пущено в ход; и пост наверху лестницы, к которому, она чувствовала, вся она свелась, был итогом и рубежом, потому что — странно — она совершенно забыла, как она выглядит, и чувствовала себя просто вехой, водруженной наверху лестницы. Всякий раз, когда устраивала прием, она вот так ощущала себя не собою, и все были тоже в каком-то смысле ненастоящие; зато в каком-то — даже более настоящие, чем всегда. Отчасти это, наверное, из-за одежды, отчасти из-за того, что они оторвались от повседневности, отчасти играет роль общий фон; и можно говорить вещи, какие не скажешь в других обстоятельствах, вещи, которые трудно выговорить: можно затронуть глубины. Можно — только не ей; пока, во всяком случае, не ей.

— Как я рада! — сказала она. Милый, старый сэр Гарри! Он тут был со всеми знаком.

И самое странное — это чувство, какое они вызвали, вот так, друг за дружкой, чередой поднимаясь по лестнице, миссис Маунт и Селия, Герберт Эйнсти, миссис Дейкерс — о! и леди Брутни!

— Страшно мило с вашей стороны, что вы пришли! — сказала она, и сказала искренне — странно было, стоя здесь, чувствовать, как они идут, идут, некоторые совсем старые, некоторые...

Кто? Леди Россетер? Господи — да кто это еще, леди Россетер?

— Кларисса! — Этот голос! Салли Сетон! Салли Сетон! После стольких лет! В каком-то тумане, в тумане. Да, не то она была, Салли Сетон, когда Кларисса прижимала грелку к груди. Подумать только — она под этой крышей, под этой крышей Да, только она была не то!

Торопясь, захлебываясь в хохоте, теснясь, побежали слова — оказалась в Лондоне, узнала от Клары Хейдн; дай-ка, думаю, на нее взгляну! Вот и ввалилась — незванным гостем...

Можно спокойно положить грелку. Сверкание Салли погасло. Но как изумительно снова видеть ее, постаревшую, подурневшую, счастливую. Они расцеловались — в щечку, в другую — прямо в дверях гостиной, и Кларисса обернулась, держа Салли за руку, она увидела свой дом, полный гостей, услышала гул голосов, увидела свечи, бьющийся занавес и розы, которые днем ей принес Ричард.

— У меня сыновья громадные — пятеро дылд, — сказала Салли.

Эгоизм у нее был всегда простодушнейший, откровенное желание, чтобы все с ней носились, и Кларисса узнала с нежностью прежнюю Салли.

— Не может быть! — вскрикнула она и вся вспыхнула от удовольствия при мысли о прошлом.

Но увы — Уилкинс; Уилкинс требовал ее внимания; Уилкинс — повелительно, будто наставляя всех гостей и за легкомыслие выговаривая хозяйке — уронил одно-единственное имя.

— Премьер-министр, — сказал Питер Уолш.

Премьер-министр? Неужели? — восхищалась Элли Хендерсон. Эдит просто ахнет!

Ничего смешного в нем не было. Зауряднейшая внешность. Мог бы стоять за прилавком, печеньем торговать — бедняга, весь в золотом шитье. Но надо отдать ему должное, этот круг почета, сперва с Клариссой, потом в сопровождении Ричарда, превосходно ему удался. Он старался казаться личностью. Забавное зрелище. Никто на него не смотрел. Все продолжали беседовать, но совершенно же ясно, прочувствовали до мозга костей, что мимо них шествует величие; символ того, что все они воплощают, английского общества. Старая леди Брутн, тоже великолепная, негнибаемая в своих кружевах, поплыла к нему, и они удалились в некую комнатку, на которую тотчас обратились все взоры, и шорох, шелест прошел, наконец, по рядам: премьер-министр!

Господи, вот снобизм англичан, думал Питер Уолш, стоя в углу. До чего они любят украшаться золотым шитьем, воздавать почести! Ба! Да это же... Господи, ну да, это он — Хью Уитбрэд, приносящийся к следам божества, разжиревший, седой — дивный Хью!

Он всегда будто при исполнении служебных обязанностей, думал Питер Уолш; высокопоставленный и таинственный, он грудью готов защищать вверенные ему тайны, даром что это сплетни, оброненные дворцовым лакеем, и завтра они появятся в газетных столбцах. И с этим шутейством, с этими игрушечками-погремушечками дожить до седых волос, стоять на пороге старости, снискать расположение и признательность всех, кто сподобится увидеть вблизи этот тип англичанина — выпускника привилегированной школы! В этом он весь; это стиль его; стиль дивных писем в «Таймс», которые Питер читал за морем, за тысячи миль, благословляя провиденье, что унесло подальше от невозможного бреда, даром что кругом щелкают обезьяны и кули лупят своих жен. Вот смуглый юноша из какого-то университета смиренно стал

рядом. Он будет его посвящать, вводить в круги, учить жить. Ему ведь только б оказывать любезности и чтоб сердца старых дам трепетали от радости, что их не забыли в их возрасте, в их тяжком положении, они-то считали, что все их забросили, но является Хью, милый Хью; и целый час тратит, болтая о прошлом, вспоминая разные разности, расхваливая домашний торт, а ведь может ежедневно питаться тортом у какой-нибудь герцогини и, судя по комплекции, даже весьма налегает на сие приятнейшее занятие. Всемогущий и Многомилостивый пусть и прощает. У Питера Уолша милости нет. Есть, наверное, мерзавцы, но — Господи! — даже негодяи, которых вздергивают за то, что размозжили голову девушке в поезде, — и те приносят в общем и целом меньше вреда, чем Хью со своей добротой. Полюбуйтесь-ка на него! На цыпочках, выделявая сложные па, кланяясь, пробирается к леди Брутен, снова выплывшей рядом с премьером, и всячески дает присутствующим понять, что у него с ней какие-то свои разговоры. Вот она остановилась. Склонила благородную белую голову. Наверное, благодарит за очередное подхалимство. У нее ведь всюду свои люди, мелкие чиновники в правительственных учреждениях, блюдут ее интересы, а она за это кормит их ленточками. Ну, она из восемнадцатого века, с нее и взятки гладки. Она прекрасна.

И вот Кларисса повела премьер-министра по гостиной, гарцуя, блистая, сверкая торжественной сединой. В серьгах и серебристо-зеленом русалочьем платье. Будто, косы разметав, качается на волнах; еще сохранила этот свой дар; быть; существовать. Все сосредоточилось в той самой минуте, когда она идет по гостиной; вот оглянулась, поймала свой шарф, зацепившийся за платье гостьи; отцепила, засмеялась — и все это с совершенной непринужденностью плавающего в родной стихии создания. Но возраст коснулся ее: так, вероятно, однажды ясным вечерком провожает глазами русалка в своем зеркале укатывающее за волны солн-

це. Какая-то в ней проступила нежность; неподступность и скованность прохватило теплом, и было в ней, когда она прощалась с толстяком в золотом шитье, из кожи вон лезущем (и дай ему Бог!), чтобы казаться значительным, когда она желала ему всего доброго, — было в ней невыразимое достоинство, восхитительная сердечность; будто она всему на свете желает всего доброго, и, стоя на пороге, стоя на краю — прощается со всем. Так ему показалось. (Но не от влюбленности ни от какой.)

Да, Кларисса чувствовала — премьер-министр очень мило поступил, что пришел. И когда она его вела по комнате, и тут же стояла Салли, и был Питер, и такой довольный Ричард, а все эти люди, возможно, чуть-чуть ей завидовали, в голову ей будто ударил хмель; и все нервы напряглись, и сердце дрожало, ширилось — да, но такое и другие, конечно, испытывают; и хоть такие минуты жалят и звенят — все же в ее торжестве (добрый друг Питер, например, нашел ее восхитительной) какая-то червоточина; все это рядом — не в сердце; наверное, она уже не та, она стареет; прежней радости нет; и, когда она провожала глазами премьер-министра, спускавшегося по ступеням, золоченая рама «Девочки с муфтой» сэра Джошуа¹ вдруг напомнила Килманшу; Килманшу — врага. Вот и хорошо; хоть настоящее что-то. Ах, как она ненавидит ее — ханжу, злыдню, лицемерку; и какая власть у нее; она совращает Элизабет; втерлась в дом — осквернять и поганить (Ричард скажет — что за бред!). Она ее ненавидит. Она ее любит. Человеку нужны враги, не друзья, не миссис Даррент и Клара, сэр Уильям и леди Брэдшоу, мисс Трулэк и Элинор Гибсон (они поднимались по лестнице). Они найдут ее, когда захотят. Она к их услугам!

Вот сэр Гарри — старый добрый друг.

¹ Джошуа Рейнолдс (1723-1792) — английский художник.

— Милый сэс Гарри! — сказала она, подходо к великолепному старцу, произведшему на свет больше скверных полотен, чем удавалось любым двум членам Академии художеств вместе взятым (на всех до единого были коровы, они стояли в закатных прудах, утоляя жажду, либо с помощью поднятого копыта или взмаха рогов очень ловко изображали «Приближение чужака», и жизнедеятельность его — обеды в гостях, ипподром и прочее — зиждилась на коровах, утолявших жажду в закатных прудах).

— Над чем это вы смеетесь? — спросила она. Потому что Уилли Титком, и сэс Гарри, и Герберт Эйнсти — все хохотали. Но нет. Не мог сэс Гарри рассказать Клариссе Дэллоуэй (хоть она ему очень нравилась; он считал ее в своем роде совершенной и грозился увековечить) — не мог он ей рассказать свой анекдот из быта актеров; взамен он принялся над нею подтрунивать; на ее приеме ему недостает коньяка. Этот круг, он сказал, чересчур для него возвышен. Но ему нравилась Кларисса; он ее почитал, несмотря на треклятую, несносную, жуткую эту изысканность, из-за которой немисливо было попросить Клариссу Дэллоуэй посидеть у него на коленях. Однако вот и хлипкий, блуждающий огонек (в чем душа держится?), старушка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота (по поводу герцога с дамой), донесшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего ее касательно одной материи, которая тревожит иной раз, когда проснешься ни свет ни заря и не хочется будить горничную из-за чашечки чая: что мы все непременно умрем.

— Нам они ничего не хотят рассказывать, — сказала Кларисса.

— Кларисса, душенька! — воскликнула миссис Хилбери. Сегодня Кларисса, сказала она, безумно ей напомнила свою покойницу мать, какой она впервые ее увидела — в серой шляпке, на садовой дорожке.

И в глазах у Клариссы даже заблестели слезы. Мама — на садовой дорожке! Но увы, она вынуждена была их покинуть.

Потому что профессор Брайели, специалист по Мильтону, стоял с маленьким Джимом Хаттоном (который, даже ради такого приема, не сумел повязать галстук по-божески и совладать со своим хохолком), и даже на расстоянии она видела, что они ссорятся. Этот профессор Брайели был странная птица. При всех своих степенях, отличиях, курсах он привык мгновенно чують в писаках то, что было враждебно удивительно сложному его составу; непомерной учености и робости; холодному, без доброты, обаянию; чистоте, замешанной на снобизме; он весь трясся, когда нечесанные волосы студентки, нечищенные башмаки юнца напоминали ему о мире — весьма завидном, бесспорно — деклассированных, мятежных, буйных, уверенных в собственной гениальности, — и легким подергиванием головы, хмыканьем — хм! — он намекал на пользу умеренности; кое-какие познания в области классики для понимания Мильтона. Профессор Брайели (Кларисса видела) не поладил с маленьким Джимом Хаттоном (тот был в красных носках, ибо черные отдал в стирку) относительно Мильтона. Она решила вмешаться.

Она сказала, что любит Баха. Хаттон его тоже любил. Это их связывало, и Хаттон (очень плохой поэт) всегда считал, что миссис Дэллоуэй куда лучше прочих великосветских дам, интересующихся искусством. Странно, какие строгие у нее суждения. Насчет музыки весьма неоригинальные. В общем, даже скучно. Но до чего она хороша собой! И дом у нее чудный, если б только не приглашала разных профессоров. Клариссу подмывало заткнуть его в заднюю комнату и усадить за рояль. Играл он божественно.

— Только вот шум! — сказала она. — Шум!

— Признак удачного приема. — Отвесив учтивый поклон, профессор изящно ретировался.

— Он все на свете знает про Мильтона, — сказала Кларисса.

— В самом деле? — сказал Хаттон, который уже готовился изображать профессора по всему Хэмпстеду: профессор рассуждает о Мильтоне; профессор проповедует пользу умеренности; профессор изящно ретируется.

Но ей надо поговорить с теми двоими, сказала Кларисса, с лордом Гейтоном и Нэнси Блоу.

Нельзя сказать, чтобы именно они заметным образом усугубляли шум приема. Они не разговаривали (заметным образом), стоя рядышком возле желтого занавеса. Они собирались скоро куда-то еще, вместе; они вообще были не из разговорчивых. Они дивно выглядели. Вот и все. И достаточно. Они выглядели такими здоровыми, чистыми, она — в персиковом цветении краски и пудры, он весь промытый, сверкающий, и взгляд соколиный — мяча не пропустит, любой удар отразит. Он бил по мячу, он прыгал — точно и четко. На дрожащих поводьях держала ретивых пони его рука. Он воспитывался среди фамильных портретов, почестей, висящих в домовой церкви знамен. Он воспитывался в сознании долга — у него были арендаторы; мать и сестры; весь день он провел в палате лордов, и они как раз говорили — о крикете, кузенах, кинематографе, когда подошла миссис Дэллоуэй. Мисс Блоу она страшно нравилась. И лорду Гейтону тоже. Прелестная женщина.

— Страшно мило, просто божественно, что вы пришли! — сказала она. Она любила лордов; любила юных; а Нэнси, одевавшаяся за громадные деньги у известнейших мастеров Парижа, выглядела сейчас так, будто ее тело само по себе опушилось теленой оборкой.

— Я думала, можно будет потанцевать, — сказала Кларисса.

Такие молодые люди не умеют беседовать. Да и к чему? Им — бродить, обниматься, аукаться, вскакивать с постели чем свет; кормить сахаром пони; ласкать и чмокать любимые морды чау-чау и, горя.

трепеща, плюхаться в воду, плавать... А немислимые богатства родного языка, власть, которой он нас дарит, — передавать тончайшие оттенки чувства (уж они с Питером в их-то годы весь вечер бы спорили) — им ни к чему. Такие остепеняются рано. Безмерно добры, вероятно, со всеми в поместье, но сами по себе, пожалуй, немного скучны.

— Вот жалость! — сказала она. — Я-то надеялась, что можно будет потанцевать.

Страшно мило с их стороны, что они пришли. Но какие танцы! Когда яблоку негде упасть.

Но появилась тетя Елена в шали. Увы, она должна была их покинуть — лорда Гейтона с Нэнси Блоу. Пришла мисс Парри, ее тетушка.

Ибо мисс Елена Парри не умерла. Мисс Парри была жива. Ей давно стукнуло восемьдесят. Она взошла по лестнице, опираясь на палку. Ее усадили в кресло (об этом позаботился Ричард). Тех, кто знал Бирму в семидесятые годы, всегда подводили к ней. Но куда Питер подевался? Они же были с тетей такие друзья. А при одном упоминании об Индии или даже Цейлоне ее глаза (только один был стеклянный) темнели, синели, и видела она не людей — не имея нежных воспоминаний, ни гордых иллюзий по поводу вице-королей, мятежей, генералов — она видела орхидеи, и горные тропы, и себя самое, когда на спинах у кули поднималась в шестидесятые годы к пустынным вершинам или спускалась выкапывать орхидеи (поразительные экзэмпляры, прежде не виданные), она их писала потом акварелью; неукротимая британка, она раздражалась, когда, скажем, бомба, упавшая под самым ее окном, помешала ей вспомнить об орхидеях и о том, как сама она в шестидесятые годы путешествовала по Индии — но вот и Питер.

— Пойди поговори с тетей Еленой про Бирму, — сказала Кларисса.

Но они же за весь вечер друг другу двух слов не сказали!

— Мы еще поговорим, — сказала Кларисса, подводя его к тете Елене — в белой шали, с палкой.

— Вот Питер Уолш, — сказала Кларисса.

Имя не говорило ей ничего.

Кларисса ее пригласила. Здесь шумно; утомительно; но Кларисса ее пригласила. И она пришла. Жаль, что они живут в Лондоне — Ричард с Клариссой. По Клариссиному здоровью — ей бы в деревне жить. Но Кларисса всегда любила общество.

— Он бывал в Бирме, — сказала Кларисса.

А-а! Она не в силах удержаться, не похвастаться тем, как Чарльз Дарвин отзывался о ее книжце об орхидеях Бирмы.

(Клариссе пришлось отойти от леди Брутн.)

Теперь ее, конечно, забыли, книжицу эту об орхидеях Бирмы, но до 1870 года три издания вышло, сказала она Питеру. Теперь она его вспомнила. Он был у них в Бортоне (и бросил ее, вспомнил Питер Уолш, ни слова не сказав, в гостиной тем вечером, когда Кларисса позвала кататься на лодке).

— Ричарду было так приятно у вас сегодня, — говорила Кларисса леди Брутн.

— Ричард мне чрезвычайно помог, — отвечала леди Брутн. — Он мне помог составить письмо. А вы — как вы себя чувствуете?

— О, превосходно! — сказала Кларисса. (Леди Брутн не выносила, когда жены политических деятелей хворали.)

— А вот и Питер Уолш! — сказала леди Брутн (она никогда не знала, о чем говорить с Клариссой; хотя та нравилась ей множеством своих прекрасных качеств; но ничего общего не было у нее и Клариссы. Возможно, Ричарду следовало бы жениться на женщине менее обаятельной, которая бы ему больше помогала в его труде. Он так и не попал в Кабинет). — А вот и Питер Уолш! — сказала она, протягивая руку молодому греховоднику, очень способному молодому человеку, который мог бы составить себе имя, но не составил (из-за вечных историй с женщинами). И старая мисс Парри! Поразительно старая дама!

Леди Брутн призрачным гренадером в черных одеждах стала у кресла мисс Парри и приглашала Питера Уолша завтракать; сердечная, но не способная к легкой беседе, она ничего не могла припомнить касательно флоры и фауны Индии. Разумеется, она там бывала; гостила у троих вице-королей; считала кое-кого из тамошних должностных лиц людьми чрезвычайно достойными; но какая трагедия — положение Индии! Премьер-министр ей сейчас как раз говорил (старой мисс Парри, кутавшейся в шаль, было решительно все равно, что как раз говорил ей премьер-министр), и леди Брутн хотелось услышать мнение Питера Уолша, ведь он только что из самой гущи событий, и ей хотелось его свести с сэром Сэмпсоном, потому что она просто лишилась сна из-за этих безумных и — как дочь солдата, она бы сказала — непозволительных действий. Сама она постарела, стала ни на что не годна. Но ее дом, слуги, добрый друг — Милли Браш — он ее не забыл? — все просто рванулись помочь, когда... словом... когда понадобится. Потому что она все же не говорила об Англии, но эта драгоценная земля, страна великих душ была у нее в крови (хоть Шекспира она не читала), и если когда-нибудь женщина была рождена носить шлем, целиться из лука, водить в атаку полки, с неукротимой справедливостью править темными ордами и после, безносой, возлечь под щитом во храме либо обратиться в зеленый, заросший курган среди древних холмов, — эта женщина была Миллисент Брутн. Лишенная — из-за женского своего естества и отчасти известной ленцы — способности рассуждать логически (она не могла, например, составить письмо в «Таймс»), она постоянно думала об империи и в результате общения с этим воинственным духом обрела строевую осанку и мощь, так что даже представить себе было немислимо, чтобы после смерти она рассталась с землей и перенеслась в те пределы, где уже не реет британский флаг. Не быть англичанкой — хотя бы в царстве мертвых — нет, нет! Никогда! Ни за что!

Ведь это же леди Брути? (Она ее знала когда-то.) И Питер Уолш – седой Питер Уолш? – спрашивала себя леди Россетер, (прежняя Салли Сетон). А это, конечно, старая мисс Парри – старуха тетка, которая вечно злилась на нее, когда она жила в Бортоне. Ей в жизни не забыть, как она неслась, голая, по коридору, а потом должна была предстать перед мисс Парри! И Кларисса! Ох, Кларисса! Салли схватила ее за локоть.

Кларисса стала с ними рядом.

– Но сейчас я не могу, – сказала она. – Я еще вернусь. Подождите, – сказала она, оглядываясь на Питера и Салли. Пусть они подождут, она имела в виду, пока разойдутся все эти люди.

– Я вернусь, – сказала она, оглядываясь на старых друзей, на Салли и Питера, которые трясли друг другу руки, и Салли – конечно, вспомнив прошлое, – хохотала.

Но в голосе у нее уже не было прежних победительных обертонов; глаза не светились, как прежде, когда она курила сигары, когда неслась по коридору в чем мать родила и Эллиен Аткинс спрашивала: «А если б кто из джентльменов увидел?» Но все ей прощали. Она стащила в кладовке цыпленка, проголодавшись как-то ночью; она курила сигары у себя в комнате; она забыла в лодке бесценную книгу. Но все обожали ее (кроме, кажется, папы). Из-за ее энергии; из-за ее живости – она рисовала, писала стихи. Старухи в деревне по сей день спрашивают: «А как ваша подруга в красном плаще, помните, веселая такая». Она уверяла, что Хью Уитбред, именно Хью (вон он там, старый друг, занят беседой с португальским послом) поцеловал ее в курительной в наказание, когда она потребовала избирательного права для женщин, вот тебе и «неужто», он же пошляк, сказала она. И Кларисса, помнит, уговаривала ее не выносить преступления Хью на семейный суд, а с нее бы случилось. Отчаянная, безответственная, склонная к сценам, при вечном стремлении быть в центре событий – Кларисса боялась, что она плохо кон-

чит; что ее ждет ужасная трагедия; смерть; мученичество; а она взяла и вышла замуж за лысого господина с громадной бутоньеркой, у которого бумагопрядильни в Манчестере. И родила пятерых сыновей!

Они уселись с Питером рядышком — разговаривать. Такая знакомая картинка — эти двое за беседой. О прошлом, конечно. С ними двумя (больше даже, чем с Ричардом) связано прошлое; сад; деревья; старый Йозеф Брайткопф, который пел Брамса совершенно без голоса; обои в гостиной; запах циновок. Салли навсегда останется частью всего этого; и Питер останется. Но ей надо их бросить. Явились Брэдшоу, неприятные ей.

Надо подойти к леди Брэдшоу (в сером, в серебре, — как тюлениха, тыкающаяся в край бассейна, твякающая про приглашения, про герцогинь, типичная жена процветающего мужа), надо подойти к леди Брэдшоу и сказать...

Леди Брэдшоу ее опередила.

— Мы кошмарно опоздали, милая моя миссис Дэллоуэй, мы даже идти не решались, — сказала она.

И сэр Уильям, столь благородный, седовласый и синеокий, сказал — да, верно; но они не удержались от соблазна. Он уже пустился в беседу с Ричардом, наверное, насчет этого законопроекта, который они собирались провести через палату общин. Почему же у нее все сжалось внутри при виде сэра Уильяма, беседующего с Ричардом? Он выглядел именно тем, кем был — великий доктор. Светило в своей области, очень влиятельный человек, очень усталый. Еще бы — кто только не прошел через его руки — люди в ужасных мучениях; люди на грани безумия; мужья и жены. Ему приходилось решать страшно трудные проблемы. И все же — она чувствовала — в несчастье не захочется попадаться на глаза сэру Уильяму Брэдшоу. Только не ему.

— Как дела у вашего сына в Итоне? — спросила она у леди Брэдшоу.

Он как раз не смог сдать экзамены, сказала леди Брэдшоу, из-за свинки. Отец даже сильнее огорчен, чем он сам, «ведь он, — сказала она, — в сущности большой ребенок».

Кларисса взглянула на сэра Уильяма, беседовавшего с Ричардом. Нет, на ребенка он не похож — решительно не похож на ребенка.

Она как-то кого-то водила к нему за советом. Он прекрасно все понял; очень мудро распорядился. Но — Господи! — до чего же приятно было снова очутиться на улице! Какой-то бедняга, она запомнила, рыдал в приемной. Она сама не могла понять, в чем тут дело; почему же именно так не нравится ей сэр Уильям. Правда, Ричард с ней соглашался, ему он тоже не нравился «на вкус, по запаху». Но страшно способный человек. Речь шла о законопроекте. Сэр Уильям, понизив голос, упомянул о каком-то случае, который имел отношение к только что сказанному о поздних последствиях контузии. Следовало учесть это в законопроекте.

Понизив голос, увлекая миссис Дэллоуэй под сень общих женских забот и общей гордости необычайными мужьями — увы, одинаково не жалеющими себя, леди Брэдшоу (бедная курица — в ней-то самой ничего неприятного) поведала, как, «только мы собрались идти, мужу позвонили — очень печальный случай. Молодой человек (про него-то сэр Уильям и рассказывает мистеру Дэллоуэю) покончил с собой. Участник войны». Ох! — подумала Кларисса, среди моего приема — смерть, подумала она.

Она прошла по гостиной и вошла в ту маленькую комнатку, где уединялись премьер-министр с леди Брутен. Вдруг там кто-то есть? Но не было никого. Кресла еще помнили позы: леди Брутен склонялась почтительно; прямо, незыблемо сидел премьер-министр. Они говорили об Индии. Сейчас там не было никого. Блеск приема погас — так оказалось страшно войти туда одной, в вечернем туалете.

И зачем понадобилось этим Брэдшоу говорить о смерти у нее на приеме? Молодой человек покончил с собой. И об этом говорят у нее на приеме — Брэдшоу говорят о смерти. Он покончил с собой. Но как? Она всегда чувствовала все будто на собственной шкуре, когда ей рассказывали о несчастье; платье пылало на ней, тело ей жгло. Он выбросился из окна. В глазах сверкнула земля; больно прошли сквозь него ржавые прутья. И — тук-тук-тук — застучало в мозгу, и тьма задушила его. Так ей это привиделось. Но зачем он это сделал? И Брэдшоу говорят об этом у нее на приеме!

Когда-то она выбросила шиллинг в Серпантин, и больше никогда ничего. А он взял и все выбросил. Они продолжают жить (ей придется вернуться к гостям; еще полно народу; еще приезжают). Все они (целый день она думала о Бортоне, о Питере, Салли) будут стареть. Есть одна важная вещь; оплетенная сплетнями, она тускнеет, темнеет в ее собственной жизни, оплывает день ото дня в порче, сплетнях и лжи. А он ее уберег. Смерть его была вызовом. Смерть — попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя, она ускользает и прячется в тайне; близость расплывается в разлуку; потухает восторг; остается одиночество. В смерти — объятие.

Но тот молодой человек, который покончил с собой, — прижимал ли он, бросаясь вниз, к груди свое сокровище? «О, если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду», — так она говорила когда-то, спускаясь к ужину, в белом платье.

И есть поэты, мечтатели. Вдруг у него была эта страсть, а он пошел к сэру Уильяму Брэдшоу, великому доктору, но неуловимо злобному, чрезвычайной — без пола и вожделения — обходительному с дамами, но способному на неопишемую гадость — он тебе насилует душу, вот, — вдруг тот молодой человек пошел к сэру Уильяму, и сэр Уильям давил на него своей властью, и он больше не мог, он подумал, наверное (да, теперь она по-

няла), — жизнь стала непереносимой; такие люди делают жизнь непереносимой...

А еще (она как раз сегодня утром почувствовала) этот ужас; надо сладить со всем, с жизнью, которую тебе вручили родители, вытерпеть, прожить ее до конца, спокойно пройти — а ты ни за что не сможешь; в глубине души у нее был этот страх; даже теперь, очень часто, не сиди рядом Ричард со своей газетой, и она не могла бы затихнуть, как птица на жердочке, чтоб потом с невыразимым облегчением вспорхнуть, встрепенуться, засуетиться, — она бы погибла. Она-то спаслась. А тот молодой человек покончил с собой.

Это беда ее — ее проклятие. Наказание — видеть, как либо мужчина какой-то, либо какая-то женщина тонут во тьме, а самой стоять тут в вечернем платье. Она строила козни: она жульничала. Она никогда не была безупречной. Она хотела успеха, быть как леди Бексборо и так далее. И когда-то она ходила по террасе в Бортоне.

Странно, не верится даже: никогда она не была так счастлива. Время хочется задержать; хочется остановить. Нет большей радости, думала она, поправляя кресла, подпихивая на место выбившуюся из ряда книгу, чем, оставя победы юности позади, просто жить; замирая от счастья, смотреть, как встает солнце, как погасает день. Много раз в Бортоне, когда все были заняты болтовней, она уходила взглянуть на небо или видела его у других за плечами во время обеда; смотрела на него в Лондоне, в часы бессонницы. Она подошла к окну.

В нем — хоть это глупая мысль — была и ее частица, в сельском, просторном небе, небе над Вестминстером. Она раздвинула шторы; выглянула. Ох, удивительно! — старушка из дома напротив смотрела прямо на нее! Она укладывалась спать. И небо. Она-то думала, оно глянет на нее, сумрачное, важное, в своей прощальной красе, а оно серыми, бедненькими штрихами длилось среди мчащихся, тающих туч. Та, в доме напротив, укладывалась спать. До чего увлекательно следить за

старушкой, вот она пересекла комнату, вот подошла к окну. Видит или не видит? А рядом в гостиной еще шумят и хохочут, и до чего увлекательно следить, как старушка, одна-одинешенька, укладывается спать. Вот шторы задернула. Ударили часы. Тот молодой человек покончил с собой; но она не жалеет его; часы бьют — раз, два, три, — а она не жалеет его, хотя все продолжается. Вот! Старушка свет погасила! И дом погрузился во тьму, хотя все продолжается, повторила она снова, и всплыли слова: «Злого зноя не страшись». Надо вернуться. Но какой небывалый вечер! Чем-то она сродни ему — молодому человеку, который покончил с собой. Она рада, что он это сделал; взял и все выбросил, а они продолжают жить. Часы пробили. Свинцовые круги побежали по воздуху. Надо вернуться. Заняться гостями. Надо найти Салли и Питера. И она вышла из маленькой комнаты обратно в гостиную.

— Но где же Кларисса? — сказал Питер. Он сидел на кушетке рядом с Салли. (Не мог он после всего называть ее «леди Россетер».) — Куда подевалась эта женщина? — спросил он. — Где Кларисса?

Салли предположила, и Питер, в общем, тоже подумал, что среди гостей — люди влиятельные, политики, которых они оба знают только по газетным фотографиям, и Клариссе надо оказывать им внимание, их ублажать. Она с ними. И тем не менее Ричард не попал в Кабинет. Не очень-то он преуспел, а? — предположила Салли. Лично она газет почти не читает. Его имя мелькает иногда. Но ведь она — ну да, она ведет очень уединенную жизнь; в пустыне, сказала б Кларисса; среди крупных торговцев, фабрикантов, среди тех, кто кое-что производит. Сама она тоже кое-что сумела произвести!

— У меня пятеро сыновей! — сказала она.

Господи, Господи, до чего изменилась! Нега материнства; соответственный эгоизм. В последний

раз, Питер помнил, они виделись среди капустных грядок, при луне, и листья были «как нечищенная бронза», сказала она со своей этой поэтичностью; и она сорвала розу. Она таскала его взад-вперед в ту страшную ночь, после той сцены возле фонтана; ему еще надо было успеть на последний поезд. Господи, он ведь рыдал!

Старая его манера — открывать и закрывать нож, думала Салли, вечно он, когда волнуется, открывает и закрывает нож. Они страшно сдружились — она и Питер Уолш, когда он был влюблен в Клариссу и когда еще разразилась та безобразная, смехотворная сцена из-за того, что она назвала Ричарда Дэллоуэя «Уикэм». Ну подумаешь, ну назвала! Как Кларисса взвилась! И, собственно, они с тех пор толком не виделись, раз пять, может быть, за последние десять лет. А Питер Уолш уехал в Индию и — что-то такое она краем уха слыхала — неудачно женился, и неизвестно даже, есть у него дети или нет, а спросить неудобно, он изменился. Как-то усох. Но он стал мягче, она почувствовала, и он же очень, очень близкий ей человек, с ним связаны ее юные годы, у нее до сих пор сохранилась книжечка Эмили Бронте, которую он ей подарил, и ведь он собирался писать? В те времена он собирался писать.

— Написали что-нибудь? — спросила она, расправляя на колене крепкую красивую руку жестом, который он помнил.

— Ни словечка! — сказал Питер Уолш, и она расхохоталась.

Она сохранила привлекательность, яркость — Салли Сетон. Но кто такой этот ее Россетер? У него было две камелии в петлице в день свадьбы — вот и все, что удалось про него выведать Питеру. «У них сонмы слуг, многомильные оранжереи», — Кларисса писала; да, что-то в таком духе. Салли сказала с хохотом, что отпираться не станет.

— Да, у меня десять тысяч в год, — не то до налога, не то после, этого она не могла припомнить, потому что муж, — «с которым вам непре-

менно надо познакомиться», сказала она, «который вам непременно понравится», сказала она, снял с нее все заботы по части финансов.

А ведь Салли была бедна как церковная крыса. Она заложила перстень своего прадедушки, подарок Марии-Антуанетты, — так ведь? — чтоб добраться до Бортон.

О, как же, у Салли и сейчас хранится этот перстень с рубином, Мария-Антуанетта его подарила прадедушке. У нее в те времена вечно ветер свистел в кармане, и приходилось страшно изворачиваться, чтоб поехать в Бортон. Но ей было так важно ездить в Бортон — иначе она бы просто, наверное, свихнулась из-за домашнего ужаса. Но теперь все позади — все миновало, сказала она. И мистер Парри умер; а вот мисс Парри жива. Да, он просто ошеломлен, сказал Питер. Он совершенно был уверен, что она давно умерла. Ну а брак этот, предположила Салли, оказался удачным? И та красивая, уверенная девица, вон та, в розовом платье — ведь это Элизабет?

(Как тополь, как гиацинт, как река, думал Уилли Титком. О, до чего ей хотелось в деревню, на вольный простор! И Элизабет определенно расслышала, как воет бедняжка песик.)

— Ничуть не похожа на Клариссу, — сказал Питер Уолш.

— Ну, Кларисса... — сказала Салли.

Салли вот что хотела сказать. Она Клариссе страшно обязана. Они были настоящие подруги, не знакомые, а именно подруги, и она до сих пор помнит, как Кларисса, вся в белом, ходила по дому с охапкой цветов — по сей день табаки напоминают ей Бортон. Но — Питер ведь поймет? — ей чего-то не хватает. Спрашивается — чего? Она обаятельна; безумно обаятельна. Но, положив руку на сердце (Питер ведь ей старый друг, истинный друг, что значит разлука, что значит расстояние? Она сто раз собиралась ему написать, даже писала, но потом как-то рвала, но он ее, конечно, поймет, все и без слов понятно, вот мы чувствуем, напри-

мер, что стареем, да, стареем, сегодня она была в Итоне, навещала детей, там у них свинка), но, положив руку на сердце — как Кларисса могла? — как могла она выйти за Ричарда Дэллоуэя? За спортсмена, у которого одни собаки на уме. Буквально же, когда он входит в комнату, от него несет конюшней. Ну а это все? — и она помахала рукой.

Мимо шествовал Хью Уитбред, в белом жилете, толстый, непроницаемый, незрячий, не видящий ничего, кроме себя и собственных выгод.

— Он и не собирается нас узнавать, — сказала Салли, и она, честное слово, даже растерялась — Хью собственной персоной! Дивный Хью!

— А чем он занимается? — спросила она у Питера.

Питер ей объяснил, что он ваксит королевские штиблеты и считает бутылки в Виндзорском погребе. О, Питер не утратил своего остроумия! Но теперь-то Салли должна быть наконец откровенна, сказал Питер. Насчет этого знаменитого поцелуя.

А как же, в губы, заверила она. Вечером, в курительной. Она тут же в ярости бросилась к Клариссе. Кларисса говорила — Хью! Нет! Неужто! Дивный Хью! У него всегда были изумительной красоты носки, она таких больше ни на ком не видывала. И сейчас — каков туалет! А дети у него есть!

— У всех присутствующих по шестеро сыновей в Итоне, — сказал Питер, кроме него самого. У него, слава Богу, вообще никого. Ни сыновей, ни дочерей, ни жены. Но он как будто не сетует, сказала Салли. Выглядит он моложе нас всех, подумала она.

Во многих отношениях он сделал глупость, признался Питер, что так женился; «она совершеннейшая курица», он сказал, но, он сказал: «Мы очень славно пожили». Но как же это возможно, недоумевала Салли; что он имел в виду? И до чего же странно — знать его и не знать ничегошеньки о его жизни. И не из гордости ли он такое говорит?

Весьма вероятно, ведь, наверно, обидно (правда, он чудак, немножко не от мира сего), наверно, тяжело в таком возрасте не иметь пристанища, не иметь своего угла? Но он мог бы жить и жить у них — месяцами. Почему бы нет! Ему бы у них понравилось. За все эти годы Дэллоуэи к ним так и не выбрались. Они их сто раз приглашали. Кларисса (это, конечно, Кларисса) не захотела приехать. Потому что, сказала Салли, Кларисса в глубине души сноб — ничего не поделаешь, сноб. И Кларисса считает, что она сделала мезальянс, ведь ее муж — и она этим гордится — сын шахтера. Все, что есть у них, все абсолютно — он заработал своим горбом. Маленьким мальчиком (ее голос дрогнул) он таскал на себе тюки.

(И так могла она говорить часами, чувствовал Питер; сын шахтера; считают, что она сделала мезальянс; пятеро сыновей; и еще одна тема — цветы, гортензии, сирень, очень-очень редкие гибисковые лилии, они никогда не цветут северней Суэцкого канала, а у нее, при единственном садовнике, в пригороде Манчестера их целые клумбы, буквально целые клумбы! А Кларисса, не увлеченная материнством, всего этого избежала.)

Сноб? Да, кое в чем определено. Но куда она запропастилась? Поздно уже.

— Да, — сказала Салли, — но когда я узнала, что у Клариссы прием, я поняла, что мне просто нельзя не пойти, просто необходимо взглянуть на нее (а я остановилась тут на Виктория-стрит, буквально рядом). Вот и нагрянула без приглашения. Но объясните, — шепнула она, — умоляю. Это кто?

Это миссис Хилбери искала дверь. Ведь было немислимо поздно! Но когда поздно, лепетала она, когда все расходятся, тут-то и замечаешь друзей; и уютные уголки; и прелестные виды. Интересно, известно ли им, спрашивала она, что вокруг очарованный сад? Огни, деревья, сияющие озера и дивное небо. А всего-то, Кларисса Дэллоуэй объяснила, несколько китайских фонариков во дворе! Просто волшебница! Настоящий парк... И ей не-

известны их имена, но они ей, конечно, друзья, а друзья без имен и песни без слов нам милее всего. Однако такая бездна дверей, столько комнат, она просто заблудилась.

— Старая миссис Хилбери, — сказал Питер; а это кто? Та дама, что весь вечер простояла возле занавеса, не сказавши ни слова? Лицо у нее знакомое; что-то связано с Бортоном. Не она ли это вечно кроила белье за столиком возле окна? Дэвидсон — так, кажется?

— А-а, это Элли Хендерсон, — сказала Салли. Кларисса с ней всегда круто обходилась. Она ей кузина и очень бедна. Кларисса умеет круто обойтись с человеком.

Да, сказал Питер, безусловно. И все же, сказала Салли с той порывистостью, которую Питер в ней когда-то любил, а теперь чуть побаивался из-за ее склонности к излишням, — как Кларисса умеет быть великодушной к друзьям! И это редкое качество, и когда она просыпается ночью или на Рождество перечисляет все выпавшие ей дары, она всегда эту дружбу ставит на первое место. Они были молоды — вот. Кларисса искренна — вот. Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна — действительно. Потому что она поняла: единственное, о чем надо говорить, — наши чувства. Все эти умничания — вздор. Просто что чувствуешь, то и надо говорить.

— Но я и сам не знаю, — сказал Питер Уолш, — что я чувствую.

Бедный Питер, думала Салли. Почему Кларисса не выбрала времени с ними посидеть? Он весь вечер об этом мечтал. Он только о Клариссе и думал. Она чувствовала. И он все время играл перочинным ножом.

Жизнь не простая штука, сказал Питер. Отношения его с Клариссой были непросты. Они ему испортили жизнь, сказал он. (Он был так откровенен тогда с Салли Сетон, теперь-то смешно уж таиться.) Дважды любить невозможно, сказал он.

Что тут ответишь? Все-таки лучше знать, что любовь была (но он сочтет ее сентиментальной, он всегда был суров). Лучше б он приехал и пожил у них в Манчестере. Совершенно верно, сказал он. Совершенно верно. Он с удовольствием у них погостит, вот только разделается с хлопотами в Лондоне.

А ведь Клариссе он нравился больше, чем Ричард. Салли просто не сомневается.

— Нет, нет, нет! — сказал Питер (Салли не следовало так говорить, это уж слишком). Вон этот добрый малый — в дальнем углу гостиной, разглагольствует, все тот же — милый старина Ричард. С кем это он, допытывалась Салли, такой почтенный, благородный господин? От этой жизни в пустыне у нее разыгралось страшное любопытство к новым лицам. Но Питер не смог ей ответить. У него этот господин, он сказал, совершенно не вызывал восторга; министр, надо думать, какой-нибудь. Ричард из них всех, он сказал, вероятно, лучший, самый бескорыстный, вероятно.

— А чем он занимается? — интересовалась Салли. Общественной деятельностью, предполагала она. И счастливы ли они? (Сама-то она счастлива безмерно.) Ведь ей про них, в сущности, ничего неизвестно, допускала она, и судит она поверхностно, ибо что мы знаем даже о тех, с кем живем бок о бок, спрашивала Салли. В сущности, все мы узники, не правда ли? Она недавно прочла дивную пьесу про человека, который царапал по стене в камере, и так это жизненно — все мы, в сущности, царапаем по стене. Отчаявшись в человеческих отношениях (с людьми до того трудно), она часто уходит в сад и среди цветов обретает покой, которого люди ей дать не могут. Ну уж нет; он-то капусту не любит; ему больше нравятся люди, сказал Питер. Правда, до чего хороши молодые, сказала Салли, глядя на Элизабет, проходящую по гостиной. Как непохожа на Клариссу в ее возрасте! Может он в ней хоть что-то понять? Она рта не раскрывает. Да, действительно, соглашался Питер,

он пока мало что понял. Она похожа на лилию, сказала Салли. На лилию у края пруда. Только Питер не мог с ней согласиться, что мы ничего не знаем. Мы знаем все, говорил он; сам он, по крайней мере, знает все.

Ну а эти двое, шепнула Салли, которые уходят (сама она тоже скоро отправится, если еще долго не будет Клариссы), этот господин благородного вида и его простоватая жена, которые только что говорили с Ричардом, — что можно знать про таких людей?

— Что они отъявленные мошенники, — сказал Питер, глянув на них мельком. Он рассмешил Салли.

Сэр Уильям Брэдшоу, однако, задержался в дверях, разглядывая гравюру. Он поискал в уголке имя гравера. Жена поискала тоже. Сэр Уильям Брэдшоу весьма интересовался искусством.

Когда ты молод, сказал Питер, ты стремишься узнать людей. А теперь, когда ты стар, точней, когда тебе пятьдесят два года (Салли исполнилось пятьдесят пять, — на самом деле, сказала она, — но душа у нее как у двадцатилетней девчонки); словом, когда ты достиг зрелости, сказал Питер, ты уже умеешь видеть и понимать, но не теряешь способности чувствовать. А ведь правда, сказала Салли. Она с каждым годом чувствует все глубже, сильнее. Чувства растут, сказал он, к сожалению, быть может; но этому трудно не радоваться. По его личному опыту — чувства только растут. У него кто-то остался в Индии. Ему бы хотелось рассказать о ней Салли. Ему бы хотелось их познакомить. Она замужем, сказал он. У нее двое маленьких детей. Им всем надо непременно приехать в Манчестер, сказала Салли. Она его не отпустит, куда он ей этого не пообещает.

— Вот Элизабет, — сказал он. — Она и половины не чувствует того, что чувствуем мы.

— И все же, — сказала Салли, следя за тем, как Элизабет подходит к отцу, — видно, что они друг к другу очень привязаны. — Она это поняла по тому, как Элизабет подходила к отцу.

А отец смотрел на нее, когда разговаривал с сэром Уильямом и леди Брэдшоу, и он думал: кто эта прелестная девушка? И вдруг он понял, что это его Элизабет, а он ее не узнал, такую прелестную в розовом платье! Элизабет почувствовала на себе его взгляд, когда разговаривала с Уилли Титкомом. И она подошла к нему, и они стояли рядом, и прием почти кончился, и все расходились, и был сор на полу. Элли Хендерсон и та собиралась уходить, чуть ли не самой последней, хотя с нею за весь вечер слова никто не сказал, но ей все-все надо было увидеть, чтоб потом рассказать Эдит. И Ричард с Элизабет, в общем-то, радовались, что кончился прием, но Ричард гордился дочерью. И он не собирался ей говорить, но не удержался. Он смотрел на нее, он сказал, и думал: «Кто эта прелестная девушка?» И это, оказывается, его дочь! И Элизабет была очень-очень рада. Если б только бедный песик не был!

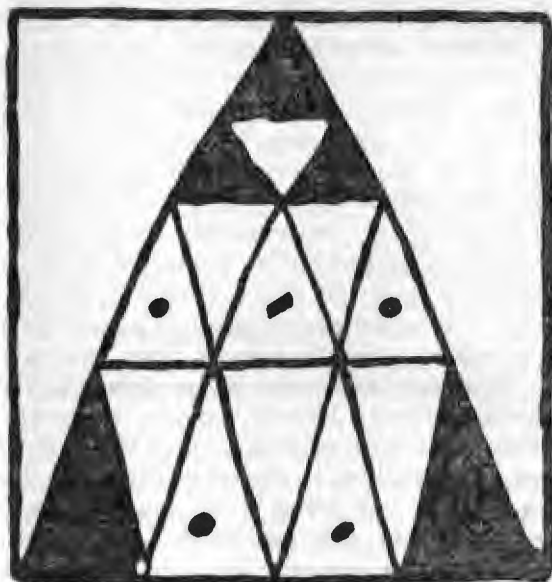
— Ричард лучше стал, вы правы, — сказала Салли. — Пойду поговорю с ним. Пожелаю ему спокойной ночи. Что такое мозги, — сказала леди Россетер, вставая, — в сравнении с сердцем?

— Я тоже пойду, — сказал Питер, и он еще на минуту остался сидеть. Но отчего этот страх? И блаженство? — думал он. Что меня повергает в такое смятение?

Это Кларисса, решил он про себя.

И он увидел ее.

НА МАЯК



GRAM-ASC

TO THE LIGHTHOUSE
1927





I. У ОКНА

1

— Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придется пораньше, — прибавила она.

Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена, и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот, после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежа уже в свои шесть лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальства тронута тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога Офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник отправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск поседевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев — все это различалось и преобразалось у него в голове, уже с помощью кода и тайнописи, тогда как воплощенная суровость на вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением

ножниц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен.

— Да, но только, — сказал его отец, остановясь под окном гостиной, — погода будет плохая.

Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был неспособен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямился и маленькими сощуренными голубыми глазами обшаривал горизонт), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки.

— Но погода еще, может быть, будет хорошая — я надеюсь, она будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи и несколько нервно дернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтраму, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки зрителю для сынишки с туберкулезом бедра; прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то без толку, дом захламляет, и отправит беднягам, которым, наверное, до смерти надоело день-деньской только и делать, что начищать фонарь, поправлять фитиль и копошиться в крохотном садике — пусть хоть немного порадуются. Да, вот каково это — месяц, а то и дольше быть

отрезанным на скале с теннисную площадку размером? Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души; женатому – не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки-ноги переломали; день за днем смотреть на пустые волны, а когда поднимается буря – все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь, и башню качает, и носа наружу не высунешь, не то тебя смоем. Вот какво это? Как бы вам такое понравилось? – спрашивала она, адресуясь, в основном, к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь.

– Резко западный ветер, – сказал атеист Тэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе, и, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, иными словами, самый что ни на есть неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи, миссис Рэмзи не отрицала; и что за манера соваться, вконец огорчать Джеймса; но все равно она его не даст им в обиду. «Атеист». Тоже – прозвище. «Атеистишка». Роза его дразнит; Пру дразнит; Эндрю, Джеспер, Роджер – все его дразнят; даже Таксик, старикашка без единого зуба, и тот его ткнул за то (по заключению Нэнси), что он сто десятый молодой человек из тех, кто погнался за ними вслед до самых Гебридов, а ведь как бы славно побыть тут одним.

– Вздор, – очень строго сказала миссис Рэмзи. И дело даже не в склонности к преувеличениям, которая у детей от нее, и не в намеке (справедливом, конечно) на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке, но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны, как церковная крыса, «способностей необыкновенных», муж говорил; от души ему преданы и приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему – за рыцарство, доблесть, за то,

что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщине просто не может не льстить — такое доверчивое, мальчишеское, почтительное; которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя; и беда той девушке — не дай Бог такого кому-нибудь из ее дочерей, — которая этого не оценит и не почувствует нутром, что за этим стоит.

Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнался. Его пригласили.

Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои пятьдесят, она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться: муж; деньги; его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть — нет, никогда ни на секунду она не пожалела о взятом решении; не избегала трудностей; не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный, и дочки — Пру, Нэнси, Роза, — подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тэнсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее; возможно, в Париже; повольтоней; не в вечных хлопотах о ком-то; потому что поклонение, рыцарство, Британский Банк, Индийская империя, перстни, жабо в кружевах — были, честно сказать, у них под сомнением, хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности и заставляло, сидя за столом под взором матери, уважать ее странную строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости (так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает), когда она строго их одернула из-за несчастного атеистишки, который погнался за ними — или, если точнее сказать, — был приглашен погостить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка нельзя будет высадиться, — сказал Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя

под окном рядом с ее мужем. В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое; пусть бы продолжали беседовать. Она на него посмотрела. Жалкий экземпляр, говорили дети, сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет; горбится; шаркает. Злая ехидна, — говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно — вечно взад-вперед прогуливаться с мистером Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто «блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен», кто несомненно «одареннейший человек в Бейллиоле»¹, кто покамест прозябает в Бедфорде² или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его Прологомены³ (мистер Тэнсли захватил с собою первые страницы машинописи на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть) к какой-то области математики или философии будут опубликованы.

Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала насчет «несусветных волн». «Да, — сказал Чарльз Тэнсли, — море несколько неспокойно». — «Вы промокли насквозь, не правда ли?» — сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», — отвечал мистер Тэнсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав.

Но, дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности; не в повадке. В нем самом — в его понятиях. О чем ни заговоришь — об интересном, о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно, мол, теплый вечер, и почему бы не погулять, Чарльз Тэнсли, — вот что несносно, — пока как-то так не передернет, не сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать — он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, — они

¹ Один из известнейших колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 г. (основатель — Джон Бейллиол)

² Женский колледж Лондонского университета.

³ Введение (вошедшее в научный обиход слово греческого происхождения).

говорили, — как тебе нравится его галстук. А уж какое там нравится, — прибавляла Роза.

Крадучись, как холостяки после званого обеда, сразу после еды восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям в доме, где иначе ничего не обсудишь тишком: галстуки мистера Тэнсли; прохожденье реформы; морских птиц; бабочек; ближних; а солнце меж тем затопляло мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался, и рыданье юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, этюдники, мошек, черепа мелких птиц, и выманивало запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купанья вместе с песком полотенец.

Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки, — куда от них денешься, да только уж зачем с ранних лет, — огорчалась миссис Рэмзи. До чего они непримиримы — ее дети. Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред — сочинять несоответствия, когда, слава Богу, и без того никакой гармонии нет. В жизни хватает, очень даже хватает настоящих несоответствий, — думала миссис Рэмзи, остановясь в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных; высокое и низкое происхождение; и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности; ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифического итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиним в девятнадцатом веке, умели так сладостно ворковать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них? Не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок; но сейчас ее больше волновало другое — богатство и бедность, то, что она видела собственными своими глазами, еженедельно, ежедневно, здесь в Лондоне, когда посещала то вдову, то

загнанную мать — сама, с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалованья и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манером из обычной женщины, занимающейся филантропией (примочка к больной совести, средство для утешения любопытства), сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко — исследователем социальных проблем.

Вопросы это неразрешимые, — так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за нею следом в гостиную, — молодой человек, над которым все потешались; стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем — она знала, не оборачиваясь. Все они ушли — ее дети; Минта Дойл и Пол Рэйли; Август Кармайкл; ее муж, — все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала:

— Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тэнсли?

У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть. И через десять минут она явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, огибая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза (и, как в кошачьих глазах, в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства), не надо ли ему чего.

Они затеяли грандиозную вылазку, — сказала она смеясь. Отправляются в город. «Марок, бумаги, табак?» — предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угожденья (она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала), но не мог пробиться сквозь серо-зеленую сонь, которая все обволакивала, отнимая слова, летаргией сплошного доброжелатель-

ства; весь дом; весь свет; всех на свете, — потому что за ленчем он накапал-таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко канареечные разводы на бороде и усах, собственно, белых, как лунь. Ему ничего не нужно, — бормотнул он.

Из него бы вышел великий философ, — говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбацкий поселок, — но он неудачно женился. — Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас, за углом кого-то встретит, она рассказывала; история с одной девицей в Оксфорде; ранний брак; бедность; потом он поехал в Индию; немного переводил стихи, «кажется, дивно», брался обучать мальчишек персидскому, не то индустани, но кому это нужно? — и вот, пожалуйста, как они видели, — на травке лежит.

Он был польщен; его обидели, и теперь его утешало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тэнсли воспрял духом. И, намекнув на величие мужского ума даже в упадке и на то, что жены должны — (против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется) — все подчинять трудам и заботам мужей, она вселила в него еще неизведанное самоуважение, и он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? Нет, нет, — сказала она, — уж это она всегда сама носит. Да, конечно. Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колеи, неизвестно, почему. Ему хотелось, чтоб она увидела его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство — все было ему нипочем, — но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись: ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, — покуда полстены не закрыла цирковая афиша; сто наездников; двадцать ученых моржей; львы, тигры...

Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут «впервые показаны в нашем городе». Но это же опасно, вскрикнула она, нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу — два года назад ему отхватило косилкой левую руку.

— Все давайте пойдём! — вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость.

— Давайте пойдём, — повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выгалкивал, что ее покорило. «Пойдемте в цирк!» Нет, не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. Отчего? — гадала она. Что с ним такое? Он в эту минуту ужасно ей нравился. Разве их в детстве не водили в цирк? — спросила она. — Ни разу, — выпалил он, будто только и дожидался ее вопроса; будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не водили в цирк. Семья у них была большая, восемь человек детей, отец — простой труженик. «Мой отец аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку». Сам он тринадцати лет себя содержит. Не одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог «соответствовать оказываемому гостеприимству» (так выморочно он выразился) у себя в колледже; вещи носит вдвое дольше, чем все; курит самый дешевый табак; махорку; вот как старые бродяги на пристани; работает, как вол — по семи часов в день; его тема — влияние кого-то на что-то — они машагали быстро, и миссис Рэмзи уже не хватывала смысла, только отдельные слова... диссертация... кафедра... лекция... оппоненты... Она слушала вполуха противный академический волапюк, поехавший, как по маслу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из равновесья, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, матер; и уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили; надо все рассказать Пру. Приятней всего ему, наверно, было бы потом

рассказывать, как Рэмзи его водили на Ибсена. Он жуткий сноб, это да, и нудный донельзя. Вот они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по бульжнику тачки, а он все говорил, говорил: про преподаванье, призванье, простых тружеников, и что наш долг «помогать своему классу», про лекции — и она поняла, что он совершенно оправился, о цирке забыл и собирается (и опять он ужасно ей нравился) сказать ей... — но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную, перед ними раскинулась бухта, и миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула: «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды; и маяк стоял посредине седой, неприступный и дальний; а направо, насколько хватал глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные дюны в колтунной траве бежали-бежали в необитаемые лунные страны.

Этот вид, сказала она, останавливаясь, и глаза у нее потемнели, страшно любит ее муж.

На минуту она замолкла. А-а, сказала она потом, тут уже художники... В самом деле, всего в нескольких шагах стоял один, в панаме, желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный, и — изучаемый стайкой мальчишек — с выраженьем глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии всматривался в даль и, всмотревшись, склонялся; погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор как тут три года назад побывал мистер Понсфурт, все картины — такие, сказала она, — зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу.

А вот друзья ее бабушки, сказала она, скопировали украдкой взгляд на ходу, — те из кожи вон лезли; сами краски растирали; потом грунтовали, и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохла.

Значит, заключал мистер Тэнсли, она хочет сказать, что картина у этого типа никчемная? В таком духе? Краски негодные? В таком духе? Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось

во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он, на набережной, собирался ей рассказать о себе все, — он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно.

Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела, ждал, пока она на минуточку заглянет вверх, проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги; звонкий, потом матовый голос; разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики; нервничал; старательно предвкушал обратный путь; решал непременно отобрать у нее сумку; слушал, как она вышла; закрыла дверь; сказала, что окна надо держать открытыми, двери — закрытыми, и если что — пусть сразу к ней (кажется, обращалась к ребенку) — и тут она вошла, мгновенье стояла молча (будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть), мгновенье стояла, застыв под Королевой Викторией в синей перевязи Ордена Подвязки; и вдруг он понял, что это — вот оно, вот: в жизни еще он не видел никого, так дивно прекрасного.

Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах; и фиалки, и цикламены — ну что, ей-богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум пятьдесят; у нее восемь человек детей; ломкие ветки прижимая к груди и заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам; звезды в ее глазах, в волосах ее — ветер... Он взял у нее сумку.

— До свиданья, Элси, — сказала она, и они пошли по улице, и она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то встретит сейчас за углом, а Чарльз Тэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость; человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее; уронил руки вдоль тела и смотрел на нее; Чарльз Тэнсли чувствовал невероятную гордость; чувствовал ветер, и фиалки, и цикламены, потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел овладеть ее сумкой.

— Ехать на маяк не придется, Джеймс, — сказал он, стоя под окном, и сказал так противно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства.

Противный молокосос, думала миссис Рэмзи, и как ему не надоест.

— Вот ты завтра проснешься, и еще окажется — солнышко светит, птички поют, — сказала она ласково и погладила мальчика по голове, потому что муж, она видела, своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно, и потом — уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, так нет же, противному молокососу надо снова и снова совать ему это в нос.

— Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, — сказала она и погладила его по головке.

Теперь только и оставалось восхищаться ледником и листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку, такое что-нибудь с ручками, зубчиками, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа; скажет он — будет дождь; и они уже сразу: разразится страшная буря.

Но вот она перевернула страницу и вдруг преврала поиски косилки и грабель. Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки и убеждавшее в том (хоть слов она не разбирала, сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют, — этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки — шлепки бит по мячам, выкрики: «Сколько? Сколько?» с крикетной площадки, — звук этот вдруг оборвался; и рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям или, когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельной

в исполнении природы: «Я опора твоя, я защита твоя», но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал, но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров ведь оседает, того гляди его проглотит море, предупреждал посреди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга — вот этот-то звук, затененный было и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши, и она вздрогнула и вскинула взгляд.

Они уже не разговаривали; вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств, с любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства она заключила, что бедняжку Чарльза Тэнсли отставили. А это уж не ее забота. Если мужу нужны жертвы (о, еще как нужны!), она ему с удовольствием жертвует Чарльза Тэнсли, который обидел ее бедного мальчика:

Она еще мгновенье вслушивалась, подняв голову, ловя привычный, ровный, механический звук; и вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив, со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песне и карканью, и тотчас она успокоилась, убедясь, что все идет хорошо, и глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать, только если будет очень стараться.

Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы:

Под ярый снарядов вой!¹

ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. Только одна Лили Бриско, убедилась она с удовольствием; ну, это ничего. Но, глянув на девушку, стоявшую у края лужка с мольбертом, она вспомнила: ей же надо по возможности не вертеть головой — ради

¹ Строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады».

картины Лили. Картина Лили! Миссис Рэмзи усмехнулась. С этими своими китайскими глазками и личиком с кулачок замуж ей не выйти; картины ее нельзя принимать всерьез; но она такая независимая, бедняжка, миссис Рэмзи это в ней страшно ценила, и, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.

4

Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя: «Смело кидаясь в бой!»¹, но, слава Богу, рывком повернул и галопом помчался прочь, славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы. Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но покуда он этак вопит и размахивает, можно не опасаться; он не остановится, не устанет на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот в напряжении всех чувств вглядываясь, впитывая, покуда цвет стены и лепящегося к ней ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился; но почему-то по шагам угадала, что это Уильям Бэнкс, и хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же (как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тэнсли, Пол Рэйли, Минта Дойл, да кто угодно, в сущности) не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом.

Они квартировали в деревне и, входя, выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это сближало; так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом (он ей и отцы годился, ботаник, вдовец, пахнул мылом, тинкой щепетильный и чистый), она тоже осталась

¹ Строка из того же стихотворения Теннисона.

спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинирована, до завтрака уже уходит с мольбертом, одна, надо думать: вероятно, бедна, и хоть, что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной, розовой мисс Доил, зато у нее голова на плечах, а это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несся на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла.

Кто-то ошибся!¹

Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну. Потому-то, решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс, верно, и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись. Но не без труда она оторвала глаза от картины.

Ломонос был неистово фиолетовым; стена — слепяще белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть — и куда что девалось. В этот-то зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать и, борясь с задачей, она себя подбадривала; повторяла: «Да, так я вижу; так вижу» и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которое злые силы всю у

¹ Из того же стихотворения.

нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, на нее, холодея, отрезвляя, накатывало другое: бездарь, ни на что не годна, отца держит на Бромптон-роуд, на задворках, — и неимоверных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи (слава Богу, не бросилась пока) и сказать — но что же ей скажешь? «Я вас люблю»? Но это неправда. «Я люблю это все», жестом очерчивая изгородь, дом, детей? Глупость, чушь несусветная. То что чувствуешь — невозможно словами сказать.

И она сложила кисти в этюдник, аккуратно, одну к одной, и сказала Уильяму Бэнксу:

— Вдруг холодно стало. Солнце, что ли, больше не греет? — сказала она, озираясь, и солнце светило достаточно ярко, сочно зеленела трава, дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи роняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом, мимо теннисного корта, куртины, к тому проему в густой изгороди, охраняемому двумя пучками тритом — пламенеющих лилий, в который синие воды бухты глянули синей, чем всегда.

Их что-то тянуло сюда каждый вечер. Будто вода пускала вплавь мысли, застоившиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом охлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через миг оторопеть и застыть от колющей черноты взъерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер, через неравные промежутки, так что ждешь его — не дождешься, и всегда наконец ему радуешься, белый взлетал фонтан, и пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивают бледную излучину побережья перламутровой паволокой.

Так стоя, оба они улыбались. Обоим было весело, обоих бодрили бегущие волны; и бег парусника, который устремленно очерчивал по бухте

дугу; вот застыл; дрогнул; убрал парус; и, естественно, стремясь к завершению картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны, и вместо веселья нашла на них грусть — то ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали (думала Лили) словно на миллионы лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю.

Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи; думал про деревенскую улицу в Уэст-морленде, и Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано, Уильям Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, простиершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно», и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и, как тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Ему это было важно установить, ради дружбы, а еще, возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел, Рэмзи ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен — ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи (по-своему великого человека), но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся впиталась в пыль Уэст-морленда, когда курица распростерла крылья над своим выводком; после чего Рэмзи женился, их пути разошлись, и винить тут решительно не-

кого, если при встречах появилась тенденция повторяться.

Да. Вот так-то. Он замолчал. Повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем, по въездной аллее, перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тела дружбы, со всей аlostью губ погребенной в торфянике, — например Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по откоосу. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела «дать дяде цветочек», как ни уговаривала няня. Нет! Нет! Нет! Ни за что. Сжимала кулачок. Топала ножкой. И мистер Бэнкс себя почувствовал старым, ему стало грустно, вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел.

Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. Восемь человек детей! Восьмерых детей прокормить на философии! Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо, птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично потрянув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят (правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кой-какие независимые средства), не говоря уж о бесконечных обновлениях, которые всем этим «бравым ребятам» — рослым, буйным сорванцам — требуются ежедневно. Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев: Кэм Непослушная, Джеймс Беспощадный, Эндрю Справедливый, Пру Красивая — ведь Пру должна быть красивой, куда она денется, а Эндрю — умным. Пока он шел по въездной аллее и Лили Бриско отвечала «да» или «нет» и все его оценки побивала единственным козырем (она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир), он взвешивал положение Рэмзи, соболезнавал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нимб отрешенности и аскетизма, его окружавший в

юности, и распротерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что дали; кто спорит; Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия; но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как, интересно, на свежий глаз? Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек? Крайностей, даже, пожалуй, слабостей? Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться — ну, положим, это чересчур сильно сказано, — так зависеть от чужих похвал?

— И все же, — сказала Лили. — Подумайте о его работе!

Когда сама она «думала о его работе», всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. Это все Эндрю. Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект и природа реального», — сказал Эндрю. И на ее: «О, Господи, да как же это понять?» — «Вообразите кухонный стол, — сказал он, — когда вас нет на кухне».

И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганый стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И болезненным усилием воли она себя заставила сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганого, в глазках и прожилках стола, из тех, что словно кичатся своей прямоотой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими четырьмя, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и промениваешь дивные вечера, оправленные фламинговым пушком облаков, серебром и синью, на белый сосновый стол о четырех ножках (чем и заняты изошреннейшие умы), тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой.

Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила «подумать о его работе». Он про это думает, очень думает. «Буквально без конца, — сказал он. — Рэмзи один из тех, кто лучшую свою работу пишет до сорока». Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего двадцать пять; последующее — лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, — все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристрастный. И, словно двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений, все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это — первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это — второе. Ее пригвоздило острою догадки; да это же строгость; и доброта. Я безмерно вас чту (говорила она без слов), вы не тщеславны; внутренне независимы; вы благородней мистера Рэмзи; вы благороднее всех, кого доводилось мне знать; у вас ни жены, ни детей (она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем), вы посвятили жизнь науке (к сожалению, перед глазами у нее всплыли разрезанные картофелины); от похвал бы вас только коробило; великодушный, чистосердечный, возвышенный человек! Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея; сгонял с кресел собак; нудно распространялся (покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью) о растительных солях и прегрешениях английских кухарок.

Как же все это согласить? Как судить о людях, как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить — один мне нравится, другой не нравится? Да и что в конце-то концов означают эти слова? Она стояла, пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш, и голос, ее собственный голос, без подсказки про-

возглашал непререкаемое, безусловное, спорное-даже трещины и складки коры припечатывая навеки. В вас есть величие, в мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен; он избалован; тиран; он страшно изводит миссис Рэмзи; но в нем есть кое-что, чего в вас (она адресовалась к мистеру Бэнксу) нет как нет; он отрешен до безумия; отмечает мелочи; он любит детей и собак. У него восемь человек детей. У вас — никого. Но как он недавно предстал в двух плащах перед миссис Рэмзи, требуя, чтоб она соорудила ему прическу в виде формы для пудинга? Все это пружинило вверх-вниз, вверх-вниз в голове Лили Бриско: как рой мечущихся, каждая сама по себе, но охваченных невидимой сеткой мошек; натекало сквозь ветви груши, в развилке которой еще витал образ струганого стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи; мелькало, мелькало, пока не лопнуло от напряжения; ей полегчало; совсем рядом грянул выстрел; и прочь от его раскатов метнулась стайка всполошенных скворцов.

— Джеспер, — сказал мистер Бэнкс. И, потянувшись за сметенным лётom улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое:

— Кто-то ошибся!

Глаза, заволоченные волнением, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами, и в них затлелось узнавание; но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд; словно он умолял их секунду повременить с тем, что, он знал, неизбежно; словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошеное вторжение, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства, нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, как хлопнул у них перед носом дверью; и Лили Бриско и мистер

Бэнкс, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, пустившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.

5

— Даже если завтра погода и будет плохая, — сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, — так в другой раз будет хорошая. А теперь, — сказала она, решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина, — а теперь встань-ка, я твою ножку измерю. (Потому что, может, они еще выберутся на маяк и ей надо взглянуть, не следует ли чуть надвизать чулок.)

Нежно улыбаясь своей восхитительной мысли — Уильям и Лили непременно должны пожениться, — она взяла чулок из пестрой шерсти, крест-накрест по устью запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге.

— Стой тихонько, детка, — сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки зрителя и нарочно вертелся; ну и как же ей в таком случае разобраться — длинно ли, коротко ли, — спрашивала она.

Она подняла глаза — и что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? — увидела гостиную, увидела кресла, — жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу; верно Эндрю на днях выразился; ну а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухе и он буквально насквозь промокает? Ничего: зато он снимается за бесценно; дети его обожают; и мужу полезно очутиться за тридевять земель, а точнее, за триста миль от библиотек, от учеников и от лекций; и для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне, — здесь получали права; ну, кой-какие фотографии

и, разумеется, книги. Книги, она подумала, размножаются почкованием. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох. Даже уж книги, поднесенные ей, надписанные собственноручно поэтом: «Той, чья участь повелевать...» «Более удачливой Елене наших дней»... стыдно сказать, она ведь их не открыла. И Крума «О разуме», и Бэйтса «Обычаи дикарей Полинезии» (Стой тихо, детка! — сказала она) тоже ведь не пошлешь на маяк. Рано или поздно, подумала она, дом захиреет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в комнаты весь пляж — и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать, и если Джеспер считает, что из водорослей получается суп, — тут тоже никуда не денешься; у Розы — свое: тростники, камни, ракушки; они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате, вздохнула она, окидывая гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса, — дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает; отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настежь и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов, — что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины — что толку? Через две недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери; буквально все настежь. Она вслушалась. В гостиной открыто; в прихожей открыто; так и есть — небось и в спальнях открыто; и уж, конечно, открыто окно на лестнице, его-то она открыла сама. Окна надо открывать, двери закрывать, кажется, просто, неужели так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных, там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки, ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух, а дома у них, она сказала, «горы-то какие красивые». Так она сказала вчера вечером, заплаканная, возле окна. «Горы-то у нас какие красивые». У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала (как стелится постель, как

открывается окно, на французский манер расправляя пальцы), а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то, как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья, и стальное сверканье их синевы перетекает в сдержанную любовь. Она стояла и молчала, ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это — как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, — она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу:

— Стой тихо. Не балуйся, — и он тотчас понял, что она сердится не на шутку, вытянул ногу, и она ее смерила.

Чулок был короток по крайней мере на полтора сантиметра, даже делая скидку на то, что сынишка Сорли и менее рослый, чем Джеймс.

— Коротко, — сказала она. — И намного.

Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скопилась слеза; скатилась слеза; воды качнулись, — сглотнули ее, затихли. Никто никогда не глядел так печально.

Но быть может, — люди говорили, — все дело в ее внешности? Что за этим — за красотой, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы — тот, другой, прежний, о котором ходили слухи? Или — и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которой ничем не испортить? Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах, растоптанной любви, вставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники, прямодушие научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать и парить и пикировать прямо на истину, — а это

захватывает; это поддерживает и дарит надежду — обманную, быть может.

«У природы немного той глины, — как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего ему объясняла расписание поездов, — из какой она лепила вас»¹. Он ее представлял себе на том конце провода, — гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость — с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грации сошлись на лугах асфоделей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет Юстонским, в десять тридцать.

— Но она не больше ребенка печется о своей красоте, — сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя кабинет, чтоб взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И, наблюдая суету среди недостроенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно, он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное; она нахлобучивает войлочную шляпу; несется в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое (они покамест грузили кирпич на носилки) и его приплюсовывать к общей картине; а если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность; предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, словно ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют, а ей хочется быть как все — незаметной. Непонятно. Непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол.

Снова принимаясь за толстый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, брошенной на золоченую раму, и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минутную резкость, взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб.

— Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать, — сказала она.

¹ Стихотворные строки из романа английского писателя Л. А. Пикока (1785–1866) «Хедлонг Холл».

Но что случилось?

Кто-то ошибся.

Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что что-то случилось, кто-то ошибся. Господи Боже, да что ж там такое?

Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти — погибла, рассеялась. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды — Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.

Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым непроверяемым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие, она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенесла на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой манишке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, подняв глаза на опять проходящего мимо мужа, она с облегчением убедилась, что беда миновала; победила прирученность; вновь завела свой баюкающий напев привычка; а потому, когда на повороте он намеренно остановился возле окна и шутиливо нагнулся — пощекотать голую ногу Джеймса каким-то там прутиком, она ему попеняла, что спугнул «бедного юношу Чарльза Тэнсли». Тэнсли надо писать диссертацию, — сказал он.

— Джеймсу в свое время тоже придется писать диссертацию, — сказал он с ухмылкой, орудуя прутиком.

Джеймс ненавидел отца и оттолкнул этот прутик, которым в обычной своей манере — смесь серьезности и дурачества — он щекотал ногу младшему сыну.

Она вот хочет покончить с этим нудным чулком, чтоб уж послать его завтра сынишке Сорли, — сказала миссис Рэмзи.

Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк, — раздраженно отрезал мистер Рэмзи.

Откуда ему это известно? — спросила она. — Ветер ведь меняется часто.

Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбыточные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. «Фу-ты, черт!» — сказал он ей. Но что она такого сказала? Только — что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет.

Нет, если барометр падает и резко западный ветер.

Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показали ей таким чудовищным попранием всех человеческих правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонилась голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну, что на такое сказать?

Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он сказал наконец, что готов пойти, расспросить береговую охрану, если угодно.

Никого она так не чтит, как чтит его.

Ей и его слова вполне довольно, — сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают,

поминутно к ней прибегают, естественно, — за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно, дети растут; часто ей кажется — она просто-напросто губка, напитанная чужими чувствами. И вот он говорит: «Фу-ты, черт!» Он говорит — будет дождь; говорит — дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не чтит. Она знала — она недостойна развязать ремень обуви его.

Уже стыдясь собственной вспышки и того, как размахивал он руками, несясь во главе рати, мистер Рэмзи, довольно глупо, ткнул напоследок голую ногу сына и, словно получив разрешение жены (и до смешного ей напомнив тюленя в Зоологическом саду, когда, заглотнув свою рыбу, тот плюхнется прочь, расколыхав всю воду в бассейне), он нырнул в линияющий вечер, который лишал уже объемности листья, изгороди и, словно взамен, одевал гвоздики и розы сиянием, какого в них не было днем.

— Кто-то ошибся, — сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.

Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским деньком поет не о том»¹ будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «Кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил, — умолк.

Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне и, как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собст-

¹ Из детских стишков.

венно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешенье проблемы, которая поглощала все силы его блистательного ума.

Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, — его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, оставаясь на минутку подле урны с геранями, он увидел — уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, — жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо — а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добратся хотя бы до Р — это уже кое-что. П он достиг. Тут он окупался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р... Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараньему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. «Значит, Р...» Он подобрался, напрягся.

Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды — выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, — пришли к нему на выручку. Значит, Р... да, так что же такое Р?

Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, — он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р...

· Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе — снова пришли к нему на выручку.

Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь — не хочешь, — древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны — неустанные, свехупорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой — одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы — гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем — завяз на П. Ну, так вперед — к Р.

Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра — такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.

Он застыл подле урны со стекающими геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он — не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну, а славы его — надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет? (Иронически

адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди.) В самом деле — что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну, а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот — в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.

Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размышлял на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив, и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключенья? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадует, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва; подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединенья, и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову — кто его упрекнет, если он склоняется перед красою вселенной?¹.

¹ «Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! Краса вселенной!» («Гамлет», акт II, сц. II). (Пер. Б. Пастернака.)

А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился; ненавидел за то, что им помешал; ненавидел за преувеличенную изысканность жестов; за эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм (стоит и требует, чтобы им занимались); но всего больше ненавидел он этот трепет, эту натянутость, дрожь, которой рябило ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в страницу, он надеялся его отогнать; ткнув пальцем в слово, надеялся вернуть внимание матери, которое, он понял с тоскою, сразу отвлеклось на отца. Но нет. Мистера Рэмзи не так-то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия.

Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан, и она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и билась (покуда сама миссис Рэмзи осталась покойно сидеть и опять взялась за чулок), и в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. Он не состоялся, — сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тэнсли...» — сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью, — гостиная; за гостиной — кухня; над кухней — спальня; и рядом — детские; чтобы все они ожили, наполнились жизнью.

Чарльз Тэнсли его считает крупнейшим современным мыслителем, — сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен; необходим; не только

здесь, во всем мире. Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском; приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она вязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх, навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил, требуя сочувствия.

Он не состоялся, — повторил он. Да что ты, опомнись, ну, посмотри! Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своею уверенностью (так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя), что все это — на самом деле; полный дом; и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться, в какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя; ничего своего не осталось, все было отдано, расточено; и Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипенем, в пляске ветвей и листьев принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия.

Насытись ее словами, затихнув, как кормленое дитя, он сказал наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдет; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.

Тотчас миссис Рэмзи словно сложились, как складывается на ночь цветок, вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творенья.

Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих связывал угешеньем, какое дарят друг другу, сливаясь, два разных — один

высокий, один низкий — струнных голоса. И все же, когда замер последний отзвук и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной (так всегда бывало, не сразу, но после), к ощущению усталости примешивалось что-то смутно тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось; и она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все: ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа; и потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну, конечно, она нисколько не сомневалась, что все эти университеты и люди без него пропадут; что все эти его лекции, книги необходимы, как воздух; но их отношения, то, что он к ней подходит так, у всех на глазах — вот что негоже; ведь скажут — он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в тысячу раз важней, и то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Ну, и еще другое, — что она не смогла, не решалась сказать ему правду, например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в пятьдесят фунтов; и потом — насчет его книг — ведь она побаивалась, как бы он сам не догадывался о том, что смутно подозревала она: что последняя книга — не лучшая из его книг (это она заключила со слов Уильяма Бэнкса); и приходилось утаивать повседневные мелочи, и дети замечали, а им это вредно — и все вместе взятое отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и польый.

Тень легла на страницу. Это Август Кармайкл шаркал мимо, и сейчас, главное в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений; даже лучшие из них — с червоточиной, не выдерживают дозора, который, любя мужа и с этим своим

правдолюбием, она затеяла вдруг; когда она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело, так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, и черт дернул ее за язык спросить:

— Погуляли, мистер Кармайкл?

8

Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели, они говорили — у него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно — бедняга несчастен, каждый год приезжает к ним, как в прибежище; и однако же, каждый год она чувствовала все то же — он ей не верит. Она говорила: «Я — в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» И чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный; роняет все на пиджак; нудный, как все старики, которым решительно нечего делать; и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рэмзи, нам с вами надо покалякать наедине», — и миссис Рэмзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у ней кланчить? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые он от нее терпит. И вот (ну, разумеется, из-за жены, а то отчего бы?) теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната. Дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок, не хотите ли табаку?

Вот эта книга вам непременно понравится, и прочее. И в конце-то концов, в конце концов (тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало, о своей красоте) — в конце концов ей обычно ничего не стоит понравиться человеку; Джордж Мэннинг, например; мистер Уоллис; знаменитые, кажется, люди, а заходят же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься, — знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог; и в конце концов, как ею ни пренебрегай, как ни тяготись ею — красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины, да и женщины сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же — не совсем это так, не совсем то. Главное, неприятно, что именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют; что вся ее эта жажда давать, помогать — сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать, чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи! Милая миссис Рэмзи... миссис Рэмзи вообще...» — и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли? Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах, ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях — что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны — даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно (щеки впали, волосы поседели), не такая уже отрада для взоров — не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот

комок нервов (остальные все — дети как дети) — своего сына Джеймса?

— «Опечалился рыбак, — прочла она вслух. — Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего, пошел он к морю. Смотрит — а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак...»

Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес; он глянул; он кивнул; кивнул поощрительно; и двинулся дальше.

Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и на сына, снова глядя на урну с красными никнувшими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листах, как попавшие под руку в угаре чтенья клочки бумаги хранят наши записи, — глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. Не будь никогда на свете Шекспира, спрашивал он себя, много ли переменялся бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека критерием, по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существование рабов. Служитель при лифте есть необходимая потребность. Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. Не надо, не надо; лучше найти лазейку и несколько снизить роль искусств. Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека; что искусства — лишь побрякушки на человеческой жизни; они ее не выражают. И Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он дернул с изгороди листок. Всем этим можно попотчевать через месяц

юнцов в Кардиффе, подумал он; здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется (он отбросил содранный в таком раздражение листок), как кто-то, свесясь с коня, набирает охапку роз или набивает карманы орехами, топчя наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое; тот поворот, тот плетень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишашие биографиями, и баталиями, и преданьями, и стихами, и живыми фигурами — там воин, а там и поэт; и все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник, и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на оброти коня и дальше идет пеший, один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту.

Хочешь не хочешь, а такая судьба у него, такой уж заскок — вот так убежать на узкий край земли, постепенно смываемый морем, и стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар — вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим, но ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темнотою людского неведения (мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног) — уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз и так сжимается, что не то что о славе не помнит, не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся виденьями, и таким вот манером вызывает он у Уильяма Бэнкса (переменчивого) и Чарльза Тэнсли (рабочего), а сейчас у жены (она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка) чувства восхищения, жалости и еще благодарности, как бакен на фарватере, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за

то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означить глубины.

«Но отец восьмерых детей не имеет выбора»... Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения, и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног, зрелища, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальной, навело бы на какие-то выводы; и вот нашел утешение в пустяках, столь несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим; он, в сущности, счастлив; у него такая жена; такие дети; через месяц он подрядился молоть разную белиберду перед юнцами в Кардиффе про Локка, и Юма, и Беркли, про истоки французской революции. Но все это, и удовольствие, которое ему давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищенье юнцов, знаки признания из Соунси, Кардиффа, Экстера, Саутхэмптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа — все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную белиберду» — ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска; скрытность человека, который боится себя проявить, не может прямо сказать: «Вот что я люблю, вот кто я»; что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, и они недоумевали, зачем эта скрытность нужна; зачем ему вечно нужны похвалы; почему человек такой дерзостной мысли — в жизни так робок; и удивительно даже, как он одновременно достоин восхищенья и смешон.

Выше сил человеческих — проповедовать и учить, — предположила Лили. (Она принялась складывать кисти.) Если чересчур высоко вознесешься, уж непременно брякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом — эти рез-

кие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей, — сказала она.

Он направился к ним. Вот застыл, стал в молчанье смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.

9

— Да, — сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. — Страшно досадно. (Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения.) Да, — сказал мистер Бэнкс, — страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски. (Лили Бриско ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне откровенно.) Потому-то, — сказал он, — нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу, — и этот еще будет нас поучать? Так, думалось мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества. Лили призналась, что, к стыду своему, со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее оттого, что царापину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды. Но ведь кого он обманет? Он у вас открыто выклянчивает восхищения, лести, своими мелкими уловками он никого не обманывает. И ей претит эта его узость, эта его слепота, — сказала она, глядя в удаляющуюся спину.

— Чуть-чуть лицемер? — предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи, и разве он не думал о его дружбе и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок, и про всех этих девчонок и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа... Тем не менее ему страшно хотелось, чтоб Лили

согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, «чуть-чуть лицемер».

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опуская. Подняла глаза — мистер Рэмзи шел прямо на них, вперевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. Чуть-чуть лицемер? — повторила она. Ох, нет — искреннейший из людей, самый честный (вот он, идет), самый лучший; но она опустила глаза и подумала: он слишком занят собой, он тираничен, капризен; и она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, «влюбленностью». Они превращаются в частицу того невозможного, дивного целого, каким мир делается в глазах любви. К ним ластится лето; ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, — что жизнь, складываясь из случайных частных, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег.

Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная, или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так, и не иначе, если учесть его шестой десяток и его чистоту, беспристрастность и как бы облекший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви десятка юнцов (хотя неизвестно еще, удавалось ли миссис Рэмзи стяжать любовь десятка юнцов). Это любовь, думала она, якобы занявшись холстом, — профильтрованная, очищенная; не цепляющаяся за свой предмет; но, как любовь математика к своей теореме или поэта к строфе,

призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет; отчего, глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему, доказал нечто неоспоримое о пищеваренье растений и тем самым навеки одолел варварство и поборол хаос.

Из-за его восторга — а как же еще прикажете это назвать? — у Лили Бриско совершенно вылетело из головы все, что она намеревалась сказать. Чушь какую-то; что-то насчет миссис Рэмзи. Все бледнело рядом с этим «восторгом», этим немым созерцанием, за которое она была истинно ему признательна; ведь что еще может так утешить, так развязать жизненные узлы, так облегчить, как не эта высшая сила, небесная благодать, и ее не станешь тревожить, пока она длится, как не будешь ломать привольно разлегшийся поперек пола солнечный луч.

То, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс способен чувствовать такое к миссис Рэмзи (она его оглядывала в раздумье), в сущности, ведь помогает жить, возвышает душу. Она вытирала старым лоскутом одну кисть за другой, нарочно с особенной тщательностью, таким образом прячась от восхищения, распространявшегося на всех женщин сразу. В сущности, ведь это и ей самой комплимент. Пусть его смотрит. Тем временем можно взглянуть на картину.

Она чуть не расплакалась. Картина была плохая, плохая, из рук вон плохая картина! Ну, конечно, все можно бы сделать иначе; цвет — тоньше, бледней; формы — воздушней; так это увидел бы Понсфурт. Но она-то так не увидела. Для нее цвет горел на стальном каркасе; сиял бабочкиным крылом на контрфорсе собора. От всего этого на холсте осталось несколько небрежных разводов. Да никто и смотреть-то не будет; не повесят даже; и опять мистер Тэнсли ей нашептывал в уши:

«Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером»...

Наконец она вспомнила, что она собиралась сказать про миссис Рэмзи. Неизвестно, как бы она сформулировала; что-то критическое. На днях ей не очень понравилась некоторая самоуверенность. Разглядывая миссис Рэмзи под углом зрения мистера Бэнкса, она думала, что ни одной женщине не дано так восхищаться другою, как вот сейчас восхищается он; остается только вместе укрыться под шатром, который раскинул над ними обеими мистер Бэнкс. К снопу его лучей она присовокупила свой отдельный, особенный лучик, решив, что миссис Рэмзи неоспоримо прелестнейшая из людей (когда склоняется так вот над книжкой); быть может, самая лучшая; и все-таки она не похожа на тот безупречный образ, предлагаемый нашим взорам. А почему непохожа, чем непохожа? — спрашивала она себя, соскребая с палитры горы зеленого и голубого, оказавшиеся на поверку безжизненными комками, и клянясь себе завтра же их одухотворить, оживить, заставить струиться по ее произволу. Да, так чем же она непохожа? Что в ней — зернышко, что в ней — суть, и почему, найдя в углу дивана перчатку, вы по замятому пальцу сразу решите, что перчатка — ее? Скорая, как птица, неотвратимая, как стрела. Своевольная; властная. (Ну, конечно, спохватилась Лили, я имею в виду ее отношения с женщинами, и я же гораздо моложе, и кто я такая — живу на задворках на Бромптон-роуд.) Распахивает окна в спальнях. Запирает двери. (Она старалась настроиться на лейтмотив миссис Рэмзи.) Вернувшись за полночь, легонько постучавшись к тебе, окутанная старой меховой шубкой (она всегда так оправлена — наспех и, однако, к лицу), она могла изобразить что угодно: Чарльз Тэнсли посеял зонтик; мистер Кармайкл шаркает и сопит; мистер Бэнкс рассуждает: «Таким образом, теряются соли растений». И всех она очень ловко изображала; даже зло передразнивала. А потом, отойдя к окну, якобы собираясь идти — уже утро, вот-вот солнце встанет — и

опять отворотясь от окна, уже задушевно, хотя и смеясь еще, она убеждала, что всем, всем — ей, Минте — всем надо замуж, потому что какими бы ни осыпали вас лаврами (миссис Рэмзи ни в грош не ставила ее живопись), какие бы вам ни достались победы (миссис Рэмзи, вероятно, свое получила), — тут, погрузнев, затуманясь, она возвратилась к ее креслу — ясно одно: незамужняя женщина (она легонько потрепала ее по руке), незамужняя женщина теряет в жизни самое ценное. И дом был полон, казалось, детским сном, бдением миссис Рэмзи; ночниками и тихим посапыванием.

Ах, но ведь могла возразить Лили, у нее есть отец; есть свой дом; и даже, простите, живопись. Но все это было так мелко, наивно в сравнение с другим. Да, и покуда редела ночь и белое утро натекало сквозь щель между шторами, и уже подавала голос в саду какая-то птица, она набиралась отчаянной храбрости объявить, что она — исключенье из общего правила; и доказывать: она любит быть одна, сама по себе; она не создана для другого, — с тем чтоб наткнуться в ответ на серьезный, несравненно бездонный взор и непререкаемую уверенность миссис Рэмзи, что ее миленькая Лили, ее Бриска-киска (она вдруг превратилась в ребенка) — просто-напросто дура. И тут, помнится, она положила голову на колени миссис Рэмзи и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти истерическим смехом, мысли о том, как миссис Рэмзи царственно вершит судьбы тех, кого решительно не дано ей понять. Вот, сидит — серьезная, простая. Вернулось прежнее ощущение — насчет замятого пальца. Ну, и в какое-такое мы тут проникли святилище? Лили Бриско наконец подняла глаза. Миссис Рэмзи недоумевала, что тут смешного, — все такая же царственная, но уже ни следа своеволия, и вместо него — что-то светлое, как прогал, наконец-то открывшийся за облаками, кусочек ясного неба, дремлющего подле луны.

Что это? Мудрость? Знание? Или скорей золотая обманная сеть красоты, улавливающая все

наши предположения на полпути к правде? Или в ней упрятан секрет, на котором, Лили несколько не сомневалась, и зиждется судьба человечества? Не всем же мыкаться, вечно перебиваться, как она сама? Но если что-то знаешь — почему не открыть? Сидя на полу, изо всех сил сжимая колени миссис Рэмзи, улыбаясь мысли, что миссис Рэмзи вовек не догадается, отчего она так обнимает ее, она думала, что в покоях сердца и ума этой женщины, сидящей сейчас — ближе некуда, как сокровища в царских гробницах, упрятаны тайные начертания, которые, если их разгадать, нас бы всему научили, но их никогда не откроют, никогда не прочтут. Какой же ключ, известный любви или хитрости, отпирает эти покои? Какое есть средство стать, как смешавшаяся в одном сосуде вода, неотвержимым от предмета твоего обожания? Достигает ли этого тело или дух, незаметно свиваясь с другим в тончайших мозговых переходах? Или сердце? Могла бы любовь, как это называется у людей, объединить ее с миссис Рэмзи в одно? Ведь ей не знание нужно, но единение, никакие не начертания, ничего, что пишется на каком бы то ни было языке, но сама близость, которая ведь и есть знание, думала она, уткнувшись в колени миссис Рэмзи.

Ничего не произошло. Ничего! Ничего! — пока она лежала головою на коленях миссис Рэмзи. И тем не менее она поняла, что мудрость и знание хранятся у миссис Рэмзи в сердце. Как же, спрашивала она себя, что-то узнаешь про людей, если они опечатаны? Только кружишь над куполом улья, как пчела, приманясь недоступной осязанью и вкусу вязнущей в воздухе сладостью, порыщешь в одиночку над дальними странами и кружишь над ульями с их жужжаньем и давкой, над ульями, которые люди и есть. Миссис Рэмзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рэмзи ушла. И потом не один еще день, как после нашего сна проступает легкая перемена в том, кто нам снился, сквозь все, что говорила она, пробивался призыв жужжанья, и, сидя в плетеном кресле в гостиной подле

окна, она для Лили облакалась торжественно очертанием купола.

Этот луч, ровень с лучом мистера Бэнкса, упал прямо на миссис Рэмзи с Джеймсом на коленях. Но пока она так смотрела, мистер Бэнкс уже отвел взгляд. Он надел очки. Отступил. Поднял руку. Он чуть сузил ясные голубые глаза, и тут Лили, приподнявшись, поняла, в чем дело, и сжалась, как собака, увидевшая поднятую для удара руку. Ей хотелось содрать картину с мольберта, но она сказала себе: крепись. Она готовилась выдержать жуткую пытку, когда будут смотреть на ее картину. Крепись, она говорила себе, крепись. И если кто-то будет смотреть — лучше уж мистер Бэнкс. Но открыть любому постороннему взгляду отстой своих тридцати трех лет, осадок всех прожитых дней, замешанный на том более тайном, чего она все эти дни не показывала, не открывала, — была настоящая пытка. И удивительно, с другой стороны, волнующее переживание.

Что могло быть, однако, спокойней и будничней? Мистер Бэнкс вытащил перочинный ножик и костяной ручкой ткнул в холст. Что она хотела изобразить фиолетовым треугольником «вот тут»? — спросил он.

Миссис Рэмзи читает Джеймсу, — сказала она. Она заранее знала его возраженья — никто не примет этого за человеческую фигуру. Но она и не стремится к сходству, — сказала она. Тогда для какой же надобности она их представила? — спросил он. Да, в самом деле — зачем? Разве что затем, что, если вот тут, в этом углу светло, — тут, вот в этом, ей необходим темный тон. Просто и очевидно, общее место, но мистер Бэнкс, однако же, заинтересовался. Значит, мать и дитя — предмет всеобщего поклонения, и мать, в данном случае известную своей красотой, можно, он рассуждал, свести к фиолетовой тени, несколько не унижая?

Но картина не о них, сказала она. То есть не в том смысле. Есть разные способы выражать свое преклонение. Например, тут вот тенью, тут светом. Ее дань уважения приняла эту форму, если,

неуверенно предположила она, картина может быть данью уважения. Можно, не унижая, свести к фиолетовой тени мать и дитя. Свет тут — требует тени там. Он подумал. Он заинтересовался. Он отнесся к ее словам с наинатурнейшей добро-совестностью. По правде сказать, по предубежде-ниям своим — он сторонник противоположной тенденции, — объяснил он. Самая большая карти-на у него в гостиной, которую художники хвалят и ценят дороже, чем он за нее заплатил, — цве-тущие вишни на берегах Кеннета, сказал он. Он провел медовый месяц на берегах Кеннета, сказал он. Однако — и, вздев очки на лоб, он приступил к научному обследованию картины. Поскольку речь идет о соотношении масс, о соотношении света и тени, над которым он, честно говоря, никогда не задумывался, он хотел бы, чтобы ему объяснили, как полагает она поступить вот с этим, — и он жестом очертил поле зрения. Она глянула. Она ничего не могла ему объяснить, ни-чего, она просто сама ничего не видела без кисти в руке. Она возвращала себя к состоянию, в каком писала: отвлеченность, отуманенный взгляд — все свои женские впечатления подчиняя чему-то бо-лее важному; вновь отдаваясь во власть тому, что уже так ясно увидела, а теперь вот нашаривала посреди изгородей, и домов, и матерей, и детей — во власть своей картине. Задача была в том, она вспомнила, как объединить эту массу направо с той, что налево. Можно было вот так все рассечь линией ветки; либо разбить пустоту каким-то предметом (например, Джеймсом) — вот так. Но она рисковала тогда разрушить единство целого. Она осеклась; она боялась ему надоесть; она ти-хонько сняла картину с мольберта.

Но на картину смотрели; ее увидели; забрали себе. Этот человек разделял с ней тайное тайных. И, благословляя за все миссис Рэмзи, и мистера Рэмзи, и время и место, признав за жизнью воз-можность, о которой не гадала — не думала: что можно идти длинной ее галереей в одиночку, но рука об руку с кем-то, — странно-прекрасное, едва

выносимое чувство, — она чересчур решительно щелкнула замочком этюдника, и этим щелчком разом, навеки замкнула в круг этюдник, лужайку, и мистера Бэнкса, и мчащую мимо неугомонную Кэм.

10

Кэм чуть не сшибла мольберт; ее не мог остановить мистер Бэнкс, Лили Бриско; хоть мистер Бэнкс, который и сам бы не отказался от дочки, к ней протянул руку; не мог остановить и отец, которого она тоже чуть не сшибла; ни мать, кричавшая «Кэм, ты мне нужна на минутку!», когда она мчалась мимо. Она летела как птица, как пуля, стрела, кем пущенная и зачем, кто скажет? Что ее гонит? — глядя на нее, гадала миссис Рэмзи. Может, привиделось что — тачка, ракушка, волшебное царство по ту сторону изгороди; или это счастье бега ее гонит — кто знает? Но когда миссис Рэмзи во второй раз крикнула «Кэм!» — скорость снаряда спала до легкой рысцы, Кэм сорвала на скаку листок и повернула к матери.

И о чем она только мечтает, думала миссис Рэмзи, видя, что она до того поглощена своей мыслью, что надо повторить поручение — спросить у Милдред, вернулись ли Эндрю, мисс Дойл и мистер Рэйли? Слова как в колодезь упали, где вода, пусть и чистая, так все преломляет, что уже в миг погруженья они искажаются и Бог его знает в каком виде доходят в ребячьем сознание до дна. Что, интересно, передаст Кэм кухарке? На самом деле, лишь терпеливо выждав и выслушав сперва, что на кухне старая-старая, очень румяная тетя ест из миски суп, миссис Рэмзи наконец удалось подхлестнуть попугайский инстинкт, который в точности подцепил слова Милдред и, если набраться терпенья, мог их выдать механической скороговоркой. Переминаясь с ноги на ногу, Кэм сообщила: «Нет у их еще, и я Элен велела с чаем чтобы обождать».

Значит, Минта Дойл и Пол Рэйли еще не вернулись. Это только одно может значить, думала

миссис Рэмзи: она согласилась; или она отказала. Ни с того ни с сего — прогулка после обеда, пусть даже вместе с Эндрю — что может значить? Только — что она решила, и совершенно правильно, думала миссис Рэмзи (ей ужасно нравилась Минта), принять предложение славного малого, который, может быть, звезд с неба и не хватает, но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, осознав, что Джеймс дергает ее за полу, чтоб читала дальше про рыбака и рыбку, по ней, если честно признаться, лучше уж оболтусы, чем эти пишущие диссертации умники; такой, например, Чарльз Тэнсли. Во всяком случае, сейчас уж, вероятно, решилось.

Она читала: «Проснулась жена наутро рано, едва рассвело, и видит с кровати: прекрасный, прекрасный простор. Муж еще потягивается со сна...»

И как, интересно, Минта ему теперь откажет? Если согласна целыми днями с ним вдвоем по просторам шататься? (Эндрю, тот пошел за своими крабами.) Но, может, с ними и Нэнси пошла? Она старалась припомнить, как они выглядели за дверью прихожей после обеда. Стояли, смотрели на небо, сомневались насчет погоды, и она еще сказала, отчасти чтоб прикрыть их смущенье, отчасти, чтоб их подбить на прогулку (она была всецело за Пола):

— Нигде ни облачка, куда ни глянь, — причем этот молокосос Чарльс Тэнсли, который вышел с ними вместе, она уверена, ухмыльнулся. Но она же так нарочно сказала. А вот была ли там Нэнси, она, как ни напрягала зрительную память, не могла вспомнить.

Она читала дальше: «Эх, жена, — сказал рыбак. — И зачем нам королевство? Не хочу я быть королем». — «Ах так, — сказала жена, — не хочешь — не надо. Я сама королем буду. Ступай, скажи рыбке — мол, хочет жена королем быть».

— Ну, туда или сюда, Кэм, — сказала она, зная, что Кэм приворожило слово «король» и через секунду она начнет дергать и тузить Джеймса. Кэм унеслась прочь. И миссис Рэмзи стала читать даль-

ше, довольная, потому что у них с Джеймсом совпадали вкусы и всегда им хорошо бывало вдвоем.

— «Пришел он к морю, а оно темное, серое, и волны ходуном ходят и гнилью пахнут. Встал он на берегу и говорит:

Рыбка, рыбка, рыбка,
Пожалей ты старика:
Вот жена опять послала,
Все ей, жадной дуре, мало.

— Так чего же она еще желает? — спрашивает золотая рыбка». И что там у них? — думала миссис Рэмзи, решительно без всякого труда читая и размышляя одновременно; сказка о рыбаке и рыбке, как басовая партия, сопровождала напев и время от времени руководила мелодией. И когда ей сообщат? Если сегодня кончилось ничем, надо будет серьезно поговорить с Минтой. Нечего по просторам шататься, даже если за ними увязалась Нэнси. (Снова она попыталась вообразить удаляющиеся по тропе спины, сосчитать их — напрасно). Она отвечает перед Минтиными родителями — перед Совой и Щипцами. Прозвище собственного изобретения всплыло у нее в голове. Сова и Щипцы — ну, да — не очень-то обрадуются, если услышат, — а они непременно услышат, — что Минту, когда она гостила у Рэмзи, видели... и т. д. и т. п. «В палате общин он надевает парик, а дома жена выручает его на приемах», — повторила она, освещая их в памяти фразой, которую, воротясь как-то от них, придумала, чтоб позабавить мужа. Господи Боже, спрашивала себя миссис Рэмзи, и как только им удалось произвести такую нелепую дочь? Лихую Минту с дыркой в чулке? А она-то как ухитрится жить в этом их важном доме, где горничная вечно совками выносит разбросанный попугаем песок и вся беседа, в сущности, вертится вокруг подвигов, пусть и забавной, но не такой уж изобретательной птички. Естественно, как было не пригласить девочку на обед, на чай, на ужин, потом у них погостить в Финлее, и вот тут-то и пошли трения с Совой, с мамашей, и — опять визиты, опять разговоры, опять песок, и, ей-богу,

сама она в конце концов так изолгалась по поводу попугаев, что сыта по горло (так она говорила мужу тогда, воротясь от них). А Минта все же приехала... Да, приехала, думала миссис Рэмзи, и тут в ее мыслях застряла колючка; и, распутав душевный колтун, она обнаружила – вот: одна женщина когда-то ее обвиняла, что «отняла у нее привязанность родной дочери»; и что-то в словах миссис Дойл напомнило ей то старое обвинение. Желание властвовать, вмешиваться, заставлять других плясать под ее дудку – вот возводимое на нее обвинение – совершенный поклеп. Разве виновата она, что «уж такая» на вид? Никто ей не может поставить в упрек, будто она старается впечатлять. Часто ей даже стыдно своей неприбранности. И ничего она не властолюбивая, ничего не тиранка. Ну, насчет больниц, молочных, канализации – еще справедливо, пожалуй. Тут она в самом деле лезет из кожи вон и, будь ее воля, каждого взяла бы за шкирку и ткнула в безобразия носом. На всем острове ни единой больницы. Ужасно. В Лондоне оставляют у ваших дверей молоко, просто бурое от грязи. Запретить бы такое законом. Образцовые молочные и больницы на острове – этих двух вещей она бы с удовольствием добивалась. Но как? А дети? Вот подрастут, тогда и будет у нее время; когда в школу пойдут.

Ах, да вовсе ей не хотелось бы, чтобы Джеймс хоть на йоту становился взрослей. И Кэм. Эти двое пусть бы вечно оставались при ней, в точности как сейчас – несносные бесенята, сущие ангельчики, пусть бы и вовсе не выросли в голенастых чудовищ. Ничем не восполнимая потеря. Вот она прочитала Джеймсу: «а вокруг воины стоят, с трубами, с барабанами», и глаза у него потемнели, и она подумала – зачем им вообще вырастать, терять это все? Он самый одаренный, самый сложный из ее детей. Но и остальные, она подумала, много обещают. Пру – с другими-то она сущий ангел, и уже сейчас, вечерами особенно, иногда дух захватывает – до чего хороша. Эндрю – даже муж признает, что у него незаурядные спо-

способности к математике. Ну, Нэнси и Роджер — эти пока неумные, носятся с утра до вечера Бог знает где. Или Роза — рот у нее до ушей, зато золотые руки. Когда ставят шарады, костюмы кто делает? Роза. Все умеет; на стол накрыть; расставить цветы; все такое. Неприятно, что Джеспер стреляет птиц; но это у него возрастное; пройдет. Зачем, думала она, уткнув подбородок в голову Джеймса, зачем они так быстро вырастают? Зачем уезжают в школу? Ей бы всегда при себе маленького иметь. Самое-самое — когда носишь их на руках. А там — пусть говорят, будто она властолюбива, деспотична, тиранка; ей все равно. И, касаясь губами его волос, она подумала — никогда больше он не будет так счастлив, подумала и спохватилась, вспомнив, как рассердился муж, когда она это сказала. Но это же правда. Сейчас у них лучшее времячко. Грошовый чайный сервиз на много дней осчастливил Кэм. Она слышит, как они топочут, галдят наверху, едва проснутся. Кубарем скатываются по лестнице. Распахивается дверь — и они влетают, розовые, глазастенькие, веселые, будто этот выход к завтраку, совершающийся каждый божий день, — несусветное чудо, и так, одно за другим — целый день напролет, пока она не поднимется поцеловать их на ночь, и они за сеткой кроваток, как птички в малинике, все плетут разные глупости — что-то услышали, что-то подобрали в саду. У каждого — свой маленький клад. И она спустилась тогда и сказала мужу — зачем им расти и все это терять? Никогда больше они не будут так счастливы. А он рассердился. Зачем так мрачно смотреть на жизнь? — он сказал. Это неразумно. Потому что — вот странно... Но это правда. При всех своих срывах и муках он ведь счастливее, в общем, жизнерадостнее, чем она. Меньше поддается житейским неприятностям, что ли. Всегда может спастись работой. Нет, и сама она вовсе не «пессимистка», как он припечатал. Просто она считает, что жизнь... — и отрезок времени представился ее взору — пятьдесят ее лет. Вот она вся перед нею — жизнь. Жизнь, она подумала, но она не

додумала мысль до конца. Она разглядывала свою жизнь, потому что та была тут как тут, рядом — подлинное, свое, чего не разделишь с детьми или с мужем. Между ними словно сделка заключена, между нею и жизнью, и каждая норовит изловчиться, надуть; а иногда они ведут преспокойно переговоры (это когда она остается одна), и бывают, ей вспомнилось, очень даже милые мирные сценки. Но по большей части она, как ни странно, вынуждена признать, находит эту штуку, именуемую жизнью, — страшной, коварной, то и дело готовой накинуться из-за угла. Есть вечные проблемы: страдания; смерть; бедняки. Вечно, даже здесь, умирает от рака какая-то женщина. А она вот сказала всем своим детям — идите по ней.

Восьмерым она безжалостно это сказала. (А починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов.) Поэтому-то, зная, что их ждет впереди: любовь, надежды, брошенность по разным ужасным местам — она и думает часто: зачем им расти, все терять? А потом, размахивая мечом перед носом у жизни, она говорит: вздор. Будут они счастливы, будут. И вот, подумала она, вновь ощутив злую безысходность жизни, она подбивает Минту выйти за Пола Рэйли; ведь как ни относиться к собственному опыту, и хоть лично ей выпало на долю такое, что не каждой и пожелаешь (про это лучше не надо), вечно ее подмывает всем твердить — уж слишком настойчиво, будто сама она этим спасается — нужно выходить замуж; нужно иметь детей.

Может быть, не надо так? — думала она, пересматривая свое поведение за последние две-три недели. Может быть, она чересчур наседала на Минту, которой всего двадцать четыре, чтоб та наконец решилась? Ей стало не по себе. Ведь уже смеялась, кажется, над собой. Опять она, значит, забыла, как сильно умеет влиять на других? Для брака необходимо — о! миллионы разных вещей! (починка теплицы встанет в пятьдесят фунтов), — но во-первых — зачем называть? — и это главное; то, что есть у них с мужем. А вот есть ли оно у тех?

«Натянул он штаны и пустился бежать, как безумный, — читала она. — Но бушевала буря, ветер выл и сбивал его с ног. Валились деревья, дома, трясом тряслись горы, срывались в море утесы. Небо было черным-черно, гром гремел, сверкали молнии, и ходили по морю ходуном черные волны, каждая — как башня церковная, как гора, а сверху — белая пена».

Она перевернула страницу; оставалось несколько строк, можно кончить, хоть ему пора спать. Поздно уже. Ей об этом сказало освещение сада; матовые цветы, серо поскучевшие листья, сговорясь, на нее навели тревогу. Сперва она даже не разобралась, что такое. Потом вспомнила. Пол и Минта и Эндрю еще не вернулись. Снова она вызвала в памяти тесную группку перед дверью прихожей: стоят, смотрят в небо; у Эндрю ведро и сачок. Значит, своих крабов собрался ловить. Значит, будет по скалам карабкаться; как бы его не отрезал прилив. А когда будут гуськом возвращаться узенькой тропкой вдоль скал, кто-то может и поскользнуться. Свалиться; разбиться. Почти совсем стемнело.

Но голос у нее не дрогнул, когда она дочитывала сказку и, захлопнув книжку, проговорила последние слова так, будто сама их вот сейчас сочинила, глядя Джеймсу в глаза: «Там они до сих пор и живут».

— Вот и все, — сказала она и по глазам его увидела, что в них погас интерес к сказке и что-то новое заступило; что-то удивленное, смутное, как отблеск света, вдруг заставило его встрепнуться. Она обернулась, глянула на бухту и — так и есть сперва зыбко прошлись по волнам два коротеньких, робких мазочка, потом длинный и прочный улегся луч маяка. Зажгли.

Сейчас он спросит: «Мы поедем на маяк?» И придется ему отвечать: «Нет, завтра — нет. Пипп сказал, завтра — нет». Слава Богу, шумно явилась Милдред, и это его отвлекло. Но он оглядывался через плечо, когда Милдред его уносила, и думал, конечно: «Завтра мы не поедем на маяк». И он ведь на всю жизнь это запомнит.

Нет, она думала, отбирая кое-что из вырезанных картинок — ледник, косилку, господина во фраке, — ничего дети не забывают. Оттого так и важно, что говорить, что делать, и чувствуешь облегчение, когда они идут спать. Ни о ком можно не думать. Быть с собой; быть собой. Теперь у нее часто эта потребность — подумать; нет, даже не то, что подумать. Молчать; быть одной. Всегдашнее — хлопотливое, широкое, звонкое — улетучивается; и с ощущением праздника ты убываешь, сокращаешься до самой себя — клиновидная сердцевина тьмы, недоступная постороннему взгляду. Хоть она продолжала вязать и сидела прямо — так она себя ощущала; и это «я», отряхнув все связи, освобождалось для удивительных впечатлений. Когда жизнь опадает, открывается безграничная ширь возможностей. И у всех, она подозревала, в этом чувстве — неистощимая помощь; у всех; у нее, у Лили, у Августа Кармайкла; у всех есть, наверное, это чувство — что наша видимость, признаки, по которым нас различают, — пустяки. А под этим — тьма; расплывающаяся; бездонная: лишь время от времени мы всплываем на поверхность, и тут-то нас видят. Собственный кругозор казался ей сейчас безграничным. Охватывал все места, которых она не видывала: индийские плоскогорья; она отстраняла тяжелый кожаный занавес при входе в римский храм. Сердцевина тьмы может куда угодно проникнуть — никто не увидит. Ее не остановить, думала она, торжествуя. Вот она — свобода, вот он — мир, вот — и это главное — на чем можно расправиться, успокоиться, передохнуть. Нет уж, сам по себе человек, по ее опыту судя, никогда не находит покоя (тут она что-то особенно виртуозное исполнила спицами) — только когда станет сердцевиню тьмы. Отделяясь от личного, отделяешься от мук, суматохи, забот; и всегда она еле удерживала крик торжества над жизнью, когда все так вот вливалось в мир, покой, вечность; тут она замерла и подняла

глаза, чтоб поймать луч маяка, длинный, прочный луч, последний из трех — ее луч, потому что, всегда в этот час и в таком настроении на все это глядя, волей-неволей себя с чем-то свяжешь особенно; и длинный, прочный луч, он — ее луч. Часто, сидя и глядя, сидя и глядя, работая спицами, сама наконец становишься тем, на что смотришь, — например, этим светом. И он вызывает со dna сознания фразу, такую вот, например: «Дети не забывают, дети не забывают», и повторяешь ее, повторяешь, а потом прибавляешь что-то еще. Это кончится; то кончится, — она говорила себе, — это будет, это будет. И вдруг она сказала: «Все мы в руках Божьих».

Но тотчас сама на себя рассердилась — и зачем она это сказала? Кто сказал? Неужели она? Она попалась в силоч, ошибкой сказала, чего вовсе не думала. Она подняла взгляд от вязанья и встретила третий луч, и было так, будто ее же глаза встретились с ее глазами, заглянули, как только сама она могла заглянуть в ум, в сердце, вычищая, стирая эту ложь, всякую ложь. Луч — молодцом, и сама она — молодцом; оказалась сильна, пронзительна и прекрасна, как луч. Странно: наедине с собою льнешь к вещам, неодушевленным вещам; ручьям, цветам, деревьям; они тебе помогают выразиться; они тебя знают; они — это ты; их даришь нежностью, сдуру жалеешь (она смотрела на длинный прочный луч) — как жалеешь себя. Она смотрела, смотрела, и спицы застыли в руках, и со dna души, над прудом души поднималась туманная дымка, как жениху навстречу невеста.

И что ее дернуло сказать: «Все мы в руках Божьих»? — удивлялась она. Проскользнувшая и правду неискренность ее раздражала. Она снова принялась за чулок. Да какой же Бог мог сотворить этот мир? — спросила она себя. Умом она всегда понимала, что ни разума нет, ни порядка, ни справедливости; но страдания, смерть, бедняки. Нет такого предательства, такой низости, на какие этот мир не способен, она убедилась. Счастье не вечно, она убедилась. Она продолжала вязать с

решимостью и хладнокровием, чуть поджав губы и бессознательно придавая лицу такое выражение строгости, что муж, проходя мимо, — хоть он про себя и посмеивался при мысли о том, как Юм, философ, чудовищно раздобревший, однажды увяз в болоте, — не мог не заметить этой горькой строгости на глубине ее красоты. Ею она опечалила, ее отрешенность ему причиняла боль, он чувствовал, проходя мимо, что не может ее защитить, и, подойдя к живой изгороди, он был опечален. Он ничем не мог ей помочь. Только стоять и смотреть. И даже — нестерпимая правда — он портит ей жизнь. Он раздражителен. Вспыльчив. Вышел из себя из-за этого маяка. Он вглядывался в заговор изгороди, вглядывался в темноту.

Всегда, миссис Рэмзи знала, даже нехотя выбираешься из одиночества, ухватясь за какой-то пустяк, что-то увидев, услышав. Она вслушалась; все было тихо; кончился крикет; дети разбрелись мыться; только говор моря остался. Она перестала вязать; длинный красно-бурый чулок на мгновение повис, качаясь, на пальцах. Она снова увидела вспышку. Уже не без иронии — ведь когда просыпаешься, иначе относишься ко всему, она взглянула с вопросом на прочный луч, безжалостный, неумолимый — он так похож на нее, и так непохож, и никуда от него не деться (она по ночам просыпается и видит, как, развалясь поперек их постели, он свешивается до полу), и все равно, — думала она, следя за ним, зачарованно, оторопев, будто он оглаживал серебристыми пальцами закупоренный сосуд у нее в мозгу, и сейчас вот он лопнет и радость ее захлестнет, — все равно она знала счастье, полное счастье, острое счастье — а луч серебрил лохматые волны все ярче, покуда гасло небо, и убирал последнюю синь, затаившуюся в волнах, и они наливались лимонною желтизной, взбухали, вздувались и лопались на берегу, и радость вспыхнула у нее в глазах и окатила, накрыла, и она поняла — вот оно! Вот!

Мистер Рэмзи повернул и увидел ее. Ах! Как она была хороша, он и не знал, как она хороша.

Но он не решался с нею заговорить. Не смел ей мешать. Ему позарез надо было с нею заговорить, теперь, когда уже не было Джеймса и она осталась одна. Но он решил — нет; нельзя ей мешать. Она была отъединена от него своей красотой и печалью. Не надо ее тревожить. И он без единого слова прошел мимо, хоть ему было грустно, что она сейчас так далеко, не добраться, и нельзя ей помочь. И он бы снова прошел мимо без единого слова, если бы именно в этот момент она сама ему не подарила того, о чем, она знала, он никогда не попросит, и окликнула его, и сняла с рамы зеленую шаль, и вышла к нему. Ведь он хотел, она знала, ее защитить.

12

Она накинула на плечи зеленую шаль. Она взяла его под руку. Он до того красив, с места в карьер заговорила она про Кеннеди, про садовника, он так безумно прекрасен, что решительно нет возможности его рассчитать. К теплице была при-слонена лестница, и повсюду валялись груды замазки, ибо осуществлялась починка тепличной крыши. Да, но когда так вот прогуливаешься об руку с мужем, хотя бы эта забота уже не страшна. У нее вертелось на языке: «Это встанет в пятьдесят фунтов», но, как всегда, когда речь шла о деньгах, она спасовала и сказала вовсе, что Джеспер стреляет птиц, а он сказал, моментально ее успокоив, что для мальчишки это естественно и, разумеется, он скоро найдет более достойный способ себя занять. Он умный, он справедливый — ее муж. И она сказала: «Да, как у всех, — переходный возраст» — и стала разглядывать далии на большой клумбе и прикидывать, что сделать для цветов на будущий год, и — он слышал, как дети прозвали Чарльза Тэнсли? — спросила она. Атеист, они его прозвали — крошка-атеистик. «Не слишком блистательный экземпляр», — сказал мистер Рэмзи. «Уж какое!» — сказала миссис Рэмзи.

Она полагает, лучше его оставить в покое, — говорила миссис Рэмзи, прикидывая, стоит ли присылать сюда луковичные; вообще-то их здесь сажают? «Ему надо писать диссертацию», — сказал мистер Рэмзи. Уж об этом она понаслышалась, — сказала миссис Рэмзи. Он ни о чем другом и не говорит. Влияние кого-то на что-то. «Ну, ни на что другое он не может рассчитывать», — сказал мистер Рэмзи. «Боже упаси, только бы он не вздумал в Пру влюбиться», — сказала миссис Рэмзи. Он ее лишит наследства, если она за него пойдет, — сказал мистер Рэмзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а куда-то на полметра повыше. В общем, он недурной мальчик, — прибавил он и хотел было сказать, что он единственный молодой человек во всей Англии, который ценит... — но осекся. Незачем снова к ней приставать со своими книгами. «А цветы, между прочим, вполне», — сказал мистер Рэмзи, опуская взгляд и различая что-то бурое, что-то красное. Да, но эти она собственными руками сажала, — сказала миссис Рэмзи. Вот вопрос — стоит ли посылать сюда луковичные; посадит ли Кеннеди? Неисправимая лень, — прибавила она, двинувшись дальше. Если стоять у него над душой весь день напролет с лопатой в руке, тогда еще от него чего-то можно добиться. И они побрели дальше, к проему между факельных лилий. «Вот ты и дочек учишь преувеличивать», — с упреком сказал мистер Рэмзи. Тетя Камилла была еще в тысячу раз хуже, — возразила миссис Рэмзи. «Насколько я знаю, никто никогда не считал твою тетю Камиллу образцом человека», — сказал мистер Рэмзи. «Зато она самая красивая женщина, какую я видела», — сказала миссис Рэмзи. «Есть кое-кто и получше», — сказал мистер Рэмзи. Пру вот будет еще гораздо красивей, — сказала миссис Рэмзи. Он ничего подобного не усмотрел, — сказал мистер Рэмзи. «Ну, так присмотришь хоть сегодня», — сказала миссис Рэмзи. Постояли. Ему бы хотелось заставить Эндрю приналечь на занятия. Если нет — прости-прощай поощрительная стипендия. «А-а, эти стипендии!» —

сказала она. Мистер Рэмзи считал, что глупо так говорить о серьезных вещах, о стипендии. Он бы очень гордился Эндрю, если бы тот добился стипендии, — сказал он. А она в точности так же будет гордиться, если он ее не добьется, — отвечала она. Тут они вечно не соглашались, но это не имело значения. Ей нравилось его отношение ко всяким стипендиям, ему нравилось, что она так гордится Эндрю, что бы Эндрю ни вытворял. Вдруг она вспомнила про эти узкие тропки над пропастями.

Уже, кажется, поздно? — спросила она. Они еще не вернулись. Он беззаботно щелкнул крышкой часов. Всего полвосьмого. Минуту он постоял, не закрывая часов, решаясь сказать ей о том, что он почувствовал, бродя по террасе. Но, во-первых, нет решительно никаких оснований тревожиться. Эндрю, слава Богу, не маленький. А потом — он хотел ей сказать, что когда он вот сейчас бродил по террасе — но тут ему стало неловко, будто он непрошено вламывается в ее уединение, отрешенность, в эту ее отключенность. Но она настаивала. Так что же такое он хотел ей сказать? — спрашивала она, думая, что это насчет маяка; ему стыдно, что он сказал тогда: «Фу-ты, черт!» Но нет. Ему неприятно было ее видеть такой печальной, сказал он. Просто задумалась, — ответила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, будто неясно, идти ли дальше, сворачивать ли. Она читала Джеймсу волшебные сказки... — сказала она. Нет, этим не делятся; такого не выговоришь.

Они дошли до проема между факельных лилий, и там опять был маяк, но ей на него не хотелось смотреть. Если б она знала тогда, что муж ее видит, думала она, она бы себе не позволила так забыть. Ей было неприятно все, что напоминало о том, как она сидела тогда, забывшись, на глазах у мужа. И она отвернулась и через плечо посмотрела на городок. Текли и струились огни, словно повисшая на ветру серебряная капля. Вот в чем уместается вся нищета, все страданья, — думали

миссис Рэмзи. Огни городка, и пристани, и судов казались призрачной сетью, огораживающей место кораблекрушения. Что ж, если ему нет доступа к ее мыслям, решил мистер Рэмзи, можно предаться своим. Посмаковать забавную историю о том, как Юм увяз в болоте; посмеяться. Но, во-первых, — какая нелепость тревожиться из-за Эндрю. В возрасте Эндрю он целыми днями бродил по округе с одним сухарем в кармане, и никто не пекся о нем и не думал, что он может свалиться с утеса. Вслух он сказал, что, может быть, на целый день отправится побродить, если позволит погода. Бэнкс и Кармайкл — хорошенького понемножку. Пора побыть одному. Да, — сказала она. Его задело, что она не стала спорить. Знает прекрасно, что никуда он не денется. Стар стал с одним сухарем в кармане целыми днями бродить. Из-за мальчишек тревожиться, но не из-за него. Давным-давно, когда еще не был женат, думал он, глядя на бухту, пока они стояли между факельных лилий, он вышагивал целыми днями. Перехватит, бывало, в трактире хлеба и сыра. Работал по десять часов, не разгибая спины; старуха только просовывала голову в дверь — проверить огонь. Вон там его самый любимый вид; эти дюны, убегающие в сонную даль. Можно целый день пробродить, не встретив живой души. И почти ни единого дома на миля кругом, ни единой деревни. В одиночестве можно все беды распутать. Там песчаные отмели, где ничья нога не ступала от начала времен. Там присаживаются и в глаза тебе смотрят тюлени. Иной раз ему кажется, что в таком вот домишке, совершенно один... он со вздохом осекся. Он не имеет права. Отец восьмерых детей — напомнил он себе. Он был бы последней сволочью, неблагоприятной скотиной, если б желал хоть на йоту что-нибудь изменить. Из Эндрю выйдет человек получше него самого. Пру, говорит ее мать, будет красавицей. Ничего, если слегка обуздают. Восемь таких детей — собственно, недурная работа. Которая и доказывает, что не так уж постыло ему наше Богом забытом мирозданье, ведь вот в эда-

кий вечер, думал он, глядя на землю, растворенную далью, остров кажется умирительно крошечным, наполовину проглоченный морем.

— Несчастное, Богом забытое место, — пробормотал он со вздохом.

Она расслышала. Он говорит страшно грустные вещи, но странно: стоит ему такое сказать, и сразу он веселеет. Все эти фразочки — сплошная игра, думала она, ведь наговори она сама такого хоть вполосину, она бы давно уж пустила себе пулю в лоб.

И зачем эти фразочки, — подумала она и как ни в чем не бывало заметила, что вечер совершенно чудесный. И чего он разохался, — спросила она, смеясь и досадуя одновременно, ведь она догадалась, о чем он думал, — он написал бы книги получше, не будь он женат.

Он не жалуется, — сказал он. Она сама знает, что он не жалуется. Она же знает — жаловаться ему не на что. И он схватил ее руку, поднес к губам, поцеловал с таким жаром, что у нее на глаза навернулись слезы, и тотчас он ее отпустил.

Они отвернулись от вида и пошли рука об руку вверх, по тропке, обросшей серебристыми копыями трав. Рука у него почти как у юноши, думали миссис Рэмзи, тонкая, твердая, и она с восхищением думала, какой он у нее еще сильный, хоть ему и за шестьдесят, оптимистический, неукротимый, и как это странно, что, убежденный во всяческих ужасах, он не поддается им, они его только бодрят. Удивительно, правда? — размышляла она. Ей-богу, ей кажется иногда, что он не как люди, слепоглухонемой от рождения, что касается обычных вещей, зато на необычные вещи взгляд у него орлиный. Ее иногда поражает его пронизательность. Но он цветы замечает? Нет. Вид замечает? Нет. Замечает он красоту собственной дочери, пудинг, бифштекс ли положен ему на тарелку? Он со всеми сидит за столом, как во сне. А эта его манера говорить с самим собой вслух или ни с того ни с сего громко раздражаться

стихами — ведь с годами все хуже; иногда ужасно неловко...

— Ты, кто лучше всех, уйдем!¹

Бедняжка мисс Гиддингс, когда он так на нее гаркнул, чуть со стула не свалилась со страха. Но в конце-то концов, думала миссис Рэмзи, сразу беря его под защиту против всех этих дур вроде Гиддингс, в конце-то концов, думала она, легким пожатием руки давая ему понять, что в гору она за ним не поспевает и ей надо на минуточку остановиться — поглядеть, нет ли свежих кучек земли по откосу, в конце-то концов, думала она, наклонясь, чтоб получше их разглядеть, великий ум и всегда-то отличен от нашего. Все великие люди, каких она знала, думала она, придя к заключению, что кролик пробрался в сад, — все они таковы, и молодым людям полезно (хоть душная атмосфера аудиторий на нее лично наводит просто непереносимую скуку) хотя бы его послушать, хотя бы на него поглядеть. Но если их не стрелять, как от них отделаешься — от кроликов, — размышляла она. Наверное, это кролик; наверное, это крот. Во всяком случае, какая-то животинка подкапывается под ее примулы. И, подняв глаза, она увидела над тонкими ветками первый прищур ярко задрожавшей звезды и хотела обратить на нее внимание мужа; самой ей звезда доставила такую острую радость. Но она передумала. Он никогда ни на что не смотрит. А если посмотрит, только и скажет: «Богом забытый мир!» — с этим своим вздыханием.

И тут он сказал: «Очень-очень красиво», — чтоб доставить ей удовольствие, и прикинулся, будто цветами любуется. Но она-то знала, что ничего он не любуется, ему все равно, хоть тут есть цветы, хоть их нет. Просто, чтоб доставить ей удовольствие... А-а, да не Бриско ли это там вышагивает с Уильямом Бэнксом? Она сосредоточила близо-

¹ Перси Биши Шелли, «Приглашение». (Пер В. Меркурьевой.)

рукий взгляд на спинах удаляющейся парочки. Они, так и есть. И не значит ли это, что им следует пожениться? Именно! Дивная мысль! Им же следует пожениться!

13

Он бывал в Амстердаме, — говорил мистер Бэнкс, шагая через лужайку с Лили Бриско. Видел Рембрандта. Был в Мадриде. К сожалению, это пришлось на страстную пятницу, Прадо был закрыт. Был и в Риме. Мисс Бриско никогда не бывала в Риме? О, непременно следует побывать. Это будет для нее выдающееся переживание — Сикстинская Капелла; Микеланджело; и Падуя — полотна Джотто. Его жена долгие годы хворала, это ограничивало возможность путешествий.

Она была в Брюсселе; и в Париже была, правда, мимолетно, навещала заболевшую тетку. Была в Дрездене; есть бездна картин, которых она не видела; впрочем, рассуждала Лили Бриско, может, лучше не смотреть на картины; из-за них только еще безнадежней презираешь собственную работу. Мистер Бэнкс полагал, что такая точка зрения может чересчур далеко завести. Не всем быть Тицианами, не всем быть Дарвинами; с другой стороны, неизвестно еще, были б у вас Тицианы, были б у вас Дарвины, если б не было нас, обычных людей. Лили захотелось ему возразить комплиментом; вы-то не такой уж обычный, мистер Бэнкс, — вертелось у нее на языке. Но он не нуждается в комплиментах (большинство мужчин нуждается), — подумала она, чуточку устыдилась своего поползновения и молчала, покуда он рассуждал, что к живописи только что сказанное, может быть, и не относится. Все равно, сказала Лили, отмечая легкую поблажку неискренности, она никогда не бросит живопись, потому что ей интересно. Да, сказал мистер Бэнкс, он в этом уверен, и, дойдя до края лужка, он уже интересовался, трудно ли ей находить сюжеты в Лондоне, когда они повернули и увидели миссис и мистера Рэмзи.

Вот он — брак, подумала Лили, мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч. Вот что мне тогда ночью старалась втолковать миссис Рэмзи, думала она. Она куталась в зеленую шаль, и они стояли рядышком и смотрели, как Джеспер и Пру перекидываются мячом. И как ни с того ни с сего выходя из подземки, звонясь у чужих дверей, люди вдруг облакаются странной значительностью и становятся воплощением, символом — так стоящие в сумерках два человека стали вдруг символом брака; муж и жена. Потом, тотчас символические, очарованные очертания с них спали, и когда Лили Бриско и Уильям Бэнкс к ним подошли, они уже были опять мистер и миссис Рэмзи, смотрящие на детей, играющих в мяч. И все же, и все же на миг еще, хотя миссис Рэмзи их осияла своей обычной улыбкой (ах, она ведь решила, что мы поженимся, — подумала Лили) и сказала «Сегодня я одержала победу», — разумея, что ей наконец удалось залучить мистера Бэнкса на ужин и он на сей раз не сбежит от нее к своему слуге, который готовит подобающим образом овощи; и все же еще на миг удержалось ощущение разлета, шири и безответственности, когда мяч взмыл и за ним потянулись взглядами, и его потеряли, и увидели одиночку-звезду в обрамление ветвей. В убывающем свете все казались угловатыми, бестелесными и разбросанными по пространству. Но вот, метнувшись назад и провалившись куда-то (все плавало в сумерках, лишённое веса), Пру вылетела прямо на них, блистательно-высоко поймала левой рукой мяч, и мать у нее спросила: «Они еще не вернулись?», и чары развеялись. Мистер Рэмзи счел себя вправе громко расхохотаться над Юмом, который увяз в болоте, и одна старушка его согласилась выволить на условии, что тот прочтет «Отче наш», и, все еще фыркая, он направился к себе в кабинет. Миссис Рэмзи, возвращая Пру в лигу семейственности, — из которой та вырвалась, прыгая за мячом, — спросила:

— А Нэнси с ними пошла?

(Конечно, Нэнси с ними пошла, потому что Минта Дойл ее умоляла неммым взглядом и протянула к ней руку, когда Нэнси после обеда собралась улизнуть к себе наверх от кошмара семейственности. И пришлось ей идти. Ей не хотелось идти. Не хотелось во все это впутываться. Ведь пока они шли по дороге до самых скал, Минта хватала ее за руку. Потом отпускала. Потом снова хватала. И чего, вообще-то, ей нужно? — спрашивала себя Нэнси. Чего людям нужно? И когда Минта хватала ее за руку и не отпускала, Нэнси волей-неволей видела стлавшийся ей под ноги целый мир, словно Константинополь в тумане, и как бы у тебя ни слипались глаза, приходится спрашивать: «А это Айя София?» «А это Золотой Рог?» Так вот и Нэнси спрашивала, когда Минта хватала ее за руку: «Ей этого нужно? Не этого ли?» Но что такое — это? Там и сям из тумана проклевывались (когда Нэнси смотрела на стлавшуюся ей под ноги жизнь) купол; шпиль; выдающиеся, без названий. Но когда Минта отпускала ее руку, когда они сбегали по склонам, все — купола, и шпили, и что там еще пробивало туман, вновь канув в него, исчезало.

Минта, считал Эндрю, ходить в общем умела. Одевалась разумнее прочих женщин: короткие юбочки, черные бриджи. Прыгнет прямо в поток и барахтается. Приятная смелость, но в общем не дело — так можно и расшибиться нелепейшим образом. Она, кажется, ничего не боялась, кроме быков. Едва увидит быка, с визгом кидается прочь, раскинув руки, а быков ведь именно это и бесит. Но она ничуть не стеснялась в этом признаться, тут надо отдать ей должное. Она дикая трусиха по части быков, она говорила. Наверное, так они думала, ее вывалили из колясочки, когда она была маленькая. В целом она была не из тех, кто заду мывается над тем, что говорить и что делать. Вот и сейчас застряла у края скалы и что-то запела такое:

А пошли вы все к чертям, все к чертям!

И всем пришлось подхватить припев и хором надсаживаться:

А пошли вы все к чертям, все к чертям!

Однако было б безумно жаль пропустить момент, пока прилив еще не затопил все охотничьи зоны.

Безумно жаль, — согласился Поль и вскочил, и пока они скользили вниз, он цитировал путеводитель на тот предмет, что «острова эти славятся по праву своими видами, напоминающими парки, и большим числом и разнообразием морских достопримечательностей». Но нет, совершенно не дело — эти выкрики и посылање к чертям, чувствовал Эндрю, пробираясь вниз по скале, и это похлопывание тебя по плечу, обращение «старина» и прочее в том же роде; совершенно, совершенно не дело. Вот потому-то он и зарекался брать в экспедиции женщин. Внизу они сразу же разделились, он отправился на Поповский Нос, разувшись, скатав носки, и оставил эту парочку на собственное попечение. Нэнси пробралась к своим излюбленным скалам обыскивать свои знакомые заводы и оставила эту парочку на собственное попечение. Она сидела на корточках и трогала резиново-гладких морских анемонов, ломтями желе облепивших выступ скалы. Замечтавшись, она преображала заводь в бескрайное море, пескарей превращала в акул и китов и, держа ладонь против солнца, окутывала тучами весь свой крошечный мир, как сам Господь Бог, погружая во тьму и отчаяние миллионы ни в чем не повинных, ничего не ведающих существ, а потом, отняв руку, вновь выпускала на них веселое солнце. По белому, исписанному волнами песку, в кольчуге и наручнях, державной поступью удалялся какой-то немислимый левиафан (границы заводи все расширялись) и таял в горном ущелье. А потом она незаметно скользнула над заводью взглядом, и взгляд замер на мреющей грани между морем и небом, на

деревьях, волею пароходных дымков расколыхавшихся над горизонтом, и от всего этого богатства, которое щедро катил на нее и тотчас яростно отбирал простор, от впечатлений величия и разной мелкой нечисти, преспокойно среди него процветавшей (заводь опять сокращалась), она вдруг как приклеилась к месту, и у нее захолонуло сердце, а ее собственное тело, собственная жизнь и жизни всех-всех на свете превратились навеки — в ничто. Так, сидя на корточках над заводью, слушая волны, она замечталась.

И тут Эндрю закричал, что прилив, и она зашлепала по приплеску, побежала по песку и от разгона и радости бега залетела за большую скалу, и там — Господи! — сидели в обнимку Минта и Пол! Наверное, целовались. Она возмутилась, она пришла в ужас. Они с Эндрю натягивали носки, обувались в мертвом молчании, не проронив ни слова. Потом нагубили друг другу. Могла и позвать его, когда лангуста увидела, или кого там, ворчал Эндрю. Тем не менее оба чувствовали — мы не виноваты. Никто же не хотел, чтобы произошло это безобразие. И все равно Эндрю раздражало, что Нэнси принадлежит к числу женщин, а Нэнси злило, что Эндрю — из числа мужчин, и они очень тщательно и очень крепко завязывали шнурки.

Только уже когда опять забрались на самый верх, Минта заголосила, что потеряла бабушкину брошку, — бабушкину брошку, ее единственное украшение — плакучая ива (они помнят, конечно!), такая вся из жемчужинок. Они, конечно, ее видели, причитала она, и слезы текли по щекам — бабушкину брошку, бабушка ею чепчик закальвала до последнего дня своей жизни. А она ее потеряла. Лучше б она что угодно еще потеряла! Она хотела вернуться и поискать. Все вернулись. Шарили, смотрели. Ползали по самой земле, рывкали друг на друга. Пол Рэйли, как сумасшедший, обыскивал то место, где они с Минтой сидели. Вся эта возня вокруг брошки — совершенно не дело, думал Эндрю, когда Пол ему предложил «произвести тща

тельнейшие розыски между тем пунктом и этим» Прилив наступал. Через минуту море грозило накрыть то место, где они сидели. Всякая возможность найти эту брошку решительно сводилась к нулю. «Нас отрежет!» — взвизгнула Минта, вдруг спохватившись, в ужасе. Будто была хоть малейшая доля опасности! Поздравляю — те же быки; она не умеет совладать со своими эмоциями, — думал Эндрю. Женщины вообще не умеют Пусть этот несчастный Пол утихомиривает ее. Мужчины (Эндрю и Пол разом сделались мужественными, не всегдашними) держали краткий совет и решено было воткнуть трость Пола на том месте, где они сидели, и вернуться, когда будет отлив. Сейчас пока ничего не поделаешь. Если брошка тут, она и будет тут до утра, уверяли они Минту, но та хлопала все время, пока они поднимались. Это бабушкина брошка; лучше б она что угодно еще потеряла! И все же Нэнси чувствовала, что, хоть брошку ей, правда, наверное, жаль, плачет она не только из-за нее. Она плачет из-за чего-то еще. Впору всем сесть и расплакаться, — думала Нэнси, только неизвестно из-за чего.

Они обогнали их, Минта и Пол, и он ее утешал, рассказывал, как гениально он умеет отыскивать разные вещи. Один раз, когда маленький был, он нашел золотые часы. Он встанет ни свет ни заря, и он определенно найдет эту брошку. Ему казалось, что будет совсем темно, и он будет один на берегу, и почему-то все будет довольно опасно. Тем не менее он начал ей говорить, что непременно найдет брошку, а она сказала, что и слышать не хочет о том, чтоб он вставал ни свет ни заря; брошку не найти; она знает; у нее предчувствие было, когда сегодня она ее закальвала. И он решил про себя, что ничего ей не скажет, потихоньку ускользнет раным-рано, когда все еще спят, и если не найдет брошку, он поедет в Эдинбург и купит новую, точно такую же, только еще лучше. Он докажет, на что он способен. И когда они вошли наверх и перед ними всплыли огни городка, огни,

вдруг высыпавшие один за другим, показались ему тем, что сбудется с ним, — женитьба; дети; свой дом; а когда вышли на большак, залегший между большими кустами, он думал о том, как они укроются с нею в укромность, и будут идти и идти, он всегда ее будет вести, а она к нему льнуть (вот как сейчас). Когда сворачивали у перекрестка, он думал о том, какого он ужаса натерпелся сегодня, и надо кому-то сказать, миссис Рэмзи, понятно, потому что у него дух перехватывало при мысли о том, что сегодня он сделал, что было. Самый-самый жуткий момент в его жизни — когда он сделал предложение Минте. Он хотел сразу пойти к миссис Рэмзи, потому что он как-то угадывал, что это она его подбила на все. Она вернула ему веру в себя. Больше никто его не принимает всерьез. А благодаря ей он поверил — все ему может удалиться. Сегодня он целый день чувствовал на себе ее взгляд, который (хоть она ни слова ему не сказала) будто ему говорил: «Ты на это способен. Я верю в тебя. Я жду». Да, все-все благодаря ей, и как только они вернутся (он отыскивал огонек ее дома над бухтой), он сразу пойдет к ней и скажет: «Я это сделал, миссис Рэмзи; я это сделал, спасибо вам». И вот, свернув на ведущую к дому тропу, он увидел огни, перемещающиеся за верхними стеклами. Кажется, они опоздали кошмарно. Все собирались ужинать. Дом был весь озарен, и свет с темноты ему ударил в глаза, и он повторял, как дитя, когда шел по въездной аллее, — огни, огни, огни, — и повторял ошарашенно — огни, огни, огни, переступая порог и озираясь с совершенно одеревенелым лицом. Но Господи Боже, сказал он себе, ощупывая узел на галстуке, что это я, нельзя же себя выставлять идиотом.

15

— Да, — сказала Пру, в своей задумчивой манере отвечая на вопрос матери, — мне кажется, Нэнси с ними пошла.

— Ну вот, Нэнси с ними пошла, — решила миссис Рэмзи и спрашивала себя, пока откладывала щетку, бралась за гребешок, отвечала «Войдите» на стук в дверь (вошли Роза и Джеспер), — делал ли факт участия Нэнси более вероятным или менее вероятным, что что-то стряслось; пожалуй, менее вероятным, полагала миссис Рэмзи, довольно бездоказательно, впрочем, разве что едва ли возможна такая общая вдруг гибель. Не могли же они, в самом деле, утонуть всем скопом. И опять она почувствовала себя беззащитной перед лицом старого неприятеля — жизни.

Джеспер и Роза сообщили, что Милдред желает знать, не обождают ли с ужином.

— Ни ради английской королевы, — вскинулась миссис Рэмзи.

— Ни ради мексиканской императрицы, — прибавила она, смеясь и глядя на Джеспера; он унаследовал материнский порок — тоже преувеличивал.

А Роза, если угодно, сказала она, когда Джеспер отправился исполнять поручение, может выбрать, какие бы ей сегодня надеть украшения. Когда пятнадцать человек собираются сесть за ужин, нельзя бесконечно ждать. Она начинала уже сердиться, что они так запаздывают; просто бесцеремонно с их стороны, и мало того что она за них волновалась, она еще и сердилась, что сегодня именно вздумали опоздать, когда ей так хотелось, чтоб ужин особенно удался, раз Уильям Бэнкс наконец согласился с ними отужинать; и сегодня у них шедевр Милдред — *Voeuf en Daube*. Тут все зависит от того, чтоб подать в самый миг, как готово. Мясо, лавровый лист, вино — все должно потомиться в меру. Малейшее промедление губительно. И вот сегодня, видите ли, именно сегодня им понадобилось где-то носиться и опоздать, и все придется вынуть, держать горячим; *Voeuf en Daube* будет совершеннейшее не то.

Джеспер предлагал ей нитку опалов; Роза — золотое кольцо. Что пойдет больше к черному платью? В самом деле — что? — рассеянно спрашивала себя миссис Рэмзи, оглядывая плечи и шею в зеркале (но минуя лицо). А потом, пока дети рылись в украшениях, она загляделась в окно, на то, что ее всегда веселило: грачи решали, на каком бы им дереве обосноваться. То и дело они меняли решение и снова взлетали, потому что, она думала, старый грач, грач-отец, старик Иосиф она его прозвала, был птичка с привередливым и капризным характером. Весьма полупочтенный старикан, половина перьев повывдергана. Он как старый обшарпанный господин в цилиндре, которого она видела раз, возле пивной; играл на рожке.

— Посмотри! — засмеялась она. Они не на шутку подрались. Иосиф и Мария подрались. Во всяком случае, все они снова взвились, и воздух был сбит на сторону черным сплошным сполохом и весь иссечен такими дивными ятаганчиками. И взбит, взбит, взбит — никогда она не умела описать это точно, так, чтоб самой понравилось. Посмотри! — она сказала Розе, надеясь, что Роза-то отчетливее разглядит. Дети подстегивают иногда твое восприятие.

Но что же выбрать? Они повывдвигали в шкапулке все ящички. Золотое кольцо — оно итальянское, или опалы, которые привез из Индии дядя Джеймс? Или лучше ей аметисты надеть?

— Выбирайте, миленькие, выбирайте, — говорила она, надеясь, что они поторопятся.

Но пусть уж выберут сами; пусть особенно Роза возьмет то одно, то другое, приложит к черному платью, потому что маленькая церемония выбора украшений, исполняемая каждый вечер, она чувствовала, ужасно нравилась Розе. Почему-то такую она придавала важность этому выбору украшений для матери. Почему? — гадала миссис Рэмзи, стоя тихо, пока Роза застегивала избранное кольцо, и откапывая в собственном прошлом глубокое, тайное, бессловесное чувство, какое испытываешь и матери в Розином возрасте. Как все обращенные

на тебя чувства, думала миссис Рэмзи, вызывает и это тоску. До чего же мало даешь взамен; до чего же мало соответствует отношение Розы всему тому, что она в действительности собою являет. И Роза вырастет; и Роза, она думала, со своими глубокими чувствами, будет страдать, и она сказала, что готова, надо идти, и Джеспер, раз он джентльмен, пусть благоволит предложить ей руку, а Роза, дама, пусть несет носовой платок (она дала ей платок) и — что еще? Ах да, вдруг будет холодно: шаль. «Выбери для меня шаль», — сказала она, чтобы доставить удовольствие обреченной страданиям Розе. «Ну вот, — сказала она, останавливаясь у окна на площадке, — они тут как тут». Иосиф устроился на другой кроне. «Думаешь, им приятно, — сказала она Джесперу, — когда у них поломаны крылья?» За что он хочет застрелить бедных Иосифа и Марию? Он мешкал на ступеньках, понимал, что ему выговаривают, но не серьезно; и она не знала, какое удовольствие — стрелять птиц; и они ничего не чувствуют; и она была — мама, и жила далеко-далеко, в другой части света, но ему нравились ее истории про Марию с Иосифом. Было смешно. Но откуда она знает, что это Мария с Иосифом? Она думает, те же птицы прилетают каждый вечер на те же деревья? — спрашивал он. Но тут, ни с того ни с сего, это со взрослыми вечно, она потеряла к нему всякий интерес. Она прислушивалась к звукам в прихожей.

— Явились! — вскрикнула она и сразу же не облегчение почувствовала, а досаду на них. Потом подумала — свершилось или нет? Сейчас она спустится, и они скажут... Да нет же. Не станут они при всех говорить. Придется спуститься, сесть за ужин и ждать. И, как королева, видя подданных в сборе, снисходит к ним и в молчании принимает их дань, принимает коленопреклоненную преданность (Пол и бровью не повел и смотрел прямо перед собой, когда она проходила) — она сошла вниз и пошла по прихожей, чуть склоня голову,

словно принимая то, чего не могли они выразить; дань ее красоте.

Но она остановилась. Пахнуло горелым. Неужто сгубили Bouef en Daube, — подумала она. Господи, только не это! — но тут прокатился гул гонга, непреложно, властительно вменяя всем, всем, всем, кто разбросан по мансардам, по спальням, по гнездышкам, кто дописывает, дочитывает, наводит последний лоск на прическу, застегивает последнюю пуговицу, — все это бросить, бросить разные разности на умывальник, и на трюмо, и на ночных столиках книжки, и таинственные свои дневники, и явиться в столовую к ужину.

17

Но что сделала я со своей жизнью, думала миссис Рэмзи, садясь во главе стола и оглядывая белые круги тарелок на скатерти. «Уильям, сядьте со мною рядом», — сказала она. «Лили, — сказала она устало, — сюда». Им свое — Полу Рэйли и Минте Дойл, — ей свое: бесконечно длинный стол, и ножи, и тарелки. На дальнем конце сидел ее муж, ссутулясь, сгорбясь, и дулся. Из-за чего? Неизвестно. Не важно. Она не постигала, как вообще когда-то могла к нему испытывать привязанность, нежность. Начав разливать суп, она себя ощутила вне всего, ото всего отделенной, отъединенной, как вот когда вихрь несетя и кто-то подхвачен им, а кто-то остается вовне — так и она осталась вовне. Все кончено, думала она, пока они входили один за другим, Чарльз Тэнсли («сюда, пожалуйста», — сказала она), Август Кармайкл, и рассаживались. И в то же время она безучастно ждала, что кто-то ответит ей, что-то случится. Но такое не выскажешь, она думала, разливая суп.

Вздернув брови над этим несоответствием — одно думаешь, а делаешь совершенно другое: разливаешь суп, — она все сильнее себя ощущала вне вихря; или — как если б упала тень и вещи, лишась подцветки, ей представились в истинном виде.

Комната (она обвела ее взглядом) обшарпана донельзя. Ни в чем никакой красоты. И лучше уж не смотреть на мистера Тэнсли. Никакого слияния. Все сидели разрозненно. И от нее, от нее одной зависело всех их взбить, расплавить и сплавить. Без враждебности, как об очевидном, она снова подумала о несостоятельности мужчин — все она, сами ничего, ничего не умеют, — и она встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и затакал знакомый, испытанный пульс: раз, два, три, раз, два, три. И так далее, так далее она отсчитывала еще слабенький пульс, оберегала и охраняла, как спасают зазевавшееся пламя газетой. И тотчас она заключила, с молчаливым кивком обращаясь к Уильяму Бэнксу, — бедняга! Ни жены, ни детей, каждый вечер, кроме сегодняшнего, один ужинает по съемным квартирам; вот — пожалела его и вновь набралась сил выносить свою жизнь; и уже она принималась за дело; так моряк оглядывает не без тоски туго вздувшийся парус, ему и не хочется в море, и он рисует в уме, как пойдет ко дну, и его закрутит, закрутит пучина, и на дне он найдет покой.

— Вы нашли свои письма? Я сказала, чтоб их положили для вас в прихожей, — сказала она Уильяму Бэнксу.

Лили Бриско смотрела, как ее относило на странную ничейную землю, куда не последуешь за человеком, но уход его тебя пронизывает холодком, и ты до конца его провожаешь глазами, как провожаешь глазами тающий парус, покуда он не канет за горизонтом.

Как старо она выглядит, как устало, думала Лили, и как она далеко. Потом, когда она повернулась к Уильяму Бэнксу и улыбнулась, было так, будто корабль повернулся, и солнце снова ударило в паруса, и Лили с облегчением, а потому уже не без ехидства, подумала: и зачем его жалеть? Ведь это было ясно, когда она ему говорила про письма в прихожей. Бедный Уильям Бэнкс, казалось, говорила она, с таким видом, будто устала, в частности и оттого, что жалеет людей, но жалость

именно и придает ей решимость жить дальше. А это ведь дичь, думала Лили; одна из тех ее выдумок, которые у нее безотчетны и никому, кроме нее самой, не нужны. Он решительно не предмет для жалости. У него — работа, — сказала себе Лили. И вспомнила вдруг (как клад открывают), что у нее тоже — работа. Перед глазами встала ее картина. Она подумала: да, надо дерево еще продвинуть на середину; так преодолееся глупо зияющее пространство. Вот что надо сделать. Вот что меня мучило. Она взяла солонку и переставила на цветок скатертного узора, чтоб не забыть потом переставить дерево.

— Занятно, что, так редко получая по почте что-нибудь стоящее, мы вечно в ожидании писем, — сказал Уильям Бэнкс.

Что за дикую белиберду они порят, думал Чарльз Тэнсли, кладя ложку в точности посередине тарелки, которую так вылизал, думала Лили (он сидел напротив, спиной к окну, в точности надвое рассекая вид), будто вознамерился и в пище дойти до сути. Весь он был так выморочно тверд, так безнадежно непривлекателен. И однако факт остается фактом, почти немыслимо плохо относиться к человеку, пока на него смотришь. Ей нравились его глаза; синие, глубоко посаженные, страшноватые.

— Вы часто пишете письма, мистер Тэнсли? спросила миссис Рэмзи, и его тоже жалеючи, решила Лили; ведь что правда, то правда — миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано, и нет чтоб пожалеть женщину, которой дано что-то. Он пишет матери; за этим исключением, хорошо, если письмо в месяц, — отвечал мистер Тэнсли кратко.

Он не намеревался пороть ту чушь, к которой его тут призывали. Не желал идти на поводу у глупых женщин. Он читал у себя в комнате и вот спустился, и все тут оказалось поверхностно, глупо, ничтожно. К чему наряжаться? Он спустился в обычной своей одежде. У него и нет выходной. «По почте редко получаешь что-нибудь сто

ящее», — так у них принято изъясняться. Так вынуждают изъясняться мужчин. А ведь и правда, в сущности, — он подумал. Они из года в год не получают ничего стоящего. Ничего не делают, говорят, говорят, говорят, едят, едят, едят. Все женщины виноваты. Сводят культуру на нет этим своим «очарованием» — своими глупостями.

— Завтра ехать на маяк не придется, миссис Рэмзи, — сказал он, чтобы за себя постоять. Она ему нравилась; он ею восхищался; он помнил, как тот, в канаве, смотрел ей вслед; но он должен был за себя постоять.

Да уж, — думала Лили Бриско, глаза — глазами (а на нос посмотреть, на руки!), он чуть ли не противнейший из людей, каких ей приходилось встречать. И не все ли равно, что он мелет? Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером — кажется, какое ей дело, пусть его говорит, ведь ясно же — он и не думает этого, просто ему отчего-то нравится так говорить? Почему же всю ее гнет, как колос на ветру, и мучительнейшего усилия стоит потом распрямиться после таких унижений? А снова надо сделать это усилие. Вот цветок в ткани скатерти; ах да, моя картина; надо продвинуть дерево ближе к центру; вот что важно и — ничего больше. И неужто нельзя на том успокоиться, не лезть в бутылку, не спорить; а если так уж хочется мести — не проще ли его высмеять?

— Ах, мистер Тэнсли, — сказала она, — возьмите меня с собой на маяк. Ну пожалуйста!

Он видел, что она говорит неискренне. Говорит, чего вовсе не думает, чтоб его зачем-то поддеть. Он в старых лоснящихся брюках. За неимением иных. Он себя чувствует здесь обшарпанным, чужим, одиноким. Ей зачем-то понадобилось его дразнить: она и не собирается на маяк; она его презирает; кстати, Пру Рэмзи — тоже; все они презирают его. Но он не позволит женщинам его выставлять идиотом. И он нарочно повернулся на стуле, глянул в окно и грубо, резко брякнул, что

море для нее завтра будет неподходящее. Ее стошнит.

Он досадовал, что она его вынудила говорить таким тоном при миссис Рэмзи. Очутиться бы у себя, за работой, думал он, среди своих книг. Вот где ему хорошо. И он в жизни не задолжал ни гроша; ни гроша не стоил отцу с пятнадцати лет; помогал семье из своих сбережений; обеспечил учење сестре. Но лучше б ему найти для Лили Бриско ответ поприличней; лучше б не брякать «Вас стошнит». Что-нибудь бы сказать миссис Рэмзи, доказать, что не такой уж он бессердечный сухарь. Каковым его все тут считают. Он повернулся к ней. Но миссис Рэмзи говорила про людей, о которых он понятия не имел, говорила с Уильямом Бэнксом.

— Да, уберите, — прервавшись на полслове, коротко сказала она горничной. — Я ее лет пятнадцать... нет, двадцать лет не видела, — говорила она, уже оборотясь к мистеру Бэнксу, будто минуты не могла упустить, до того поглощал ее этот их разговор. Так он в самом деле получил от нее сегодня известие? И Кэрри до сих пор в Марло, и там все по-прежнему? Ах, ей, как вчера, помнится та прогулка по реке, они еще страшно продрогли. Но если уж Мэннинги что заберут в голову, они ведь от своего не отступятся. Ей никогда не забыть, как Герберт на берегу прикончил осу чайной ложкой! И все это продолжается, думала миссис Рэмзи, призраком скользя между столами и стульями гостиной на берегах Темзы, где она так страшно, страшно продрогла двадцать лет назад; и вот — скользит между ними призраком; и восхитительно было, что, куда сама она изменялась, отпечатанный памятью день, теперь уже тихий и дивный, оставался тут все эти годы. Кэрри сама ему написала? — спросила она.

— Да, пишет, что они строят новую бильярдную, — сказал он. Нет! Нет! Быть не может! Строят новую бильярдную! Это ей представлялось непостижимым.

Мистер Бэнкс не усматривал тут ничего особенно странного. Они теперь очень состоятельные люди. Передать Кэрри от нее поклон?

— О... — сказала миссис Рэмзи и вздрогнула. — Нет, — прибавила она, рассудив, что вовсе не знает Кэрри, которая строит новую бильярдную. Но как же странно, повторила она, позабавив мистера Бэнкса, что они живут там по-прежнему. Удивительно, как ухитрялись они жить и жить все эти годы, когда она о них почти и не вспоминала. В ее жизни за те же самые годы столько всякого произошло! Но, может быть, Кэрри Мэннинг тоже о ней и не вспоминала. Мысль была странная и не понравилась ей.

— Жизнь разводит людей, — сказал мистер Бэнкс, не без удовлетворения, однако, подумав, что он-то знает и с Мэннингами, и с Рэмзи. Жизнь его с ними не развела, думал он, кладя ложку и тщательно обтирая салфеткой чисто выбритый рот. Но, может быть, он не такой, как все, думал он; он не погрязает в рутине. У него друзья во всевозможных кругах... И тут миссис Рэмзи необходимо было прервать разговор, распорядиться, чтоб держали горячим то-то и то-то. Почему он и предпочитал ужинать в одиночестве. Ему претили эти помехи. Что ж, — думал Уильям Бэнкс, соблюдая прилежно безукоризненную учтивость и только расправляя на скатерти пальцы левой руки, как механик проверяет великолепно надраенный, готовый к употреблению инструмент в минуту простоя, — дружба требует жертв. Она бы обиделась, если б он отказался прийти. Но ему-то все это зачем? Оглядывая свою руку, он думал, что, останься он дома, он бы уже почти разделался с ужином; мог спокойно засесть за работу. Да, думал он, чудовищная трата времени. Дети еще входили. «Надо кому-то сбегать наверх за Роджером», — говорила миссис Рэмзи. Как это глупо, как скучно, думал он, в сравнение с другим — с работой. Он сидел, барабанил по скатерти пальцами, а мог бы — он окинул мгновенным взглядом свою работу. Да, чудовищная трата времени! Но

ведь она, думал он, чуть не самый давний мой друг. Я был к ней, можно сказать, даже неравнодушен. Но сейчас, в данный момент ее присутствие его вовсе не грело; ее красота не грела; и то, как сидела она с мальчиком у окна, — не грело, не грело. Он мечтал остаться один, снова взяться за свою книгу. Ему было неловко; он себя чувствовал предателем оттого, что сидит рядом с нею, а ему все равно. Суть, видимо, в том, что его не прельщает семейный очаг. В таком вот состоянии себя спрашиваешь — зачем жить? Стоит ли, себя спрашиваешь, продолжение рода человеческого всех этих усилий? Уж так ли оно заманчиво? Так ли уж привлекательны мы как вид? Не так уж, думал он, оглядывая весьма неопрятных мальчишек. Его любимицу Кэм, вероятно, уложили в кровать. Глупые вопросы, пустые вопросы, вопросы, которые не станешь себе задавать, если занят работой. Что такое человеческая жизнь? То да се. Просто времени нет задумываться. И вот он задумался над такими вопросами потому, что миссис Рэмзи отдавала распоряжения прислуге, а еще потому, что, когда миссис Рэмзи поразилась открытием, что Кэрри Мэннинг до сих пор существует, вдруг он понял, как хрупки дружеские отношения, даже самые милые отношения. Жизнь разводит. Снова он почувствовал угрызения совести. Он сидел рядом с миссис Рэмзи, и ему решительно нечего было ей сказать.

— Простите, пожалуйста, — сказала миссис Рэмзи, наконец-то к нему оборачиваясь. Он себе показался пустым и жестким, как ботинок, намокший и высохший — никак не втиснешь ногу. А ногу втиснуть придется. Придется из себя что-то выдавить. Если не принять скрупулезнейших мер, она уловит предательство; что ему на нее с высокой горы наплевать; не очень ей это будет приятно, подумал он. И он учтиво склонил к ней голову.

— Вам скучно, должно быть, ужинать в нашей берлоге, — сказала она, как всегда, когда бывала несобрана, пуская в ход свою светскость. Так, если

сходится разноязычная публика, председатель вменяет всем говорить по-французски. Пусть французский будет дурной; спотыкающийся, не передающий нюансов; но с помощью французского достигается известный порядок, известное единение. Отвечая ей на том же языке, мистер Бэнкс сказал:

— Да нет, ну что вы, — и мистер Тэнсли, не разбиравший этого языка, даже преподносимого в таких односложных словечках, тотчас заподозрил неискренность. Болтают белиберду, думал он, эти Рэмзи; и он с наслаждением вцепился в свежий пример для своих заметок, какими в свое время намеревался попотчевать кое-кого из приятелей. Там, в обществе, где принято изъясняться без штук, он язвительно изобразит, каково это — «гостить у Рэмзи» и какую они болтают белиберду. Один раз еще можно, он скажет, но уж вторично — увольте. Такая тоска — эти дамы, он скажет. Рэмзи здорово влип, женясь на красавице и наплодив восьмерых детей. Что-то подобное в свое время должно было вырисоваться; но покамест, в данный момент, когда он торчал тут подле пустого стула, ничего решительно не вырисовывалось. И хоть бы кто-то помог ему о себе заявить. Ему это было необходимо, он ерзал на стуле, смотрел на одного, на другого, хотел вклиниться в разговор, открывал, закрывал рот. Говорили о рыбном промысле. Почему бы не справиться у него? Ну что понимают они в рыбном промысле?

Лили Бриско все это чувствовала. Она сидела напротив, и разве она не видела желание молодого человека произвести впечатление; видела, как на рентгеновском снимке (вот ключицы, вот ребра) — темно прочерченное сквозь волнистые туманы плоти; увязающее в туманах условностей острое желание молодого человека вклиниться в разговор. Но нет, она думала, шуря китайские глазки и помня, как он издевался над женщинами — «не владеют пером, не владеют кистью», — с какой стати я буду его выручать?

Существует кодекс поведения, она знала, согласно седьмому (так, кажется?) пункту которого в ситуации подобного рода женщине полагается, чем ни была бы она сама занята, кинуться к молодому человеку на выручку, помочь ему вытащить из волнистых туманов условностей свое желание покрасоваться; свое острое (как ключицы, как ребра) желание вклиниться в разговор; в точности так, как их долг, рассуждала она со стародевичьей честностью, помочь нам, если, скажем, разразится в подземке пожар. В таком случае, она думала, я определенно ждала бы от мистера Тэнсли, что он поможет мне выбраться. Но интересно, а что, если ни один из нас ничего такого не сделает? И она молчала и улыбалась.

— Вы же не собираетесь на маяк, правда, Лили? — сказала миссис Рэмзи. — Вспомните бедного мистера Лэнгли. Он сто раз объездил весь свет, а мне говорил, что в жизни никогда так не маялся, как когда мой муж потащил его с собой на маяк. Вы хорошо переносите качку, мистер Тэнсли?

Мистер Тэнсли занес топор, высоко им взмахнул; но когда топор опускался, сообразил, что нельзя сокрушать столь легкую бабочку подобным орудием, и сказал только, что в жизни его не тошнило. Но единственная эта фраза, точно порохом, была заряжена: тем, что дед его был рыбак, отец — аптекарь; он пробился исключительно своим горбом; чем и гордится; он — Чарльз Тэнсли; здесь никто, кажется, этого толком не понял; но еще узнают, узнают. Он смотрел прямо перед собою и хмурился. Ему даже жаль было мягкую, культурную публику, которую когда-нибудь, как тюки шерсти, как мешки с яблоками, взметнет на воздух тем порохом, что он носит в себе.

— Возьмете меня с собой, да, мистер Тэнсли? — сказала Лили быстро, любезно, ведь если миссис Рэмзи ей говорила, а она говорила: «Лили, миленькая, душа моя мрачна, и если вы не спасете меня от стрел яростной судьбы и сейчас же не скажете что-нибудь любезное этому молодому человеку (тоска смотреть, как он мается, бедняк), я прости

не выдержу, у меня разорвется грудь от муки», — ведь если миссис Рэмзи говорила ей все это своим взглядом, — разумеется, Лили пришлось в сотый раз отказаться от эксперимента: что произойдет, не прояви она чуткости к молодому человеку. И она проявила чуткость.

Правильно расценив поворот в ее настроении — теперь она говорила любезно, — он освободился от мук эгоизма и рассказал, как в детстве его бросали с лодки; как отец его выуживал багром; его учили плавать. Дядька был смотрителем маяка на одном острове где-то у берега Шотландии. Как-то он у него оставался в бурю. Все это было громко вставлено в паузу. Всем пришлось его слушать, когда он пошел рассказывать, как оставался у дядьки на маяке в бурю. Ах, думала Лили Бриско, скользя по благоприятным поворотам беседы и видя признательность миссис Рэмзи (наконец миссис Рэмзи могла сама вставить словцо), ах, да чего бы я ни дала, чтобы вам угодить. И она была неискренна.

Она прибегла к банальной уловке; к любезности. Она никогда не узнает его. Он ее никогда не узнает. Все человеческие отношения таковы, и хуже всех (если б не мистер Бэнкс) — отношения между мужчиной и женщиной. Эти-то уж неискренни до предела. Тут взгляд ее упал на солонку, переставленную для памяти, она вспомнила, что утром переместит дерево к центру, и при мысли о том, как она завтра снова примется за работу, у нее отлегло от сердца, и она громко расхохоталась над очередной фразой мистера Тэнсли. Пусть его разглагольствует хоть целый вечер, если не надоест!

— А на какой срок оставляют людей на маяке? — спросила она. Он ответил. Он проявил поразительную осведомленность. И раз он ей благодарен, раз она ему нравится, раз он отвлекся, развлекся, думала миссис Рэмзи, можно вернуться в дивный край, в нереальное, замороженное место, в гостиную Мэннингов в Марло двадцать лет назад; где бродишь без тревоги и спешки, потому что нет

того будущего, о котором приходится печься. Ей известно, что им предстоит, что предстоит ей. Будто перечитываешь хорошую книгу и знаешь конец, все ведь случилось двадцать лет назад, и жизнь, даже с обеденного стола каскадом бившая неизвестно куда, теперь опечатана там и лежит в его берегах, как ясное море. Он сказал, они строят бильярдную — неужели? Не расскажет ли Уильям Бэнкс о Мэннингах еще что-нибудь? Это так интересно. Но нет. Отчего-то он был уже не в настроении. Она пробовала его растормошить. Он не давался. Не силком же его заставлять. Ей было досадно.

— Дети ведут себя бессовестно, — сказала она, вздыхая. Он сказал что-то насчет пунктуальности; мол, она-де из тех мелких добродетелей, которые мы обретаем с годами.

— Если вообще обретаем, — сказала миссис Рэмзи, чтобы что-то сказать, а сама думала — какой же старой песочницей становится Уильям. Он чувствовал себя предателем, чувствовал, что ей хочется более задушевной беседы, но был к ней в данный момент неспособен, и нашла на него тоска, стало скучно — сидеть тут и ждать. Может быть, другие говорят что-нибудь стоящее? Что они там говорят?

Что в этом году плохой лов рыбы; рыбаки эмигрируют. Говорили о заработках, о безработице. Молодой человек изобличал правительство. Уильям Бэнкс, думая о том, какое облегчение — ухватиться за что-то в таком духе, когда личная жизнь наводит тоску, прилежно слушал про «одни из возмутительнейших актов нынешнего правительства». Лили слушала; миссис Рэмзи слушали; слушали все. Но Лили уже заскучала и чувствовала, что тут что-то не то; мистер Бэнкс чувствовал что-то не то. Кутаясь в шаль, миссис Рэмзи чувствовала — не то, не то. Все заставляли себя слушать и думали: «Господи, только б никто не догадался о моих тайных мыслях»; каждый думал «Они все слушают искренне. Они возмущены отношением правительства к рыбакам. А я притю

ряюсь». Но возможно, думал мистер Бэнкс, глядя на мистера Тэнсли, — такой человек нам и нужен. Вечно мы ждем настоящего деятеля. Всегда есть возможность его появления. В любую минуту может явиться — он; гений — в сфере политической; как во всякой другой. Пусть он покажется весьма и весьма неприятным нам — старым тюфяком, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь быть беспристрастным, ибо по странному, противному покаяванию в хребте он заключал, что завидует — отчасти ему самому, а возможно, его работе, его позиции, его науке; потому-то он не без предвзятости, не с полной справедливостью относится к мистеру Тэнсли, который будто бы говорит: «Все вы себя не нашли. Куда вам. Несчастливым старым тюфякам. Вы безнадежно отстали от жизни». Он, положим, самоуверен, этот молодой человек; и — какие манеры. Но, заставил себя признать мистер Бэнкс, он смел; со способностями; свободно оперирует фактами. Возможно, думал мистер Бэнкс, пока мистер Тэнсли избобличал правительство, он очень во многом прав.

— А вот скажите, пожалуйста... — начал он. И они углубились в политику, и Лили посмотрела на цветочек на скатерти; а миссис Рэмзи, предоставив двоим мужчинам дискутировать без помех, удивлялась, отчего ей так скучно, и, поглядывая через весь стол на мужа, мечтала, чтобы он вставил слово. Хоть единственное словцо. Ведь стоит заговорить ему, и все сразу меняется. Он во всем доходит до сути. Действительно волнуется о рыбаках, об их заработках. Ночей из-за них не спит. Когда говорит он, все иначе; никто не думает: только б не заметили моего равнодушия, потому что не остается уже равнодушных. Потом она поняла, что ей так хочется, чтобы он заговорил оттого, что она восхищается им, и — будто кто при ней похвалил ее мужа, похвалил их союз, она вспыхнула вся, забыв, что сама же его и похвалила. Она на него посмотрела: наверное, у него все написано на лице; он сейчас, наверное, чудный... Но — ничуть не бывало! Он сморщился весь, он

надулся, насупился, красный от злости. Господи, да по какому же поводу? — удивлялась она. Что такое? Бедный Август Кармайкл попросил еще тарелку супа — только и всего. Мучительно, невыносимо (сигнализировал он ей через стол), что Август сейчас снова-здорово возьмется за суп. Он терпеть не может, когда кто-то ест, когда сам он кончил. Злость метнулась ему в глаза, исказила черты, вот-вот, она чувствовала, произойдет страшный взрыв... но, слава Богу! он спохватился, дернул за тормоз и — будто весь изошел искрами, но ни слова не проронил. Вот — сидит и дуется. Он ни слова не проронил — пусть она оценит. Пусть отдаст ему должное! Но почему же, спрашивается, бедный Август не мог попросить еще супа? Он только тронул Элен за локоть и сказал:

— Элен, еще тарелочку супа, будьте добры, — и мистер Рэмзи надулся подобным образом.

А почему нельзя? — спрашивала миссис Рэмзи. Почему Августу не съесть вторую тарелку супа, раз ему хочется? Он ненавидит, когда кто-то вольнит, смакуя пищу, хмурился ей в ответ мистер Рэмзи. Вообще ненавидит, когда что-то часами тянется. Но он же взял себя в руки, пусть она оценит, он совладал с собой, хоть его воротит от подобного зрелища. Но зачем все так явно показывать? — спрашивала миссис Рэмзи (они смотрели друг на друга, посылая через длинный стол вопросы и ответы, безошибочно читая мысли друг друга). Все видят, думала миссис Рэмзи. Роза уставилась на отца; Роджер уставился на отца; она поняла: вот-вот оба зайдутся от смеха, и потому поскорее сказала (главное — и правда пора):

— Зажгите-ка свечи, — и они тут же вскочили и стали орудовать возле буфета.

Почему он никогда не может скрыть своих чувств? — думала миссис Рэмзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. Да, вероятно; или, может быть, нет. Она не могла не уважать спокойствия, с которым он хлебал суп. Захотел супа и попросил. Смеются над ним, злятся — он неизменен. Он недолюбливал ее, она знала, но даже за это она

уважала его и, глядя, как он хлебал суп, большой, безмятежный в убывающем свете, монументальный, углубленный в себя, она гадала, о чем он думает и откуда у него это неизменное достоинство и довольство; и она думала, как привязан он к Эндрю, часто зовет к себе в комнату, Эндрю рассказывал, «показать кое-что». И целыми днями он лежит на лужке, рождая, должно быть, стихи; как кошка птичку, подстерегает упорхнувшее слово, а поймав, припечатывает лапкой; и муж говорит: «Бедный старый Август — он настоящий поэт», а это для мужа — много.

Восемь свечей стояли уже вдоль стола, и, сперва поклонившись, потом распрямясь, пламя выхватило из сумерек весь длинный стол и золотую, багряную гору фруктов посередине. И как она это устроила, думала миссис Рэмзи, потому что Розино сооружение из гроздьев и груш, из шершавых, с алым подбоем раковин, из бананов — увлекало мысль к трофеям морского дна, к пиратам Нептуна, к виноградной кисти, с листьями вместе легкой Бахусу на плечо (на разных картинах) посреди леопардовых шкур и рыжего, жаркого дрожания факелов... Так выгащенная на свет гора фруктов стала вдруг глубокой, пространной, стала миром, где, взявши трость, карабкаешься на горы, сходишь в лощины; и к ее радости (их это мгновенно объединило) Август тоже бродил взором по этой горе и, усладясь где цветочком, где кисточкой, возвращался к себе, возвращался в свой улей. Так он смотрел; ничуть на нее непохоже. Но они вместе смотрели, и это сближало.

Уже горели все свечи, и придвинули лица друг к другу, свели, чего не было в сумерках, в общество за столом, и ночь была изгнана оконными стеклами, которые уже не тщились передать поточнее мир заоконья, но странно туманили его и рябили, и комната стала оплотом и сушей; а снаружи осталось отображенье, где все струисто качалось и таяло.

И все учуяли перемену, будто и впрямь они вместе пируют в лощине, на острове; и сплотились

против наружной текучести. Миссис Рэмзи, которая изводилась из-за отсутствия Минты и Пола, просто места себе не находила, вдруг перестала изводиться — ждала. Сейчас они войдут. И Лили Бриско, пытаясь понять причину внезапного облегчения, сопоставляла его с той минуткой на теннисном корте, когда все плавало в сумерках, лишенное веса, и всех расшвыряло далеко по пространству; теперь тот же эффект достигался тем, что горело много свечей, и комната полупуста, не занавешены окна, и лица глядят при свечах, как яркие маски. Со всех сняли груз. Теперь — будь что будет, чувствовала Лили. Сейчас они войдут, решила миссис Рэмзи, глядя на дверь, и в тот же миг Минта Дойл, и Пол Рэйли, и горничная с огромным блюдом вошли вместе в столовую. Они дико опоздали; они кошмарно опоздали, говорила Минта, пока они пробирались к разным концам стола.

— Я брошку потеряла, бабушкину брошку, — говорила Минта таким сетующим голосом и так жалостно потупляла и вновь поднимала большущий, карий, отуманенный взор, садясь рядом с мистером Рэмзи, что в том всколыхнулась рыцарственность и он принялся над нею трунить.

Что за идиотская манера, спрашивал он, валандаться по скалам в драгоценностях?

Сперва она, в общем, побаивалась его, — он такой дико умный, — и в первый вечер, когда сидела с ним рядом, а он говорил про Джордж Элиот, она прямо погибала от страха, потому что третий том «Миддлмарча» посеяла в поезде и так и не знала, чем дело кончилось; но потом она здорово приспособилась и нарочно стала прикидываться еще более темной, раз ему нравится обзывать ее дурой. И сегодня — когда он стал над нею смеяться, она нисколько не испугалась. И вообще, как вошла в столовую, сразу она поняла чудо случилось: золотая дымка при ней. Иногда она бывала при ней; иногда нет. Она сама не знала, отчего она появляется, отчего исчезает, и при ней она или нет, пока не войдет в комнату, и тут они

сразу все узнавала по взгляду какого-нибудь мужчины. Да, сегодня дымка при ней; еще как; она это сразу узнала по голосу мистера Рэмзи, когда он обозвал ее душой. И, улыбаясь, села с ним рядом.

Да, значит, свершилось, думала миссис Рэмзи; обручились. И на секунду почувствовала то, чего от себя уже и не ожидала — ревность. Ведь он, муж, тоже заметил это — сияние Минты; ему нравятся такие девицы, золотистые, рыжие, неуправляемые, лихие, не жеманящиеся, не «ущемленные», как аттестовал он бедняжку Лили. Есть что-то, чего ей самой не хватает, блеск какой-то, живость, что ли, которая привлекает его, веселит, и девицы вроде Минты у него ходят в любимицах. Подстригают его, плетут ему цепочки для часов, отрывают от работы, голосят (сама слышала): «Идите сюда, мистер Рэмзи; сейчас мы им покажем!» и он, как миленький, тащится играть в теннис.

Да нет, не ревнивая она вовсе; просто, когда уж заставишь себя глянуть в зеркало, обидно становится, что состарилась, и сама, наверное, виновата (счет за теплицу и прочее). Она даже им благодарна, что подначивают его («Сколько трубок сегодня выкурили, а мистер Рэмзи?» и прочее), пока он не станет на вид почти молодым человеком; который очень нравится женщинам; не обременен, не согбен величьем трудов, вселенской скорбью, своей славой или несостоятельностью; но снова таким, как когда она познакомилась с ним; изможденным и рыцарственным; каким помогал ей, помнится, выйти из лодки; таким вот неотразимым (она на него посмотрела, он трунил над Минтой и невероятно молодо выглядел). Ну ей — «Сюда поставьте», — сказала она, помогая девушке-швейцарке осторожно водрузить рядом с ней огромный коричневый горшок с *Voieuf en Daube*, — ей лично нравятся оболтусы. Пусть Пол сядет с ней рядом. Она ему сберегла это место. Честное слово, иногда ей кажется, оболтусы — лучше. Не пристают к тебе с диссертациями. Как

же много теряют они — сверхумники! В каких сухарей превращаются! Пол, думала она, когда он садился с нею рядом, в общем, милейшее существо. Ей ужасно нравится, как он держится, и его четкий нос, и глаза — синие, яркие. И какой он внимательный. Может быть, он поделится с ней — раз все занялись уже общей беседой, — что такое произошло?

— Мы вернулись поискать Минтину брошку, — сказал он, садясь с нею рядом. «Мы» — и довольно. По усилию голоса, на подъеме одолевавшего трудное слово, она поняла, что он в первый раз сказал «мы». «Мы» делали то-то, «мы» делали се-то. Так всю жизнь будут они говорить, думала она, а дивный запах маслин, и масла, и сока поднимался от огромного коричневого горшка, с которого Марта сняла не без пышности крышку. Кухарка три дня колдовала над кушаньем. И надо поосторожней, думала миссис Рэмзи, зачерпнуть ложкой мягкую массу, чтоб выудить кусок понежнее для Уильяма Бэнкса. Она заглянула в горшок, где между сверкающих стенок плавали темные и янтарные ломтики упоительной снеди, и лавровый лист, и вино, подумала: «Вот и ознаменуем событие», — и странная эта идея, одновременно шутовская и нежная, всколыхнула сразу два чувства; одно глубокое — ведь что есть на свете серьезней любви мужчины к женщине, властительней, неотступней; с семенем смерти на дне; и вот этих-то любящих, двоих, с сияньем во взоре вступающих в царство иллюзии, надо окружить шутовским хороводом, увесить гирляндами.

— Шедевр, — сказал мистер Бэнкс, отложив на минутку нож. Он ел внимательно. Все сочно; нежно. Приготовлено безупречно. И как ей удастся такое в здешней глуши? — спросил он. Удивительная женщина. Вся его любовь, вся почтительность к нему возвратилась; и она поняла.

— Еще бабушкин французский рецепт, — сказала миссис Рэмзи, и в голосе задрожала счастливая нотка. Французский — то-то же. Нечто, выдаваемое за английскую кухню, есть форменное позорище

(согласились они). Капусту в семи водах вываривают. Мясо жарят, покуда не превратится в подошву. Срезают с овощей их бесценную кожицу. «В которой, — сказал мистер Бэнкс, — вся ценность овощей и заключена». А какое расточительство, сказала миссис Рэмзи. Целая французская семья может продержаться на том, что выбрасывает на помойку английская стряпуха. К ней вернулось расположение Уильяма, напряженье ушло, все уладилось, снова можно было торжествовать и шутить — и она смеялась, она жестикулировала, и Лили думала: что за ребячество, какая нелепость — во всем сиянии красоты рассуждать о кожице овощей. Что-то в ней просто пугающее. Неотразима. Вечно своего добивается, думала Лили. Вот и это сладила — Пол и Минта, конечно, помолвлены. Мистер Бэнкс, пожалуйста, за столом. Всех она опутала чарами, ее желания просты и прямы — кто устоит? И Лили сопоставляла эту полноту души с собственной нищетою духа и предполагала, что тут отчасти причиною вера (ведь лицо ее озарилось, и без всякой юности она вся сверкала), вера миссис Рэмзи в ту странную, в ту ужасную вещь, из-за которой Пол Рэйли, в центре ее, трепетал, но был отвлечен, молчалив, задумчив. Миссис Рэмзи, чувствовала Лили, рассуждая о кожице овощей, ту вещь восславляла, молитвословила; тянула к ней руки, чтоб их отогреть, чтоб ее охранить, и, спроворив все это, уже усмехалась, чувствовала Лили, и жертвы вела к алтарю. И вот ее самое проняло наконец волненьем любви, ее трясом. Какой невзрачной казалась она себе рядом с Полом! Он горит и пылает; она бессердечно насмешничает. Он пускается в дивное плаванье; она пришвартована к берегу; он мчится вдаль без оглядки; она, забытая, остается одна — и готовая, в случае бед, разделить его беды, она спросила робко:

— А когда Минта потеряла брошку?

Нежнейшая из улыбок тронула его рот, отуманенная мечтой, подернутая воспоминаньем. Он покачал головой:

— На берегу, — сказал он. — Но я ее найду. Я встану ни свет ни заря. — И раз он собирался это сделать по секрету от Минты, он понизил голос и глянул туда, где она смеялась рядом с мистером Рэмзи.

Лили хотела искренно, от души предложить ему свою помощь и уже видела, как, идя по рассветному берегу, кидается на затаившуюся под камнем брошку, разом включая себя в круг моряков и искателей подвигов. И как же он на ее предложение ответил? Она в самом деле сказала с чувством, которое редко позволяла себе демонстрировать: «Можно я с вами пойду?» А он засмеялся. Это могло означать «да» и «нет». Что угодно. Не важно. Станный смешок говорил: «Хоть с утеса кидайтесь, если хотите, мне-то что». Ей в щеку дохнуло жаром любви, ее жестокостью и бесстыдством. Лили ожгло, и, глядя, как Минта на дальнем конце стола чарует мистера Рэмзи, она пожалела бедняжку, попавшую в страшные когти, и возблагодарила судьбу. Слава Богу, подумала она, переводя взгляд на свою солонку, ей-то замуж не надо. Ей это унижение не грозит. Ее эта пошлость минует. Ее дело — подвинуть дерево ближе к центру.

Вот как все сложно. Потому что вечно она — а в гостях у Рэмзи особенно — ощущает мучительно две противоположные вещи сразу: одно — то, что чувствуешь ты, и другое — что чувствую я, — и они у ней сталкиваются в душе, вот как сейчас. Она так прекрасна, так трогает, эта любовь, что я заражаюсь, дрожу, я суюсь, совершенно вопреки своим правилам, искать на берегу эту брошку; но она и самая глупая, самая варварская из страстей и превращает милого юношу с профилем тоньше камен (у Пола восхитительный профиль) в громилу с ломом (он дерзит, он хамит) на большой дороге. И все же, говорила она себе, от начала времен слагались оды любви; слагались венки и розы; и спросите вы у десятерых, и ведь девять ответят, что ничего не знают желанней; тогда как женщины, по ее личному опыту судя, непрестанно должны ощущать — это не то, не то; ничего нет заувывней, глупее, бесчеловечней любви; и — вот

поди ж ты — она прекрасна и необходима. Ну — и? Ну — и? — спрашивала она, будто предоставляя продолжение спора другим, как в подобных случаях выпускают свою маленькую стрелу заведомо наобум и оставляют поле другим. Так и она снова принялась их слушать в надежде, что прольют какой-то свет на вопрос о любви.

— А еще, — сказал мистер Бэнкс, — эта жидкость, которую англичане именуют «кофе».

— Ох, кофе! — сказала миссис Рэмзи. Но куда важнее проблема (тут ее не на шутку разобрало, Лили Бриско заметила, она очень возбужденно заговорила), проблема свежего масла и чистого молока. С жаром и красноречием она описала ужасы английского молочного хозяйства, и в каком виде доставляют к дверям молоко, и хотела еще подкрепить свои обвинения, но тут вокруг всего стола, начиная с Эндрю посередине (так огонь перескакивает с пучка на пучок по дроку), рассмеялись все ее дети; рассмеялся муж; над ней смеялись; она была в огневом кольце; и пришлось ей трубить отбой, выводить из боя орудия и наносить ответный удар, выставляя перед мистером Бэнксом это подтрунивание примером того, чему подвергаемся мы, атакуя предрассудки английской публики.

Но видя, что Лили, которая так ее выручила с мистером Тэнсли, чувствует себя за бортом, она ее нарочно вытащила; сказала: «Лили, во всяком случае, со мной согласится», и вовлекла ее, слегка растерянную, слегка всполошенную (она думала о любви) в разговор. Они оба чувствуют себя за бортом, думала миссис Рэмзи, Лили и Чарльз Тэнсли. Оба страдают в сиянии тех двоих. Он, это ясно, скис совершенно; да и какая женщина на него глянет, когда в комнате Пол Рэйли. Бедняга! Но у него же эта его диссертация, влияние кого-то на что-то; ничего, обойдется Лили — дело другое. Она померкла в сиянии Минты; стала еще незаметней, в своем этом маленьком сереньком платье, — личико с кулачок, маленькие китайские глазки. Все у нее маленькое. И однако, думала миссис Рэмзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь (пусть Лили подтвердит, она говорит

о своем молочном хозяйстве не больше, чем муж о своих ботинках, он часами говорит о ботинках), в сорок лет Лили будет лучше, чем Минта. В Лили есть основа; какая-то искорка, что-то такое свое, что она лично ужасно ценит, но мужчина едва ли поймет. Куда там. Разве что мужчина гораздо старше, как вот Уильям Бэнкс. Но ведь ему, ну да, миссис Рэмзи казалось порою, что после смерти жены ему сама она нравилась. Ну, не «влюблен», конечно; мало ли этих неопределяемых чувств. Ах, да что в самом деле за чушь, подумала она; пусть Уильям женится на Лили. У них же так много общего. Лили так любит цветы. Оба холодные, необщительные, каждый, в сущности, сам по себе. Надо их отправить вдвоем в дальнюю прогулку.

Сдуру она их усадила по разным концам стола. Ничего-ничего, завтра все можно уладить. Если погода хорошая — можно устроить пикник. Все казалось осуществимо, все казалось чудесно. Наконец-то (но такое не может длиться, думала она, выпадая из мгновенья, покуда они разговаривали о ботинках), наконец-то она в безопасности; она как ястреб парит в вышине; реет, как флаг, вздутый радостным ветром, и плеск неслышимый, торжественный, ведь радость идет, думала она, оглядывая их всех за едой, — от мужа, от детей, от друзей; и, поднявшись в глухой тишине (она выживала для Уильяма Бэнкса еще крохотный кусочек и заглядывала в глубины глиняного горшка), отчего-то такое вдруг застывает туманом, стремящимся кверху дымком, и всех караулит, всех оберегает. Ничего не надо говорить; ничего и не скажешь. Здесь она — всех обволакивает. И это как-то связано, думала она, тщательно выбирая для Уильяма Бэнкса особенно нежный кусочек, с вечностью; нечто похожее она уже чувствовала сегодня по другому поводу; все связано; непрерываемо; прочно; что-то не подтачивается переменами и сияет (она глянула на окно, струящее отраженья свечей) как рубин, наперекор текучему, скоротечному, зыбкому, — и опять нашло на нее давешнее — чувство покоя, покоя и отдыха. Из таких мгновений и составляется то, что навеки останется. Это останется.

— Да-да, — уверяла она Уильяма Бэнкса, — здесь еще бездна, всем хватит.

— Эндрю, — сказала она, — держи тарелку пониже, чтоб мне не накапать. (Voeuf en Daube был совершенный шедевр.) Вот, она чувствовала, кладя ложку, вот он — островок тишины, какой не бывает на свете; и теперь можно было обожать (она уже всех оделила), можно было послушать, как ястреб, вдруг низринуться с высоты, кануть вниз, легко спланировать на хохот, поймать, схватить то, что в дальнем конце стола муж говорил про квадратный корень от числа тысяча двести пятьдесят три, которое ему выпало на железнодорожном билете.

Что такое? Вот уж она не могла усвоить. Квадратный корень? Что это? Сыновья — те знали. Она на них полагалась; на квадратный, на кубический корень; на всякое такое перешел разговор; на Вольтера, мадам де Сталь; на характер Наполеона; на французскую систему земельной аренды; на лорда Розбери;¹ на мемуары Криви² — она, не раздумывая, полагалась на это дивное, сложное, непонятное сооружение мужского ума, которое все возводилось, и как железные стропила держат постройку, держало весь мир; и держало ее; целиком ему вверясь, она могла даже на мгновение закрыть глаза, на мгновение зажмуриться, как ребенок жмурится, глядя с подушки на несчетные пласты расколыхавшихся листьев. Но тут она встрепенулась. Строительство шло. Уильям Бэнкс расхваливал романы автора Уэверли³.

¹ Розбери Арчибальд Филипп Примроуз (1847–1929) — английский государственный деятель и писатель. В 1894–1895 гг. был премьер-министром Англии.

² Криви Томас (1768–1838) — член парламента от партии вигов. В 1903 г. были опубликованы его письма к падчерице, интересный документ эпохи.

³ В 1814 г. Вальтер Скотт издал первый из своих исторических романов — «Уэверли». Далее, анонимно он выпустил еще ряд романов. Авторство свое он раскрыл только в 1827 г. Весь этот цикл романов иногда принято и до сих пор называть «романами автора «Уэверли».

Он непременно раз в полгода один из них перечитывает, сказал он. И отчего же так вскинулся Чарльз Тэнсли? В совершенно расстроенных чувствах (а все потому, что Пру на него любезного слова жалко) он напустился на этого Уэверли, хоть ничего в нем не смыслил, решительно ничего, думала миссис Рэмзи, разглядывая его и не слушая, что такое он мелет. Она и так все видела: ему надо за себя постоять, и так будет вечно, пока он не сделается профессором, не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца «Я, я, я». Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером (или это Джейн Остен?) и сводится. «Я, я, я». Он думает о себе, о том, какое впечатление он производит, она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдет на пользу успех. Но ничего. Опять говорят, говорят. Уже можно не слушать. Это пройдет, не останется, она знала, но сейчас у нее был такой ясный взгляд, что, обводя всех сидящих вокруг стола, он высвечивал без труда их мысли и чувства; так крадется луч под водой и врасплох застигает волны и водоросли, плеск пескарей, сонный промельк форели, и все колышется, повисает, насквозь пробитое этим лучом. Она все видела; она все слышала; но то, что говорили они, было как трепет форели, сквозь который видишь волны, и дно, и что поправей, полевей; все это одновременно; и если в обычной жизни она запустила бы сети, выуживала бы то одно, то другое; сказала бы, что обожает эти романы Уэверли или что их не читала; бросилась бы вперед; сейчас она ничего не сказала. Она колыхалась, повиснув.

— Ну, и надолго ли, вы полагаете, это останется? — спросил кто-то. У нее словно работали щупальца, выхватывая отдельные фразы, настораживая вниманье. Вот и сейчас. Она учуяла опасность для мужа. Вопрос почти неминуемо повлечет какое-нибудь замечание, которое ему напомнит о собственной несостоятельности. Он сразу подумает — долго ли его самого будут читать. Уильям Бэнкс (совершенно свободный от всякого такого

тщеславия) засмеялся и сказал, что колебания моды его не волнуют. Кто скажет с уверенностью, что надолго останется — в литературе, как и в прочем во всем?

— Давайте же получать удовольствие от того, что его доставляет, — сказал он. Миссис Рэмзи ужасно нравилась эта его цельность. Уж он-то, конечно, не думает: «А каким боком это коснется меня?» Но если у тебя характер другой, если ты нуждаешься в похвалах, нуждаешься в поощрении, ясно, ты сразу почувствуешь (и конечно, мистер Рэмзи уже почувствовал) недовольство; захочешь, чтоб кто-то сказал: «О, но ваша-то работа, мистер Рэмзи, надолго останется», или что-то в подобном духе. Он уже совершенно ясно выказывал свое недовольство, с некоторым даже вызовом объявляя, что по крайней мере Скотт (или это Шекспир?) с ним лично до конца жизни останется. Он говорил с вызовом. Всем, она чувствовала, стало отчего-то неловко.

Но тут Минта Дойл (со своим тонким инстинктом) бодро, безапелляционно бухнула, что не верит, будто кому-то в самом деле доставляет удовольствие Шекспир. Мистер Рэмзи сказал мрачно (зато хоть снова отвлекся), что очень немногие наслаждаются им так, как принято делать вид. Но, с другой стороны, добавил он, в некоторых вещах есть тем не менее неоспоримые достоинства; и тут миссис Рэмзи поняла, что пока, слава Богу, пронесло; сейчас он будет трунить над Минтой, и та, сообразив, какая его гнетет забота, по-своему за ним приглядит, утешит, уж как-то похвалит. Жаль, но без этого не обойтись. Что ж, думала миссис Рэмзи, все сама небось виновата. Во всяком случае, покамест можно было со спокойной душой выслушать, что пытался рассказать Пол Рэйли о книгах, которые читаешь в детстве. Они остаются, сказал он. Он вот в школе еще читал Толстого, так одна вещь ему навсегда запала, только он название забыл, там фамилия. Русские фамилии невообразимы, сказала миссис Рэмзи. «Врон-

ский», — сказал Пол. Уж эту-то он запомнил, он все думал — в самый раз фамилия для негодея. «Вронский... — сказала миссис Рэмзи. — А-а, «Анна Каренина», но дальше как-то застопорилось; книги были не по их части. О, Чарльз Тэнсли мог в два счета их просветить насчет книг, но все настолько мешалось с Верно ли я говорю? и Хорошее ли я произвожу впечатление? что в конце концов вы больше узнавали о нем, нежели о Толстом, тогда как Пол ведь говорил не о себе, а именно о предмете. Как у всех глупых людей, была у него известная скромность, внимание к вашим чувствам, а это тоже иной раз не лишнее. И сейчас он думал не о себе и не о Толстом, а о том, не холодно ли ей, не дует ли, не хочется ли ей грушу.

Нет, сказала она, груши не надо. Она стерегла блюдо с фруктами (не отдавая себе отчета), надеялась, что никто его не тронет. Блуждала взглядом по теням, по изгибам, по налитой лиловости гроздьев, всползала на гребень раковины, сопрягала с желтым лиловое, с выпуклым полое, не зная, зачем это нужно и отчего так отрадно; пока наконец — ах, ну какая жалость! — чья-то рука протянулась, грушу взяла и все разрушила. Она сочувственно поглядела на Розу. Поглядела на Розу, сидевшую между Пру и Джеспером. Как странно, что твой ребенок может сварганить такое.

Как странно: сидят тут рядком, — твои детки, Джеспер, Роза, Пру, Эндрю и, в общем, помалкивают, но по губам же видно — чему-то своему усмеваются. Это не имеет отношения к общему разговору; что-то они припасают, копят, чтоб потом у себя уже в комнатах нахотаться. Только б не над отцом. Нет, думала она, нет. Но что же это у них, гадала она, огорчаясь, и ей казалось, не будь ее здесь, они бы давно уже прыснули. Что-то такое там копится, копится, за тихими, почти застывшими лицами-масками; и не подступиться; они как надсмотрщики, как соглядатаи, выше, что ли, не то в сторонке от взрослых. Но, глядя на Пру, она видела, что по отношению к той это

сегодня не вполне справедливо. Она только-только расшевеливается, встает, еще и не подступает к черте. Слабый-слабый свет лег на ее лицо, как отблеск сияния Минты, восхищенным предчувствием счастья; словно солнце любви мужчины и женщины всходило над скатертью и она, неведомому, ему поклонялась. Она все поглядывала на Минту, робко, но с любопытством, и миссис Рэмзи, переводя взгляд с одной на другую, в душе говорила Пру: «Ты будешь такой же счастливой. Ты будешь даже гораздо счастливей, ведь ты моя дочь» (разумела она); ее дочь должна быть счастливей, чем чья-то еще. Но ужин кончился. Надо идти. Они только кожей на тарелках играют. Надо обождать, пока отсмеются над историей, которую рассказывает муж; у них с Минтой свои шуточки, про какое-то их пари. А там она встанет.

А ведь ей нравится Чарльз Тэнсли, подумала она вдруг; нравится, как он смеется. Нравится, что он так сердится на Пола с Минтой. Нравится его нелепость. Безусловно, в нем что-то есть. Ну, а милую Лили, подумала она и положила салфетку рядом с тарелкой, всегда выручит чувство юмора. И нечего о Лили волноваться. Она ждала. Она сунула салфетку углом под тарелку. Ну как они — кончили? Нет. Та история потащила за собою другую. Муж сегодня в невероятном ударе, и, желая, наверное, загладить перед стариком Августом эпизод по поводу супа, он втянул и его в разговор — они друг другу рассказывали про кого-то, кого знали по колледжу. Она смотрела в окно, где свечи горели жарче на совсем уже черных стеклах, смотрела в то заоконье, и голоса доходили оттуда странно, как церковная служба, потому что она не вникала в слова. Потом вдруг взрыв хохота и голос, единственный (Минтин), ей напомнили о мужских и мальчишеских возгласах на латыни в одном католическом храме. Она ждала. Муж заговорил. Он говорил что-то, и она догадалась, что это стихи — по ритму и еще по высокой печали в голосе:

Пройди тропой крутою в сад
Луриана, Лурили.
О том, что розы расцвели, нам уши прожужжат шмели.¹

Слова (она смотрела в окно) плыли, как лилии по водам за окном, ото всех отделенные, будто их и не произносит никто, будто сами собою рождаюсь:

Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли,
Как лес шумят, как листопад

Она не понимала значения слов, но, как музыка, они будто говорили ее собственным голосом, помимо нее, легко и просто говорили то, что весь вечер было у нее на душе, покуда она всякое произносила. Не глядя вокруг, она знала, что все за столом слушают голос:

Не знаю, думаешь ли ты,
Луриана, Лурили

с той же радостью, легкостью, что и она, будто наконец-то подыскали самое нужное и простое; будто это их собственный голос.

Но вот голос смолк. Она поглядела вокруг. Она себя заставила встать. Август Кармайкл поднялся и, так держа салфетку, что она обвисала у него в пальцах длинной белой робой, стоя, он выпевал:

И по ромашковым лугам
Верхами мимо короли
В сверканье лат спешат назад,
Луриана, Лурили,

и когда она проходила мимо, слегка к ней оборотясь, повторил:

Луриана, Лурили

и склонился перед нею в глубоком поклоне. Почему неизвестно, но она догадалась, что сейчас он к ней лучше относится; и с облегчением, с благодарностью она поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он для нее придержал.

¹ Из стихотворения английского поэта Чарльза Элтона (1778—1853).

Теперь надо было все продвинуть еще на один шаг. Стоя на пороге, она мгновение медлила участницей сцены, которая уже распадалась под ее взглядом, и потом, когда она снова двинулась и, взяв под руку Минту, выходила из комнаты — изменилась, очертилась по-новому; уже, она знала, прощально оглядываясь через плечо, — стала прошлым.

18

Как всегда, думала Лили. Вечно что-то надо сделать именно сию секунду, что-то миссис Рэмзи по каким-то резонам решает сделать безотлагательно, и пусть все еще стоят, острят, вот как сейчас, не в силах разобраться — перейти ли в курительную, в гостиную или разбрестись по мансардам. И посреди этого гама вы видите вдруг, как миссис Рэмзи с Минтой под ручку заключает: «Да-да, пора» и тотчас с таинственным видом удаляется по собственным надобностям. И стоило ей уйти, все распалось; слонялись, бродили без цели; мистер Бэнкс взял под руку Чарльза Тэнсли, и они вышли на террасу оканчивать дискуссию о политике, затеянную за столом, разом все сдвинув и повернув, будто, думала Лили, глядя им вслед и выхватывая словцо-другое относительно политики лейбористов, взошли на капитанский мостик и определили курс корабля; такое на нее произвел впечатление переход от стихов к политике; итак, Чарльз Тэнсли и мистер Бэнкс удалились, прочие же смотрели, как миссис Рэмзи, одна, поднимается по ступенькам в озарении ламп. И куда, удивлялась Лили, она поспешает?

Нет, она не то чтобы торопилась, избегала; она, в общем, даже медленно шла. Ей хотелось минуточку постоять после всей этой кутерьмы и выделить главное; единственно важное; отделить от всего остального; очистить от мусора чувств, шелухи слов, предъявить конклаву судей, ею же созванных для разбирательства. Пусть решат. Хорошо это, плохо, это верно или неверно? Куда мы

держим путь?¹ И прочее. Так она приходила в себя после развязки и неосознанно, несообразно звала ветки вяза за окнами стать ей опорой. Ее мир менялся; они оставались на месте. Ей казалось, что все теперь сдвинулось, стронулось. Все теперь будет прекрасно. Надо только кое-что уладить, думала она, механически отмечая недвижимое достоинство веток, а то величавый их взмыв (как корабля над волной), когда вспыхивал ветер. А было ветрено (она остановилась на лестнице — поглядеть). Было ветрено, и ветки вдруг обметали звезды, и звезды кидало в дрожь, и они отряхивали лучи и прошивали иглами листья. Да, дело сделано, кончено и, как все завершившееся, стало торжественным, и уже казалось, что так и было всегда, только все теперь очистилось от шелухи, от мусора чувств, очистилось и сделалось явным, а сделавшись явным, поступило в веденье вечности. Теперь они будут, думала она, уже опять поднимаясь по лестнице, до конца своих дней вспоминать этот вечер; этот ветер; луну; этот дом; и ее. Ей было особенно лестно воображать, как, влегши в их души, она до конца их дней там останется; и это, и это, и это, думала она, всходя по ступенькам, усмехаясь, но нежной усмешкой, дивану на лестнице (еще маминому), качалке (еще отцовской); карте Гебридов. Все это оживет в жизни Пола и Минты; этих Рэйли. Она попробовала новоиспеченное сочетанье на вкус; и, берясь за дверную ручку детской, она ощущала ту общность с другими, которую дарит нежность и при которой разделяющие нас переборки делаются до того тонки (и это такая отрада и легкость), что мы вливаемся в общий поток, и стулья, столы и карты — все делается их и твое, чье — не важно, и Пол и Минта повлекут это все по потоку, когда самой ее уже не будет на свете.

Она повернула дверную ручку, твердо, чтобы не скрипнула, и вошла, слегка поджав губы, как бы напоминая себе, что нельзя говорить громко.

¹ Перефразированные детские стишки: «Куда ты держишь путь, красавица моя?»

Но едва вошла, она с досадой увидела, что предосторожность напрасна. Дети не спали. Ужасно досадно. Хороша же и Милдред. Джеймс — сна ни в одном глазу, Кэм — торчком в кровати, Милдред — на полу босиком (а уже пол-одиннадцатого), — спорят. Что такое? Да опять эта жуткая голова вепря. Она велела Милдред убрать ее, а Милдред, конечно, забыла, и вот Кэм и не думает спать, Джеймс не думает спать, пререкаются, а уж час назад им полагалось уснуть. И как только Эдварда угораздило прислать этого жуткого вепря? И она-то сама, тоже дура, разрешила его тут повесить. Он крепко прибит, Милдред сказала, и Кэм из-за него не может уснуть, а Джеймс поднимает крик, едва до него дотронешься.

Но Кэм надо спать, спать (у него такие большие рога, говорила Кэм...), спать, спать и поскорей увидеть во сне прекрасные замки, — говорила миссис Рэмзи, садясь на кровать с ней рядом. По всей комнате эти рога, везде-везде, говорила Кэм. И правда... Едва зажигают ночник (а Джеймс без ночника спать не может), по всей комнате сразу расходятся тени.

— Кэм, ну подумай, ведь это просто старая свинка, — говорила миссис Рэмзи, — милая, черная свинка, ну, как свинки на хуторе.

Но Кэм утверждала, что страшные рога ее ловят повсюду.

— Ну, хорошо, — сказала миссис Рэмзи, — вот мы их укутаем, — и все следили, как она подступила к комоду, быстро, один за другим, выдергивала ящички и, не найдя ничего подходящего, сдернула с себя шаль и намотала на вепря, намотала, намотала, и вернулась к Кэм, и легла лицом на подушку с Кэм рядом, и сказала, что теперь все очень, очень красиво; эльфам страшно нравится; похоже на птичье гнездышко; похоже на дивную гору, вот как она за границей видала, с цветами и долами, там звенят колокольчики, птички поют, и там антилопы и козлики... Она видела, как ее распев эхом отдается у Кэм в голове, и Кэм уже повторяла за нею, что это похоже на

гору, на гнездышко, на сад, и там антилопы и козлики, и глазки у Кэм расширились, слипались, и миссис Рэмзи говорила все монотонней, ритмичней, бессмысленней, что пора закрыть глазки, и спать, и увидеть во сне горы, доли, и падучие звезды, сады, антилоп, попугаев и козликов, и все-все такое красивое, говорила она, очень медленно отрывая лицо от подушки, и все механичней журчала, журчала, пока, распрямясь, не увидела, что Кэм спит.

А теперь, шепнула она, перейдя к кровати Джеймса, Джеймсу тоже надо спать, ведь видишь, сказала она, вебрь тут как тут; никто его не тронул; все как хотел Джеймс. Да, он убедился, что вебрь тут как тут, под шалью. Но он еще что-то хотел спросить. Они завтра поедут на маяк?

Нет, сказала она, завтра — нет, но совсем-совсем скоро, она ему обещала, как только погода будет хорошая. Он был очень хорошим мальчиком. Сразу лег. Она его укрыла. Но он никогда не забудет, она знала, и она сердилась на Чарльза Тэнсли, на мужа, на себя — зачем в него вселили надежду. Потом, ощутив себя по плечам, вспомнив, что намотала шаль на голову вепря, она встала и чуть побольше опустила окно, и услышала ветер, и глотнула прохладного безразличия ночи, и прошуршала Милдред «спокойной ночи», и тихо-тихо опустила щеколду, и ушла.

Главное, книги бы на пол у них над головой не обрушил, — думала она, все досадуя на Чарльза Тэнсли. Оба спят чутко; оба очень возбудимые дети; а раз он мог такое сказать насчет маяка, ему, естественно, ничего не стоит и книги на пол обрушить, как только дети уснут, задеть локтем и сверзнуть со стола целую стопку. Ведь кажется, он потащился наверх работать. Но, правда, у него такой заброшенный вид; но, правда, она вздохнет с облегчением, когда он отбудет; но, правда, надо присмотреть, чтоб уж его завтра не обижали; но, правда, с мужем он чудо как мил; но, правда, манеры у него ни в какие ворота; но, правда, ему нравится, как он смеется, — спускаясь в этих мыс

лях по лестнице, она заметила, что луна уже смотрит в лестничное окно — круглая, желтая луна равноденствия; и она повернула, и все увидели, как она стоит над ними на лестнице.

Это моя мама, — думала Пру. Да. Пусть Минта смотрит; пусть Пол Рэйли смотрит. Мы все — что? А она настоящая¹, — чувствовала Пру, и никто на свете не мог сравниться с ней; с ее мамой. И, только что по-взрослому беседовавшая с другими, она стала снова маленькой девочкой, и все, что делали они, — оказалось игрой, и вопрос был только в том, позволит ли мама игру, или ее запретит. И, думая про то, как повезло Минте, и Полу, и Лили, что они ее видят, и какое невозможное счастье ей самой привалило, и что она никогда не станет взрослой и не уедет из дому, она сказала, как маленькая:

— Мы хотели пойти на берег, на волны посмотреть.

В миг, ни с того ни с сего миссис Рэмзи превратилась в двадцатилетнюю, одержимую весельем девчонку. Лихую полуночницу. Да-да, пусть идут, конечно, пусть идут, кричала она и смеялась; и, бегом одолев последние две-три ступеньки, она поворачивалась к одному, к другому, и смеялась, и кутала Минтины плечи шарфом, и говорила, что ей бы страшно хотелось пойти, и они, наверное, страшно поздно вернутся. А часы у них есть?

— Да, есть, у Пола, — сказала Минта. Пол выкатил из замшевого футлярчика изящные золотые часы, чтобы ей показать. И, протягивая ей часы на ладони, он думал: «Она знает. Ничего не надо говорить». Показывая ей часы, он говорил: «Я это сделал, миссис Рэмзи. А все благодаря вам». И, глядя на золотые часы у него на ладони, миссис Рэмзи чувствовала — вот счастливица Минта! Стать женой человека, у которого золотые часы в замшевом футляре!

— Как бы мне тоже хотелось пойти! — вскрикнула она. Но ее удерживало что-то такое сильное,

¹ Ср.: «Все мы поддельные, а он настоящий» («Король Лир», акт III, сц. IV.) (Пер. Б. Пастернака.)

что и спрашивать даже не надо — что именно. Разумеется, ей невозможно было с ними пойти. Но она бы пошла с удовольствием, если б не то, другое, и, развлекаясь смешной мыслью (какое счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов), она с улыбкой вошла в другую комнату, где за книгой сидел ее муж.

19

Разумеется, говорила она себе, входя в эту комнату, ей там что-то такое понадобилось. Чего-то хотелось. Прежде всего, хотелось сесть на определенное кресло под определенную лампу. Но ей хотелось чего-то еще, хоть она не знала, понятия не имела, чего именно. Она посмотрела на мужа (берясь за чулок и принимаясь вязать) и поняла, что ему не хотелось, чтоб его прерывали — это было ясно. Он читал и был увлечен. Он смутно улыбался, и она поняла, что он сдерживает себя. Он с треском перебрасывал страницы. Он играл. Возможно, воображал себя одним из героев. Интересно — что за книга? А-а, это старый сэр Вальтер, разглядела она, пока прилаживала абажур, направляя свет на вязанье. Потому что Чарльз Тэнсли говорил (она кинула взглядом по потолку, как бы опасаясь, что оттуда посыпется грохот сваленных книг), говорил, что Вальтера Скотта в наше время читать невозможно. Вот муж и подумал: «Так и обо мне скажут»; и взял эту книгу. И если он придет к заключению «Это верно», про то, что говорил Чарльз Тэнсли, он успокоится насчет Вальтера Скотта. (Она видела — он взвешивал, сопоставлял, прикидывал то да се.) Но не насчет себя. Вечно он насчет себя беспокоится. Это печально. Вечно дергается из-за собственных книг — будут ли их читать, хороши ли, почему не становятся лучше, да что обо мне скажут? Недовольная такими своими мыслями про него, гадая, не понял ли кто за ужином, откуда взялось его раздражение, когда речь зашла о долговечности славы и книг, гадая, не над ним ли смеялись дети, она спустила петлю, и лоб и губы подернулись у

нее как тонко по меди вытравленной сеткой, и она затихала, как дерево трепещет, дрожит, а потом затихает, листок за листком, когда успокоится ветер.

Не важно, совсем это не важно, думала она. Великий человек, великая книга, слава — кто скажет с уверенностью? Ничего она этого не понимала. Но уж так он устроен со своим правдолюбием — и за ужином она ведь, главное, думала: хоть бы он заговорил! Она совершенно на него полагалась. И, опуская все это, как минуешь, ныряя, там водоросли, там пузыри, там соломинки, снова она почувствовала, погружаясь все глубже, как почувствовала тогда в прихожей, сквозь пестрый разговор — «Чего-то мне хочется — я зачем-то пришла», — и она падала глубже и глубже, сощуриив глаза, так и не разобравшись, что же это такое. И она выжидала, она вязала и думала, и вот те слова, которые произносились за ужином:

О том, что розы расцвели,
Нам уши прожужжат шмели,

стали плескаться, качаться у нее в голове, и покуда они плескались, качались, — еще слова, как затененные огни, тот красный, тот синий, тот желтый, возникали, лились, ускользали, или это снимались с насестов; и летели, и кричали они, а им вторило эхо; и она повернулась и нашарила на столике книгу.

Все жизни, те, что впереди,
Те, что давно прошли,
Как лес шумят, как листопад,

тихонько прощуришала она и воткнула спицы в чулок. И она открыла книгу и принялась читать наобум, наугад, будто карабкаясь вверх, вниз, пробираясь густой лепестковою осыпью и едва различая — тот вот белый, тот — красный. Сперва она совсем не понимала слов.

Когда читаю в свитке мертвых лет
О нежных девушках, давно безгласных¹,

¹ Шекспир. Сонет 106. (Пер. С. Маршака.)

прочитала она и перевернула страницу и, во власти ритма, доверяясь его зигзагам, перебиралась со строки на строку, как с ветки на ветку, от одного красного и белого цветка к другому, пока не очнулась от легкого звука, — муж хлопнул себя по ляжкам. На секунду их глаза встретились; но разговаривать им не хотелось. Им нечего было друг другу сказать, но что-то все равно перешло от него к ней. Жизнь сама, ее власть, невероятное удовольствие вызвало этот хлопок по ляжкам. Ты уж меня не трогай, будто умолял он, ты ничего не говори. Только сиди тут, пожалуйста. И он продолжал читать. У него подрагивали губы. Его переполняло прочитанное. Оно его укрепляло. Он начисто позабыл о мелких шероховатостях минувшего вечера, о том, как тяжело, как скучно было ему торчать за столом, покуда прочие без удержу ели и пили, и как сердился он на жену, как задело его и унизило, что о его книгах попросту не было речи, будто их и не существует на свете. А теперь ему было с высокой горы наплевать, кто достигнет конца алфавита (если мысль человеческая, как алфавит до конца, добирается до вершин). Кому-нибудь да удастся — не ему, так другому. Сила и цельность этого человека, простое, без штук, понимание главных вещей, эти рыбаки, бедное, старое, полубезумное создание в хижине Макльбеккита¹ — дали ему ощущение такой силы, такого освобождения, что он почувствовал невозможное сжатие в горле, он ликовал, он не мог сдержать слез. Чуть приподняв книгу, чтобы спрятать лицо, он их и не сдерживал, и качал головой, и раскичивался, и совершенно забыл себя (лишь два-три соображенья мелькнули — о морали, об английском и французском романе, о том, что у Скотти связаны руки, но понимание жизни, быть может, не менее верно, чем у прочих иных), забыл о своих терзаниях и несостоятельности, они были стерты, стерты решительно гибелью бедного Стини и горем бедного Макльбеккита (здесь Скотт в своем

¹ Персонаж романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816).

лучшем виде) и странным восторгом и ощущением силы, которое они ему дали.

Н-да, пусть-ка попробуют переплюнуть старика, думал он, дочитав главу до конца. Он будто с кем-то спорил и одержал верх. Им его не переплюнуть, пусть говорят, что хотят; а собственная его позиция укрепилась. Любовная пара – весьма не ахти, думал он, снова все перебирая в уме. Это весьма не ахти, а то – первоклассно, думал он, сопоставляя частности. Но надо еще перечесать. Восстановить целиком образ вещи. От окончательного суждения он покуда воздержится. И он вернулся к другой мысли – если уж молодежи не нравится это, естественно, он сам ей не может понравиться. И тут нечего жаловаться, думал мистер Рэмзи, изо всех сил одолевая порыв пожаловаться жене, что у молодежи он не пользуется успехом. Но он решил – нет; не станет он ее мучить. Он смотрел, как она читает. У нее за книгой такой благостный вид. Приятно было думать, что все убралось и оставили их одних. Смысл жизни не только в постели, подумал он, снова возвращаясь к Бальзаку и Скотту, к английскому роману и французскому роману.

Миссис Рэмзи подняла голову и, как человек в легкой дреме, будто говорила, что, если он хочет, она проснется, она непременно проснется, ну, а нет, так можно ей еще чуть поспать, еще только чуть-чуть поспать? Она карабкалась по своим веткам, так и сяк, нашаривая цветок за цветком.

– Пурпурных роз душистый первый цвет...¹

читала она и, так читая, взбиралась вверх, на самую маковку. Как хорошо! Как вольно! Все мелочи дня липли к этому магниту; душа очищалась от мусора. И вдруг – стройный, цельный – он оказался у нее на ладони, дивный, разумный, округлый, верх совершенства, крепкая вытяжка из жизненных соков – сонет.

¹ Шекспир. Сонет 98. (Пер. С. Маршака.)

Но она почувствовала на себе взгляд мужа. Он на нее смотрел с насмешливой улыбкой, как если бы нежно ее корил за то, что уснула среди бела дня, но тем временем думал: читай-читай. Сейчас ты зато не печальная. И он гадал, что же она такое читает, и он преувеличивал ее невежество, ее простоту, потому что ему нравилось думать, что не так уж она образованна, не так уж умна. Интересно, хоть понимает она, что читает? Наверное нет, он думал. Она поразительно хороша. Ее красота, если это только мыслимо, все расцветает.

Была зима во мне, а блеск весенний
Мне показался тенью милой тени.¹

— А? — спросила она, этим сонным эхом отзываясь на его улыбку, и подняла взгляд от книги.

— Мне показался тенью милой тени... — прошептала она и положила книгу на столик.

Что произошло, перебирала она, снова взяв в руки вязанье, с тех пор, как они в последний раз виделись наедине? Она вспомнила, как переодевалась к ужину, как увидела луну; Эндрю слишком высоко держал тарелку за ужином; какие-то слова Уильяма ее огорчили; грачи на вязах; диван на лестнице; дети не спали; Чарльз Тэнсли вечно их будит, обрушивая свои книги — ах нет, это же она сочинила; а у Пола замшевый футляр для часов. Что бы ему такое сказать?

— Они обручились, — сказала она, принимаясь вязать. — Пол и Минта.

— Я догадался, — сказал он. Тема казалась исчерпанной. У нее душа все еще качалась — вверх-вниз, вверх-вниз — в такт стихам; он все еще чувствовал себя сильным, прямым после сценических похорон Стини. И оба молчали. Потом она поняла: ей хотелось, чтобы он сказал что-нибудь.

Что-нибудь, что-нибудь, — думала она, накидывая петлю. Что угодно сойдет.

¹ Там же.

— Какое, наверное, счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов, — сказала она, потому что такие шутки были у них в ходу.

Он фыркнул. Он эту помолвку расценивал так же, как все вообще помолвки; девица чересчур хороша для юнца. А у нее в тайниках сознания вставало: и почему всегда так хлопчешь, чтобы люди женились? И все вообще — для чего и зачем? (Что бы они ни сказали теперь, будет правдой.) Ну, скажи что-нибудь, думала она, только чтоб услышать его голос. Она чувствовала: тень, коснувшаяся, окутавшая их обоих, теперь смыкалась над нею — одной. Скажи хоть что-нибудь, глядя на него, молила она, как на помощь звала.

Он молчал, раскачивал компас на своей часовой цепочке, думал о романах Скотта и романах Бальзака. Но сквозь вечеряющие стены их близости — ведь их ненароком притягивало друг к другу, и они были уже совсем-совсем близко, бок о бок, — она почувствовала, как своим умом он будто застит ей свет; он же, едва мысли ее приняли оборот, которого он не любил и честил пессимизмом, стал дергаться, хоть ничего не сказал, стал поднимать руку ко лбу, крутить прядь и отшвыривать, покрутив.

— Ты сегодня не кончишь этот чулок, — сказал он и ткнул в чулок пальцем. А ей того и надо было — резкости, недовольства в его голосе. Раз он говорит, что нельзя быть пессимисткой, значит, наверное, нельзя, — думала она; брак еще окажется на редкость удачным.

— Да, — сказала она, разглаживая чулок на коленях. — Не кончу.

Но что же дальше? Ведь он все смотрел на нее, но взгляд теперь изменился. Ему чего-то хотелось, — хотелось того, что ей всегда так трудно было ему дать; хотелось, чтобы она сказала ему, что она его любит. А вот это она, ну, никак не могла. Ему говорить легко. Он все может говорить, а она вот нет. Поэтому именно он и говорит всегда разные вещи, а после почему-то

вдруг обижается и ее корит. Бессердечная женщина — он ее называет; ни разу ему не сказала, что любит его. Но не так это все, не так. Просто она не умеет выражать свои чувства. На пиджаке у него ни сориночки? Так-таки ничего не может она для него сделать? Она встала к окну с красно-бурым чулком в руке, — отчасти чтоб от него отвернуться, отчасти потому, что была не прочь под его взглядом смотреть на маяк. Она знала: он повернул голову, едва она отвернулась; он на нее смотрел. Она знала: он думал — никогда еще не была ты так хороша. И она чувствовала, что хороша. Неужто ты мне хоть раз в жизни не скажешь, что любишь меня? Он так думал, потому что расстроился из-за Минты, из-за своей книги и оттого, что кончался день, и они ссорились из-за этого маяка. Но она не могла; не могла это выговорить. Потом, зная, что он на нее смотрит, она не сказала ничего, зато повернулась с чулком в руке и на него поглядела. И, глядя на него, она начала улыбаться, и хоть она ничего не сказала, он знал, ну конечно, он знал, что она любит его. Этого он не мог отрицать. И, улыбаясь, она поглядела в окно и сказала (а сама думала — что на свете сравнишь с этим счастьем?):

— Да, ты прав оказался. Завтра будет дождь.

Она ничего не сказала, но он знал. И она на него поглядела с улыбкой. Потому что снова она победила.



II. ПРОХОДИТ ВРЕМЯ

1

— Что ж, подождем, будущее покажет, — сказал мистер Бэнкс, входя с террасы.

— Темно, почти ничего не видно, — сказал Эндрю, поднявшись с берега.

— Не разберешь, где земля, где вода, — сказала Пру.

— Свет оставим? — спросила Лили, когда все, войдя, снимали плащи.

— Нет, — сказала Пру, — зачем, раз все вошли.

— Эндрю, — крикнула она через плечо, — ты погаси свет в прихожей!

Постепенно везде погасили свет, только у мистера Кармайкла, любившего почитать Вергилия на сон грядущий, еще какое-то время горела свеча.

2

И вот погашены лампы, зашла луна, и под тоненький шепот дождя началось низвержение тьмы. Ничто, казалось, не выживет, не выстоит в этом потоке, в этом паводке тьмы; она катила в щели, в замочные скважины, затекала под ставни, затопляла комнаты, там кувшин заглотнет, там стакан, там вазу с красными и желтыми далиями, там угол, там неуступчивую массу комода. И не одна только мебель сводилась на нет; уже почти не осталось ни тела, ни духа, о котором бы можно

сказать: «Это он» или «Это она». Лишь поднимается вдруг рука, будто что-то хватая, отгоняя что-то, или кто-то застонет, или вслух захохочет, будто приглашая Ничто посмеяться.

В гостиной, в столовой, на лестнице — замерло все. И тогда-то сквозь ржавые петли и взбухшее от морской сырости дерево (дом ведь, в общем, развалина) отпавшие от тугого, упрямого ветра легкомысленные ветерки отважились забраться вовнутрь. Так и виделось, как, заявившись в гостиную, шелестя клочками обоев, они, хорохорясь, спрашивают — сколько же можно висеть? Не пора ль на покой? Потом, осторожно, вдоль стен, они крались дальше, будто задумчиво спрашивая у красных и желтых розанов на обоях, не пора ли им выцвести, и дознавались (вкрадчиво, спешить было некуда) у обрывков писем в корзинке, у цветов и у книг (беззащитных сейчас), кто они им — союзники? Или враги? И надолго ль все это?

А потом, подтянувшись на случайном луче огненной звезды, заплутавшего корабля или это маяка, может быть, на коврах и ступенях, ветерки пробрались по лестнице, пробрались к спальне. Но тут уж им надо уняться. Все прочее пусть пропадает пропадом, здесь же все прочно. Скользким лучам, шальным ветеркам, дышащим над самой постелью, приказано — прочь. И устало, как призраки, подобные перисто-легким перстам и легкопружинистым перьям, только глянув на смеженные веки, на вольно скрещенные руки, подобрав одежды, устало они отступили. Льстиво стелясь, отступили на лестницу, в комнаты для прислуги, в мансарды; спускаясь, согнали румянец с яблок на подносе в столовой, ощипали с роз лепестки, ощупали на мольберте картину, взъерошили ворс на ковре, песком посыпали пол; потом, вдруг, разом все собрались; убрались восвояси; на прощанье все разом издали бесцельный жалостный стон; и кухонная дверь отозвалась; распахнулась; никого не впустила; захлопнулась.

(Тогда мистер Кармайл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.)

Но что такое, в сущности, одна ночь? Запинка на повороте, особенно, когда тьма так скоро линяет, так скоро птица поет, кричит петух, и волна выносит на впадине робкую зелень, как летучий листок. Но идет ночь за ночью. У зимы их непочатая колода в запасе, вот она их и мечет, ровно, сдержанно, неутомимыми пальцами. Ночи делаются длиннее; темней. Иные проносят поверху мерцанье планет, яркие световые круги. Осенние деревья, обобранные, занимаются алостью флагов, горюющих в сумеречной прохладе соборов над мрамором, над золотыми строками о смерти в бою, о том, как в песках дальней Индии тлеют славные кости. Осенние деревья сияют в желтом свете луны, луны равноденствия, и она умеряет рвенье трудов, и оглаживает стерню, и синим бегом волны окатывает берег.

Вот, кажется, разжалобясь человеческим покаянием и нашими подвигами, божественное милосердие рвануло занавес на сторону и показало за ним отдельно, отчетливо: вскочившего зайца; качанье челна — и все это, стоило нам заслужить, навеки осталось бы с нами. Но нет. Божественное милосердие занавес тотчас задергивает; ему претит это все; оно кроет свои сокровища грохотом града, кружит, перемешивает, и никогда им не знать покоя, а нам не составить по жалким осколкам прекрасного целого, не разобрать по обрывкам ясных слов правды. Наше покаяние стоит одного только взгляда; наши подвиги — только и стоят отсрочки.

Ветер и гибель теперь — хозяева ночи; деревья гнутся, скрипят и густым листопадом обшивают лужайку, душат сточные желоба, залепляют мокрые тропки. А море мечется, мается, и если кто-то стряхнет одеяло и сон, и ринется на берег, и станет бродить взад-вперед по песку в надежде найти ответы на свои вопросы и спутника в своем одиночестве, — он там не найдет ничего, ничего, скорое божественное заступничество не кинется уни-

мать ночь, мир не будет услужливо отражать его душу. В руке его вянет чужая рука; голос воет в уши. И в пустом безумии ночи уже почти нелепыми кажутся «что?» «отчего?» и «зачем?», погнавшие его из постели.

(Мистер Рэмзи, спотыкаясь на ходу одним темным утром, распростер руки, но, так как миссис Рэмзи вдруг умерла прошлой ночью, он просто распростер руки. Они остались пустыми.)

4

А в пустой дом, где заперты двери и матрасы скатаны, ворвались шальные ветерки — авангардом великого воинства, — схватились с голыми досками, ударили по их обороне, развернулись веером, но и в гостиной, и в спальне встретили весьма жалкие силы: хлопающие обои, расстонавшиеся половицы, голые ножки столов да фарфор, уже пыльный, тусклый, растресканный. То, что скинули и сбросили люди — пара ботинок, охотничий шлем, выцветшие юбки и пиджаки по шкафам, — одно и хранило человеческий облик и помнило среди пустоты, как когда-то его наполняли, одушевляли; как руки когда-то возились с крючками и пуговицами; как зеркало ловило лицо; ловило вогнутый мир, и там поворачивалась голова, взлетала рука, отворялась дверь, вбегали дети: и зеркало снова пустело. Теперь день за днем луч света, отражением лилии на воде, поворачивался на стенке напротив. И тени деревьев, качаясь под ветром, кланялись там же на стенке, и мгновенно мutilи пруд, в котором луч отражался; да тень пролетающей птицы нежным пятном иногда порхала по полу спальни.

Так красота здесь царила и тишина, и вместе они были образом красоты; форма, не разогретая жизнью; одинокая, как вечером пруд, дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший гаснущий пруд, что хоть его и застigli, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне, среди

обернутых кружек, затянутых кресел, и даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие, вечными своими вопросами «Вы увянете?» «Вы погибнете?» почти не тревожат покоя, равнодушия, вида чистейшей нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят и мимо ушей пропускают ответ: мы остаемся.

Казалось, ничего не разрушит образ, не прорвет качающийся намет тишины, который месяц за месяцем в пустыне комнат узором вплетал в себя падающие крики птиц, гудки пароходов, жужжанье и шелест полей, чей-то бас, и собачий лай — вплетал и укутывал дом в тишину. Только стрельнула раз половица, а еще среди ночи с воем, бешено, как отрывается от горы и с грохотом крушится в ущелье застоявшийся веками утес, край шали отцепился и стал качаться. Но снова спустился покой; и кивала тень; и луч преклонялся молитвенно перед собственным отраженьем, когда миссис Макнэб, раздирая намет тишины руками, нахрустевшимися по гальке, явилась, как было ей велено, отворить все окна и прибрать в комнатах.

5

Кренясь (она переваливалась, как лодка в волнах) и косясь (взгляд ни на чем не задерживался, со всего соскальзывал, уклонялся от злобного, враждебного мира: она была придурковата, сама это знала), тиская перила, втаскиваясь наверх, переваливаясь из комнаты в комнату, она напевала. Терла высокое зеркало, косилась на собственное валкое отражение и напевала что-то, что, наверное, лет двадцать назад гремело со сцены и, привязчивое, заставляло многих плясать, а теперь в беззубом рту поденщицы окончательно рассталось со смыслом и было — придурковатость сама, и веселость, и терпенье, ничему не поддающееся терпенье; и когда она, кренясь, терла, мыла, скребла, она как рассказывала, что жизнь нам на то и дана, чтобы горе мыкать, вечно вставать на заре и плюхаться ночью в постель, вечно ворочать и

прибирать то да се... Не очень-то он хорош, этот мир, за семьдесят лет уж она убедилась. Ее скрючило всю от усталости. Сколько еще, спрашивала она, кряхтя, ерзая на коленках под кроватью, протирая доски, — сколько это еще протянется? Но снова она поднималась на ноги, разгибалась, поднатуживалась, и со своим этим взглядом, уклончивым, ускользящим как бы от собственного лица, от собственной маеты, стояла перед зеркалом, и, усмехнувшись чему-то, снова принималась вытряхивать половики, вытирать и ставить на место фарфор, и смотрела искоса в зеркало, будто ей в конце концов есть чем утешиться, и в ее жалобную литию вплетена неисправимая, неприличная даже надежда. Наверное, какие-то мирные виды открывались ей над лоханью, или, скажем, когда бывала с детьми (двух она в подоле принесла, один от нее сбежал), или в пивной, когда пропускала стаканчик, или когда разный хлам ворошила, роясь в укладке. Была же, значит, прореха во тьме, расщелина в сплошной черноте, и сквозь нее пробивалось достаточно света, раз лицо ее в зеркале сводило усмешкой, и, возвращаясь к работе, она мурлыкала стародавнюю дребедень. Мистики, духовидцы — те бродили по берегу, ворошили камни и лужи, спрашивали: «Что я такое? Что это такое?» И вдруг им бывал дарован ответ (они сами в нем не могли разобраться), от которого делается уютно в пустыне и на морозе тепло. А миссис Макнэб — она все пила и любила посплетничать.

6

Весна без единого листика, голая, яркая, как ярая в целомудрии дева, заносчивая в своей чистоте, была уложена на поля, бессонная, зоркая и решительно безразличная к тому, что будет делать и думать ее наблюдатель.

(Пру Рэмзи, склоняясь на руку отца, была выдана замуж тем маем. Уж куда как справедливо, люди говорили. И прибавляли — до чего ж хороша!)

Близилось лето, выгягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, во рошившим лужи, стали являться фантазии самого странного свойства — будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака на то и сходятся вместе, чтобы собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеркалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтанья и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина и женщина, и сама седая земля (но если спросить впрямую, все тотчас шло на попятный), что верх одержат добро и счастье; победит порядок; и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу, далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла. Весна же тем временем, нежнее, одевалась жужжанием пчел, комариными танцами, укутывалась в свой плащ, прикрывала глаза, отводила лицо и в порхании теней и ливней уже вникала в людские печали.

(Пру Рэмзи умерла тем летом от какой-то болезни, связанной с родами. Вот уж трагедия, люди говорили. Кто-кто, а она, говорили, заслужила счастье.) И вот в летний зной ветер снова выслал к дому своих соглядатаев. Паутина раскачивалась на солнечных пыльных столбах; а в оконные стекла стучались без устали по ночам сорняки. Когда падала тьма, луч маяка, прежде так властно распластывавшийся на ковре, во тьме оглаживая узор, теперь набирался вкрадчивости у лунного света, медлил, тайком озирался и возвращался, влюбленный. Но в тиши ласк, когда прочный луч улегся поперек постели, вдруг сорвался утес; отцепился второй край шали; и повис, и болтался. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда

в пустых комнатах стояло жужжание мух и эхо с полей, длинный вымпел тихо болтался, веял бесцельно; а солнце так исхлестало голые комнаты, напустило туда такого желтого чада, что миссис Макнэб, когда вломилась и переваливалась из комнаты в комнату, скребла и терла, — выглядела тропической рыбой, пробиравшейся по пробитым солнцем волнам.

Шали бы дремать, ей бы спать, но попозже, летом, пришел зловещий звук, как ветром придущенный удар топора, он повторялся настойчиво, и узел шали от него расслаблялся все больше и совсем уж потрескались чаши в буфете. А то в буфете вдруг звякал стакан, будто так истошно, так пронзительно вопил кто-то, что даже стаканы в буфете кидало в дрожь от этого вопля. И снова спускалась тишина, и тогда, ночь за ночью, а иной раз и среди бела дня, когда ярко вычерчивались розы на обоях, в эту тишину, это безразличие, неприкосновенность — врвался глухой стук, будто падало что-то.

(Взорвалась граната. Двадцать или тридцать юношей погибли во Франции, среди них и Эндрю Рэмзи, который, к счастью, умер мгновенно.)

В то лето тем, кто бродил по берегу и допытывался у неба и моря, какую несут они весть, какое подкрепляют виденье, среди привычных знаков божественной щедрости (закат над морем, бледный рассвет, восход луны, рыбацьи лодки на лунной дорожке, дети, швыряющие друг в дружку травой) приходилось замечать кое-что, не вязавшееся с этой безмятежностью и благодатью. Например, немой призрак пепельно-серого корабля; он появлялся, скрывался; по скользкой глади моря растекалось багровое пятно, будто что-то невидимое прорвалось и кровоточит. Эти помехи портили сценку, призванную пробуждать возвышеннейшие чувства, наводить на приятнейшие умозаключения, и затрудняли прогулку по берегу. Нельзя было их просто отбросить, перечеркнуть их роль для ландшафта; и, блуждая по берегу,

далее рассуждать о том, каким образом внешняя красота отображает красоту внутреннюю.

Подхватывает ли природа то, что человек предлагает? Завершает ли то, что он затевает? С равным безразличием смотрит она на его нужды, снисходит к его низости, допускает его мученья. Так, значит, все эти мечты насчет того, чтобы разделять, завершать и находить одиноко на берегу все ответы, — лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь блистательная поверхность, образующаяся в состоянии покоя, покуда более благородные силы дремлют на глубине? Раздраженному, изверившемуся, но упирающемуся (красота ведь расставляет силки, соблазняет привадами) бродить по берегу уже не под силу; созерцание невыносимо; зеркало разбито.

(Мистер Кармайкл той весной выпустил сборник стихов, который имел неожиданный успех. Война, люди говорили, оживила интерес к поэзии.)

7

Ночь за ночью зима и лето, грохот бурь и стрелою жужжащая ведренная тишина без помех справляли свою тризну. В верхние комнаты (если было бы там, кому слушать) несся снизу, из пустоты, только рев безбрежного хаоса, когда его резали молнии; и расходились ветры, и вал налезал на вал, и они грудились осатанелыми левиафанами, и опрокидывались, расплескивая свет или тьму (ночь, день, месяц, год — все мутно слилось), и могло показаться, что вот-вот всполошенный, идиотски заигравшийся мир ненароком сам себя сокрушит и оборет.

Весною в садовых урнах всходили случайные семена, и урны опять веселели. Фиалки тянулись вверх и нарциссы. Но тихие ясные дни так же себя не помнили, как ошалелые ночи, и деревья стояли, и стояли цветы, и глядели перед собою, глядели в пустое небо, слепые, и поэтому страшные.

Греха на душу не взявши, они ведь не думали ворочаться (кто говорил — и совсем, никогда, а дом, что ли, на михайлов день продадут), миссис Макнэб нагнулась и нарвала букет — взять с собой. Пока прибиралась, она его положила на стол. Цветы — дело хорошее. Чего им зря пропадать? Раз дом продается (она стояла подбочась перед зеркалом), за ним догляд будет нужен. Куда там. Сколько лет пустой простоял — без единой души. Книги, то да се, — все плесневелое, война, рабочие руки взять негде, ну и не прибирались, как положено. А теперь разве одному человеку сладить? Сама она старая стала. Ноги болят. Книги небось все выложить надо на травку, под солнышко; в прихожей штукатурка обсыпалась; над кабинетом водосток забило, воды натекло; ковер вон весь сгнил. Им бы самим приехать; хоть послали б кого. Шкафы от одежды ломятся; по всем комнатам побросали одежду. И что с нею делать? Моли невидимо развелось. У миссис у Рэмзи в одеже. Бедная. Уж ей одежей не пользоваться. Померла, говорят; давно, в Лондоне. Вон серый плащ старый, она его, в саду когда работала, надевала (миссис Макнэб пощупала плащ). Бывало, миссис Макнэб идет по въезду с бельем, а та над цветами стоит (теперь-то на сад смотреть тошно, весь зарос, кролики с клумб от тебя так и прыскают), стоит она в этом сером плаще, а с ней кто-нибудь из детишек. Вон — туфельки, башмаки, а на туалете гребеночка, щеточка, будто вот завтра она и объявится. (В одночасье, говорят, померла.) А они было приехать надумали, да отложили, война — не больно наездишься; так все годы и прособирались; деньги, правда, слали; но ни словечка не написали, не ездили, и думают — все, как кинули, прости Господи, так и застанут. А в комод-то чего не напихано, носовых платков, всяких ленточек! Да, бывало, она идет по въезду с бельем, а в саду миссис Рэмзи стоит.

«Добрый вечер, миссис Макнэб», — скажет, бывало.

Такая всегда обходительная. Девушки, бывало, на нее не нарадуются. Да только с той поры, прости Господи, много воды утекло (она задвинула ящик комода); многие родных потеряли. И она вот померла; и мистера Эндрю убили; и мисс Пру тоже померла, говорят, первым ребеночком; да ведь и все в эти годы потери несли. Цены поднялись, прямо стыд, а падать — не падают. Она так и видела ее в этом сером плаще.

«Добрый вечер, миссис Макнэб», — скажет, бывало, и всегда кухарке велит для нее тарелочку горячего молочного супа сберечь — небось догадается, что суп ей не повредит, раз она притащилась из города с тяжелой поклажей. Миссис Макнэб так и видела, как она гнулась над своими цветами (и смутная, зыбкая, как желтый луч, как светлый кружок на дальнем конце телескопа, дама в сером плаще, склоняясь над своими цветами, скользила медленно по стене спальни, по туалетному столику, над умывальником, покуда миссис Макнэб возилась, скребла и терла).

Как кухарку-то звали? Милдред? Мэрион? Вроде похоже. Ох, позабыла. Память совсем никуда. Кухарка-то прямо порох. Известно — рыжая. Ну и смеху у них бывало! Миссис Макнэб на кухне всегда привечали. И то сказать, уж она умела их насмешить. Тогда все вообще лучше было.

Она вздохнула: одной женщине с такой работой не сладить. Она покачала головой. Тут детская была. Ох, и сырости тут; штукатурка вся порастрескалась. Ишь чего удумали — свиную голову на стену вешать. Тоже заплесневелая вся. А по чердаку всюду крысы. Крыша-то течет. А они — сами не едут; писем не шлют. Засовы везде заржавели, вот двери и хлопают. И не останется она тут в темноте, одна-одинешенька. Да без подмоги и не сладить, не сладить. Она кряхтела, сипела. Захлопнула дверь. Повернула в замке ключ, и дом остался напертый, замкнутый, тихий, один-одинешенек.

Дом был брошен; дом был оставлен. Был — как пустая мертвая раковина на песке, покрывающаяся соляной сыпью. Будто долгая ночь воцарилась; будто шальные ветерки, липкие веяния победили. Сквороды заржавели, и прогнили ковры. По комнатам ползали жабы. Праздно, бесцельно болталась шаль. Чертополох пробился между плитами в погребке. Ласточки свили гнезда в гостиной; по полу валялась солома; комьями падала штукатурка; гонимы были стропила; крысы рыскали за добычей и рвали ее за панелями; крапивницы, вылупившись из хризалид, до смерти бились об оконные стекла. Мак взошел среди далий; лужок колыхался высокой травой; гигантские артишоки громоздились меж роз; махровая гвоздика росла вперемешку с капустой; а вместо робкого постука кустов, зимними ночами в окно барабанили мощные ветки и колкий терновник; и летом вся комната теперь стояла зеленая.

Какая сила удержит нерасчетливое буйство природы? Привидевшаяся миссис Макнэб дама? Ребеночек, тарелка молочного супа? Солнечным зайчиком проскользнули они по стене — и исчезли. Она заперла дверь; ушла. Одной женщине с этим не сладить, говорила она. Не писали. Не посылали. По ящикам сколько пропадает добра — надо же, как все побросали, говорила она. Все в негодность пришло. Только луч маяка заглядывал в комнату, бросал взгляд на кровать, на ослепшую зимнюю стену, равнодушно оглядывал чертополох, и ласточек, крыс, и солому. С ними уже не было сладу; им уже не было удержу. Пусть задувает ветер, обсыпается мак, пусть гвоздика растет вперемешку с капустой. Пусть ласточки гнездятся в гостиной, чертополох душит плиты, а на выцветшем ситчике кресел загорают репейницы. Пусть осколки стекла и фарфора валяются на кухне, опутанные сорной травой.

Потому что пришел тот миг, когда зябко дрожит неуверенная заря, когда ночь застывает, когда

одно перышко может все перевесить. Одно-единственное перышко — и дом, обветшалый, осевший, рухнул бы, канул во тьму. В ободренных комнатах распивали бы чай пикнирующие, любовники бы там находили приют, обнимаясь на голых досках; пастух бы подничал там на кирпичиках; и бродяга бы спал на полу, от стужи закутавшись в плащ. А там — провалилась бы крыша; терновник и болиголов заглушили бы тропки, и ступени, и окна, так окутав курган, что заплутававший прохожий только по выглянувшим из крапивы факельным лилиям, по осколку фарфора, мелькнувшему в болиголове, догадался бы, что тут жили когда-то: был дом.

Упади это перышко, надави оно на чашу весов, и дом бы рухнул в пески забвенья. Но нашлась одна сила; вовсе уж не такая разумная; она крепилась, косилась; не вдохновлялась на подвиги торжественными обрядами и песнопениями. Миссис Макнэб стонала; миссис Бэст кряхтела. Обе были старухи; неповоротливые; у обеих болели ноги. Они наконец явились с ведрами, швабрами; и принялись за работу. Не взглянет ли миссис Макнэб, в каком состоянии дом? — ни с того ни с сего одна барышня собралась написать. Пожалуйста, сделай им то; пожалуйста, сделай им се. И главное, поскорей. Возможно, они летом приедут; оставили все до последнего; думали, как бросили, так и застанут. Медленно, тяжело, с ведром, со шваброй миссис Макнэб, миссис Бэст терли, скребли — и отвели запустенье и гибель; спасли из реки времен, сомкнувшейся было над ними, там миску, там шкаф; как-то утром выудили из забвенья все Уэверлеевы романы и чайный сервиз; как-то под вечер вытащили на волю, на солнышко медную каминную решетку и железные каминные приборы. Джордж, сын миссис Бэст, ловил крыс и косил лужок. Призвали плотников. Будто принимались мучительно трудные роды, когда под скрип петель, скрежет болтов, стук, треск, гул, старухи разгибались, тянулись, кряхтели, пыхтели, пели, шлепали

вверх-вниз, в погреба, на чердак. Ну, говорили они, работенка!

Чай пили когда в спальне, когда в кабинете; в полдень прерывали труды, с перепачканными лицами, тиская швабры в старых сведенных руках, плюхались в кресла и праздновали блистательную победу над ваннами, кранами; или более трудное, более сомнительное торжество над долгими рядами книг, из черных, как сажа, ставших бледно-пятнистым рассадником плесени и лукавым укрытием пауков. К глазам миссис Макнэб, согретой чайком, снова прилачился телескоп, и она увидела в светлом кружке тощего, как кочерга, старого господина, он тряс головой, когда она проходила с бельем, видно, сам с собой разговаривал на лужке. Ни разу ее не заметил. Кто говорил — он умер; а кто говорил — она. Поди разберись. Миссис Бэст тоже толком не знала. Молодой господин — тот умер. Это она знала точно. В газете прочла.

А еще кухарка была — Милдред, Мэрион — как-то похоже; рыжая; раскричится, бывало, что с рыжей возьмешь, но добрая, если к ней подход иметь. Ох, и смеху у них бывало. И всегда сбережет тарелочку супа, мол, ешь; а то ветчины кусок; ну, что уж останется. Хорошая тогда жизнь была. Что душе угодно — все было (бойко, весело, согретая чайком, сидя в кресле перед камином в детской, она разматывала клубок воспоминаний). Работы хватало, в доме, бывало, гости живут, человек по двадцать за стол садятся, посуду, бывало, за полночь моешь.

Миссис Бэст (она их не знала; в Чикаго тогда жила), ставя чашку, подивилась, зачем это они голову кабана тут повесили? В чужих краях, видно, его подстрелили.

— И свободно может быть, — подтвердила миссис Макнэб, давая воспоминаниям волю; у них друзья были по разным восточным странам; и тут господа гостили, дамы в вечерних платьях; она один раз в столовую в дверь заглянула, а они за столом. Человек двадцать, не меньше, и все и

драгоценностях, а ее позвали с посудой помочь, так она ее за полночь мыла.

Ах, сказала миссис Бэст, — увидят они: все тут стало другое. Она высунулась из окна. Посмотрела, как ее сын Джордж косит траву. Спросят еще — как же так, мол? Ведь старый Кеннеди должен бы приглядеть за садом; да вот, как свалился тогда с телеги, совсем у него нога никуда; и целый год, не то почти целый, никого не было; а там — Дэви Макдональд, и семена-то, может, и слали, да поди теперь докажи, садили, нет ли? Все тут стало другое.

Она смотрела, как ее сын косит траву. Таких работа любит, спокойных таких. Ну, видно, пора опять за шкафы приниматься, — постановила она. И обе, кряхтя, поднялись.

Наконец после долгой уборки в доме, косьбы и вскопки в саду окна были отмыты, закрыты, все задвижки защелкнуты, заперта парадная дверь; все было готово.

И тогда-то из-под говора ведер и швабр, из-под стрекота газонокосилки высвободилась тихая мелодия, зыбкие звуки, которые, едва ухватив, ухо сразу роняет; блянье, лай; неверные, рваные — связанные; жужжанье жуков, дрожь подкошенных трав — разлученные и все-таки сродные; дребезг навозника, визг колеса; громкие, тихие, но загадочно соотнесенные, которые ухо тщится связать и, кажется, вот-вот сложит в музыку, но они остаются всегда неразборчивыми, в музыку не слагаются и потом, уже вечером, гаснут один за другим; распадаются; и падает тишина.

На закате уходила отчетливость, и падала, как туман, тишина, и тишина расползалась, и стихал ветер; мир, потянувшись, укладывался на ночь, укладывался спать, темный, не озаренный ничем, кроме зеленого, натекавшего сквозь листья сиянья да бледности белых цветов под окном.

(Как-то поздно вечером в сентябре Лили Бриско помогли добраться до дома с поклажей. Тем же поездом приехал и мистер Кармайкл.)

Ведь настал настоящий мир. Море несло весть о мире на берег. Спать, спать, оно говорило, все сбудется, что снилось сновидцам — святые, мудрые сны, — а что же еще говорило берегу море? — когда Лили Бриско, положив голову на подушку в чистой тихой комнате, услышала его. Сквозь растворенное окно краса вселенной упрашивала так тихо, что слов не разобрать, — да и надо ли, когда смысл без того ясен? — упрашивала шепотом спящих (дом снова был полон; приехали миссис Бекуиз и мистер Кармайкл), если уж не хочется им спускаться на берег, хоть откинуть шторы и выглянуть. И они бы увидели порфиرونосную ночь; в короне; и скипетр усеян алмазами; и ребенок ей может смотреть в глаза. Но раз все равно не хочется (Лили устала с дороги и заснула, едва положила голову на подушку, а мистер Кармайкл еще почитал при свече), раз все равно они говорят — нет, великолепие ночи химера, больше прав у росы, и важнее поспать; что ж, не споря, не жалуясь, голос пел свою песню. И тихо катились волны (Лили слышала их сквозь сон); лился ласковый свет (натекая под веки). И все в точности так же, думал мистер Кармайкл, закрыв книгу и засыпая, так же, как когда-то давно.

Да, голос спокойно пел свою песню, покуда складчатая тьма смыкалась над домом, над миссис Бекуиз, мистером Кармайклом и Лили Бриско, слоями, слоями черноты им завязывали глаза, голос пел — отчего не принять, не понять, не смириться, не угомониться? Вздохи разом всех волн, в лад бежавшие на острова, их утешали; ночь их окутывала; и ничто не нарушало сна, покуда не запели птицы, и рассвет вплел в свою белизну эти тоненькие голоса, и проскрипела телега, где-то собака залаяла, солнце откинуло занавес, черноту прорвало, и Лили Бриско во сне ухватилась за край одеяла, как, сверзаясь с кручи, хватаются за трану. Она широко раскрыла глаза. Вот я и здесь опять, подумала она, торчком сядя на постели, окончательно просыпаясь.



III. МАЯК

1

Что происходит, что с нами происходит? — спрашивала себя Лили Бриско, раздумывая, следует ли ей, раз она осталась одна, сходить на кухню и налить себе еще чашечку кофе или лучше тут посидеть. «Что с нами происходит?» — затычка, просто-напросто фраза, подобранная в какой-то книжке, очень неточно передавала мысли Лили, но не могла же она в это первое утро у Рэмзи собраться с чувствами, и любая фраза годилась, только б прикрыть пустоту в душе, только б опомниться. Ведь, ей-богу, ну что она чувствовала, возвратясь сюда после всех этих лет, когда миссис Рэмзи уж нет в живых? Ничего, ничего — решительно ничего, о чем бы можно сказать.

Она приехала накануне, поздно, и все было загадочное и темное. А сейчас вот проснулась, встала и сидит на своем прежнем месте за завтраком — но только одна. И рано еще — нет восьми. Да, эта экспедиция — они ведь собрались на маяк — мистер Рэмзи, Кэм и Джеймс. Должны бы уже отправиться, хотели застать прилив, словом, что-то в этом роде. Но Кэм была не готова, Джеймс не готов, а Нэнси забыла распорядиться насчет бутербродов, и мистер Рэмзи вскипел, выскочил из-за стола и бросился вон.

— Теперь какой смысл вообще?..

Он бушевал.

Нэнси исчезла. Вот он — мечется взад-вперед по садовой террасе — возмущенье само. По всему дому, кажется, хлопают двери, летают голоса. Нэнси вбежала, спросила, окинув комнату странным, диким, отчаянным взглядом: «Что посылают на маяк?», будто принуждала себя делать что-то, на что заведомо неспособна.

Да, действительно, что посылают на маяк? В любое другое время Лили присоветовала бы трезво — чай, газеты, табак. Но сегодня все казалось до того странно, что вопрос Нэнси «Что посылают на маяк?» толкал какую-то дверцу в душе, и она хлопала, билась и заставляла переспрашивать ошарашенно: что посылают? Что делают? И я-то чего тут сию?

Она сидела одна (Нэнси снова исчезла) среди чистых чашек за длинным столом и чувствовала себя от всех отрезанной, ни на что не годной — только дальше смотреть, и спрашивать, и удивляться. Дом, сад, утро — все стояло на себя не похожее. Все было чужое и чуждое, она чувствовала — что угодно может произойти, и все, что происходило: шаги под окном, голос («Да не в шкафу же, на лестнице!»), отдавало вопросом, будто не стало крепки, державшей привычные вещи, и все сместилось, поддалось и рассыпалось. Как все бесцельно, путано, как непонятно, думала она, заглядывая в пустую кофейную чашечку. Миссис Рэмзи умерла; Эндрю убит; Пру умерла тоже, — повторять не повторять — в душе никакого отклика. А мы вот снова тут вместе, в таком доме, в такое утро, — сказала она и выглянула в окно, и был ясный и тихий день.

Вдруг мистер Рэмзи, проходя, поднял голову и глянул прямо на нее своим диким, застанным взглядом, который, однако, видел тебя насквозь, в секунду, будто впервые и навсегда; и она отпилила из пустой чашки, чтоб от него уклониться, уклониться от его требовательности, отвратить это властное посягательство. И он тряхнул головой и зашагал дальше («одинок», — услышала она, и «гиб

ли»¹ — услышала она), и как все вообще в это странное утро, слова стали символом, написались на серо-зеленых стенах, и если бы только сложить их, выписать в связную фразу, она добралась бы до сути вещей. Старый мистер Кармайкл тихонько прошлепал мимо, налил себе кофе, взял чашку и отправился греться на солнышке. Удивительная нереальность пугала, но все было до того волнующе! Экспедиция на маяк. Что посылают на маяк? Гибли! Одиноки! Серо-зеленый свет на стене напротив. Пустые места. Все — отдельно, и как собрать воедино? От малейшей помехи рухнуло бы хрупкое сооружение, которое она возводила перед собой на столе, и она отвернулась от окна, чтобы мистер Рэмзи ее не видел. Надо укрыться, спрятаться, надо побыть одной. Вдруг она вспомнила. Когда она десять лет назад тут сидела, был какой-то листочек, не то кустик в плетении скатерти, и на него она глянула в миг озарения. Насчет фона картины. Передвинуть дерево к центру, тогда сказала она себе. И вот — картину так и не кончила. И все годы это гвоздем сидело в душе. Теперь-то она кончит картину. Где краски? Краски — ах да. Она же вчера их в прихожей оставила. И пора за работу. Она поскорее встала, пока мистер Рэмзи не повернул.

Она себе вынесла стул. По-стародевичьи аккуратно поставила мольберт на краю лужка, не слишком близко к мистери Кармайклу, но и не чересчур далеко, чтоб быть у него под крыльшком. Да, кажется, именно тут она десять лет назад и стояла. Стена; изгородь; дерево. Соотношение масс. Мысль гвоздила все эти годы. И вот, кажется, решение найдено; итак — за работу.

Но на нее несся мистер Рэмзи, и невозможно было работать. Всякий раз, когда он надвигался — он ходил взад-вперед по террасе, — надвигалось разрушение, хаос. И невозможно было писать. Уж она наклонялась, она отворачивалась; хваталась за

¹ Отрывистые, отдельные слова из стихотворения «Отверженный», написанного английским поэтом Уильямом Купером (1731-1800) после смерти любимой женщины.

тряпку; выжимала краску. Чтобы только отразить его натиск. При нем невозможно было работать. Дай она ему хоть чуточную зацепку, на секунду покажись ему праздной, только глянь в его сторону — и ведь он же накинется, он скажет, как сказал вчера вечером: «Мы теперь, как видите, далеко не те». Вчера вечером он встал, застыл перед нею и это сказал. И хоть шестеро детей (их, было дело, еще прозвали когда-то на манер английских королей и королев: Рыжий, Прекрасная, Непослушная, Беспощадный...) ни звука не проронили, видно было, что они негодуют. Миссис Бекуиз, добрая старушка, что-то сказала, как-то нашлась. Но в доме бурлили скрытые страсти, весь вечер Лили чувствовала — в доме неладно. И в довершение всего мистер Рэмзи встал, сжал ей руку, сказал: «Вы, разумеется, видите, мы теперь далеко не те», — и никто ни звука не проронил, никто не шелохнулся, но по лицам было видно, какая для них мука это выслушивать. Только Джеймс (без сомнения, Хмурый) грозным взором наградил лампу; а Кэм наматывала на палец платочек. Далее мистер Рэмзи обоим напомнил, что завтра они собрались на маяк. Им надлежит быть в прихожей, в полной готовности, ровно в половине восьмого. И — замер, держась за дверную ручку, и опять повернулся. Так хотят они на маяк или нет? — спросил он. Попробуй они ответить «нет» (у него были свои резоны нарываться на это), и он бы рухнул трагически в горькие воды отчаяния. Редкий талант позированья. Король в изгнании — да и только. Но Джеймс упрямо сказал: «Да». Кэм более жалостно выдавила: ах, ну, да, оба они будут готовы. И Лили подумалось — вот вам трагедия — не пелены, не прах и не склепы; ни силе над детьми, над их душами. Джеймсу уже, наверное, шестнадцать исполнилось. Кэм, надо думать, семнадцать. Кэм искала глазами кого-то, кого не было в комнате, миссис Рэмзи, по-видимому. Нет, только старая миссис Бекуиз шелестела под лампой своими акварельками. Но уже побеждала усталость, мысли вздувались и опадали вместе

с волнами, одолевали знакомые запахи, какими всегда все места нас встречают после долгой разлуки, и дрожало пламя свечей, и она растворилась, она провалилась. Была дивная ночь; вызвездило; море шуршанием их провожало по лестнице; месяц, странно огромный, бледный, подстерегал подле лестничного окна. Заснула она мгновенно.

Она твердой рукой водрузила на мольберт чистый холст, как экран — зыбкую, но, она надеялась, достаточную защиту от мистера Рэмзи, от его посягательств. Она изо всех сил старалась, когда он ей поворачивал спину, вглядываться в картину; в эти линии; эти цвета. Но — какое! Положим, он в двадцати шагах, положим, с тобою не разговаривает, даже на тебя не глядит — а все равно подавляет, гнетет, насаждает. При нем все иначе. Она не видела красок; не видела линий; даже когда он ей поворачивал спину, она только и думала: сейчас подойдет. И будет вымогать что-то, чего она не в силах ему дать. Она откладывала кисть; хватала другую. Когда уж явятся эти дети? Когда уж они все отбудут? Она дергалась. Этот человек, думала она с накипающей злостью, никогда не дает; он берет. А ее вот заставляет давать. Миссис Рэмзи — та вечно давала. Давала, давала — и умерла; и все это оставила. Хороша же и миссис Рэмзи. Кисть дрожала в руке у Лили, и она смотрела на изгородь, на окно, на стену. А все миссис Рэмзи. Умерла. А Лили, в свои сорок четыре, теряет тут время, совершенно не может работать, стоит и играет в живопись, в то единственное играет, во что не играют, и все виновата миссис Рэмзи. Умерла. Ступеньки, на которых она сиживала, пусты. Умерла.

Но что толку повторять одно и то же, снова и снова? Что толку вечно ворошить чувства, которых нет в тебе? Ведь это, в общем, кощунство; все иссохло; увяло; расточено. И зачем они ее пригласили? Зачем она сюда притащилась? Когда тебе сорок четыре, нечего время терять. Это отвратительно — играть в живопись. Кисть — единственно надежная вещь в мире раздоров, раз-

рушения, хаоса — и нельзя ею играть, тем паче сознательно. Просто противно. А он заставляет. Он будто говорит, несясь на тебя: не прикасайся к холсту, пока не дала мне того, что мне необходимо. Вот он — снова тут как тут — жадный, дикий. Ладно, подумала Лили, роняя правую руку вдоль тела, уж проще отделаться. И неужто нельзя по памяти воспроизвести то сиянье, тот пыл, растворенность, которых она на многих женских лицах понавидалась (например, на лице миссис Рэмзи), когда они в подобных случаях воспламенялись — она помнила лицо миссис Рэмзи — жаром сочувствия, предвосхищением той высшей, блаженной награды, которая, хоть ей лично этого — увы — не понять, очевидно, только и дарована душе человеческой. Вот он — остановился рядом. И надо выжать из себя все, что возможно.

2

Она несколько скукожилась, он подумал. Чересчур, может быть, субличная, хлипкая, но, в общем, не лишена обаяния. Вполне ничего. Поговаривали одно время, будто она выходит за Уильяма Бэнкса, но как-то это расстроилось. Жена ее любила. За завтраком он, кажется, немного вспыл. Но вот, но вот — настал один из тех моментов, когда неодолимая сила (он сам не понимал, что такое) толкала его к любой женщине, чтобы вынуждать, — уж не важно как, чересчур эта сила была велика, — то, в чем он нуждался: сочувствие.

Она не очень заброшена? — спросил он. Ни в чем не терпит нужды?

— О, решительно ни в чем, благодарю вас, — ответила Лили Бриско нервозно. Нет; это не для нее. Ей бы сразу ринуться в волны болтливой отзывчивости. Он так наседа. Но ее парализовало. Последовала невозможная пауза. Оба смотрели на море. И зачем, думал мистер Рэмзи, зачем смотреть на море, когда я рядом стою? Она шшедеется, сказала она, их не будет качать по пути на маяк. Маяк! При чем тут маяк! — он подумал и

сердцах. И тотчас некий первобытный порыв (нет, он не мог больше сдерживаться) исторг из души его стон, после которого любая, любая бы женщина что-то сделала, что-то сказала, любая, но только не я, думала Лили, нещадно себя костеря, и наверно, я не женщина вовсе, а брюзгливая, вздорная, очерствелая старая дева.

Мистер Рэмзи завершил свой вздох. Он ждал. Неужто она так ничего и не скажет? Неужто не видит, чего ему от нее нужно? Далее он сообщил, что на маяк его влечет неспроста. Жена всегда посылала туда разные разности. Там был мальчик, бедняжка, с туберкулезом бедра. Сын смотрителя. Он вздохнул глубоко. Вздохнул со значением. Лили об одном мечтала, чтоб этот бездонный поток тоски, неутолимую жажду сочувствия, эту потребность всецело ее подмять, отнюдь не расставшись с запасами горя, которых ей по гроб жизни хватило бы, чтоб все это пронесло, отвело (она поглядывала на дом, в надежде, что им помешают), пока ее не сшибло, не засосало течением.

— Такого рода экспедиции, — сказал мистер Рэмзи, носком ботинка вскапывая лужок, — ужасно мучительны.

И опять Лили ничего не сказала. (Льдышка, бревно, думал он.)

— Они отнимают последние силы, — сказал он и страждущим взором, от которого ее тошнило (он актерствует, она чувствовала, великий человек ломает комедию), глянул на свои прекрасные руки. Отвратительно. Неприлично. Когда же наконец они явятся? — думала она, не в состоянии выдерживать груз безмерного горя, тяжкий навес тоски (он принял вдруг позу немощной дряхлости, буквально пошатывался чуть-чуть), нет, ни секундой дольше!

Но она ничего не могла из себя выдавить (до самого горизонта будто вымело все, за что можно бы уцепиться) и лишь с изумлением чувствовала, что скорбный взор мистера Рэмзи обесцвечивает сиянье травы, а на румяного, сонливого, безмятежного мистера Кармайкла, устроившегося с

французским романом в шезлонге, набрасывает траурный флер, словно демонстрация благополучия посреди вселенских скорбей достойна самых мрачных соображений. Взгляни на него, как бы говорил он, и взгляни на меня; а на самом-то деле в нем все время кипело: думай обо мне, думай обо мне, думай обо мне. Ох, если бы эту глыбу к ним притянуло поближе! Поставить бы мольберт хоть на метр поближе к нему! Мужчина, любой мужчина отвел бы это извержение, предотвратил эти сетования. Женщина — вот и навлекла такой ужас; женщине — ей бы и знать, как с ним управлять. Стыд — позор, что она тут стоит и молчит. В таких случаях говорят — да, что говорят? — ах, мистер Рэмзи, милый мистер Рэмзи! Благовоспитанная старая дама с акварельками, эта миссис Бекуиз — та бы в секунду нашлась и сказала все, что положено. Но нет. Они стояли рядом, отрезанные от всего человечества. Его безграничная жалость к себе, потребность в сочувствии лужей растекалась у нее под ногами, а она, жалкая грешница, только и делала, что слегка подбирала юбки, чтоб не промокнуть. Она стояла в полном молчании и тискала кисть.

Вот уж поистине слава благим небесам! В доме послышался шум. Сейчас явятся Кэм и Джеймс. Но мистер Рэмзи, будто спохватившись в цейтноте, напоследок изо всех сил обрушил на нее, беззащитную, свое лютое горе; свою старость; сирость; беспомощность; как вдруг, тряхнув головой в досаде, — ведь в конце концов женщина она или нет! — он заметил, что у него на ботинке развязался шнурок. А ботинки, кстати, у него паразитарные, подумала Лили, опуская взгляд: будто изваянье; колоссальные; и, как и все, что на мистере Рэмзи, от протертого галстука до полурасстегнутого жилета, никому другому принадлежать они не могли. Она так и видела, как сами собой они удаляются к нему в кабинет, даже в его отсутствие полные пафоса, брюзгливости, гнева и очарования.

— Какие чудные ботинки! — выпалила она. И устыдилась. Хвалить ботинки, когда тебя призывают целить душу! Когда тебе показали кровоточащие руки, истерзанное сердце и молят о жалости — вдруг прочиривать жизнерадостно: ах, да какие чудные ботинки! — за это она заслужила (и уже ожидала — в виде раскатов гнева) совершенного уничтожения.

Мистер Рэмзи вместо этого улыбнулся. Пелены гробовые и немощность — все как рукой сняло. Да-да, сказал он, задирая ногу, чтоб ей удобнее было смотреть, ботинки первоклассные. Единственный человек во всей Англии тачает такие ботинки. Ботинки — чуть не серьезнейший бич человечества, сказал он. «Сапожники считают своим долгом, — вскричал он, — истязать и увечить человеческую стопу». К тому же они — сама зловредность и упрямство. Лучшие годы юности он убил на то, чтоб ботинки были ботинками. Вот, пусть она удостоверится (он задрал правую, потом левую ногу), она еще не видывала ботинок такого фасона. И вдобавок превосходная кожа. Обычно ведь это не кожа — оберточная бумага, картонка. Он с удовлетворением озирает свою все еще поднятую ногу. Они достигли, она почувствовала, осянного острова, где разум царит, и покой, и незакатное солнце, благословенного острова прекрасных ботинок. Ее сердце смягчилось. «Ну-с, а теперь поглядим, способны ли вы завязать узел!» — сказал он. Он презрел ее наивный способ. Прдемонстрировал собственное изобретение. Если так завязывать — в жизни не развяжется. Он трижды зашнуровал ей туфли; трижды расшнуровал.

Но почему же в самый неподходящий момент, когда он наклонялся над ее туфлей, ее так кольнула жалость, что, тоже наклонясь, вся покраснев и думая о собственном жестокосердии (ведь называла актеришкой), она ощутила едкое пощипыванье в глазах? За этим занятием он вдруг показался ей до невозможности трогательным. Завязывает узлы. Покупает ботинки. Никто не помогает ему в трудном его путешествии. И вот,

когда она уже хотела что-то сказать, уже наверное что-то сказала бы — они явились — Кэм и Джеймс. Показались на террасе. Плелись рядышком, торжественной, унылой четой.

Но почему надо *так* являться. Ей было досадно; могли бы и повеселее явиться; могли бы дать ему то, что теперь, из-за них, она лишилась возможности ему дать. Она вдруг опустела вся; иссякла. Слишком поздно; вот — расчувствовалась; а ему уже и не надо. Он сразу сделался достойнейшим пожилым господином, которому она решительно не нужна. Она получила по носу. Он взвалил на плечи рюкзак. Распределил свертки — много свертков, неаккуратных, в оберточной бумаге. Отправил Кэм за плащом. Все как водится — предводитель снаряжает экспедицию в путь. Затем, сделав полный поворот кругом, твердой военной поступью, в своих неотразимых ботинках, навьюченный неаккуратными свертками, он двинулся по тропе в сопровождение детей. Вид у них был такой, будто судьба обрекает их жестокому испытанию, и они покоряются, и лишь по молодости лет принуждены безропотно плестись за отцом; но в помертвелых взглядах она читала немое страдание — не по возрасту. Вот обогнули лужок, и Лили словно проводила глазами процессию, спотыкающуюся, вялую, но идущую бечевою общего чувства, и оно их сбивало в крошечный единый отряд, и это производило до странности сильное впечатление. Учтиво и вполне отчужденно мистер Рэмзи взмахнул на прощанье рукой.

Но какое лицо! — подумала она, и тотчас сочувствие, которого уже от нее не требовали, мучительно запросилось наружу. Что сделало это лицо таким? Неустанные ночные раздумья, — решила она, — о сущности кухонных столов, — уточнила она, вспомнив символ, с помощью которого Эндрю просветил ее по части раздумий мистера Рэмзи (его же, — стукнуло сердце — убило на месте осколком гранаты). Кухонный стол — нечто призрачное, возвышенное; нечто голое, твердое; не живописное. Он не имеет окраски; только углы и

линии; он безоговорочно прост. И мистер Рэмзи, вперив в него взор, не позволял себе отвлекаться, рассеиваться, покуда лицо его не стало подвижным, изможденным, не стало отдавать той неживописной красотой, которая так задела ее. Но, однако, она вспомнила (она так и стояла, одна, с кистью в руке), его бороздили терзания — уже не столь благородного свойства. Наверное, ему сомнения являлись насчет этого стола; реальный ли это стол; и стоило ли на него убивать столько времени; и способен ли он в конце концов его распознать. Его одолевали сомненья, иначе не стал бы он так наседать на людей. Вот, видно, о чем они рассуждали за полночь, а наутро миссис Рэмзи выглядела измученной, а Лили возмущалась мистером Рэмзи из-за форменных пустяков. А теперь ему не с кем поговорить о столе; о своих узлах; о ботинках; теперь он как лев, высматривающий добычу, и на лице утвердилось отчаяние, и надрыв, который поверг ее в страх и заставил подбирать юбки. А потом, она вспомнила, — вдруг это оживление, трепет (когда она похвалила ботинки), вдруг это исцеление, живость, интерес к человеческим обычным вещам, и опять все прошло, изменилось (он непрестанно менялся и ничего не скрывал), преобразилось в последнюю стадию, неожиданную для Лили, и, надо признать, она устыдилась своей раздражительности, когда он, будто стряхнув заботы, амбиции, потребность в сочувствии, жажду похвал, ступил на иную какую-то землю и, будто движимый любопытством, поглощенный немым разговором, с собою ли или с кем-то другим, во главе своего крошечного отряда потянулся туда, где его не догнать. Удивительное лицо! Хлопнула калитка.

3

Вот и ушли, подумала она и вздохнула — облегченно и горько. Растрогалась и сама получила по носу, как бьющей с отскока колючей веткой. Ее будто надвое разорвало — одна часть тянулась

туда, где было дымчатое, тихое утро; и маяк стоял в необычной дали; а другая упрямо, строптиво застряла тут, на лужке. Она увидела холст — он как взмыл и, белый, неумолимо навязывался взгляду. И холодной белизною корил за все эти дерганья и треволнения; за зряшную трату эмоций; он призывал к порядку; и, покуда расстроенные чувства Лили (вот, ушел, и так его жаль, а она ничего не сказала) покидали в смятении поле, устанавливал в сознании мир; а потом была пустота. Лили бессмысленно смотрела на холст, на его беспощадную белизну; потом оглядела сад. Да, было что-то такое (она стояла — личико с кулачок — и шурила свои китайские глазки) в соотношении этих смутно текучих, одна другую подсекающих линий и этой массы изгороди, топящей в зеленых провалах темень и синь, — что-то такое, что засело в сердце; узелком завязалось; и ни с того ни с сего, бредя ли по Бромптон-роуд, расчесывая ли волосы, вдруг она возвращалась к картине, сочиняла ее, окидывала взглядом, подкапываясь под воспоминание, старалась узелок развязать. Но одно дело — безответственно носиться с идеями вдалеке от холста, и совсем-совсем другое — взяться за кисть и сделать первый мазок.

Разнервничавшись из-за того, что рядом мистер Рэмзи, она схватила не ту кисть и сгоряча всадила в землю мольберт под неверным углом. Теперь, поправив его и тем временем выбросив из головы разную чушь, которая засоряла внимание и вводила мысли к тому, что она за персона и какие у нее отношенья с людьми, — она вся подобралась и занесла руку. Мгновенье кисть жадно дрожала в воздухе, мучая и раззадоривая душу. С чего начать — вот в чем вопрос; где провести первый мазок? Один-единственный нанесенный на холст мазок толкает на безоглядный риск, ряд быстрых невозвратных решений. Все, что казалось простым, пока мы пробавлялись теориями, на деле оборачивается головоломной сложностью; так волны, ровно бегущие, если смотреть с вершины утеса, пловца бросают в сосущие бездны и окатывают

кипением гребней. Но риска не избежать; от мазка не уйти.

Со странным физическим ощущением, будто ее сзади толкают, а надо удерживаться, она нанесла первый быстрый, решительный штрих. Кисть опустилась; темно мелькнула на белом холсте; оставила беглый след. Потом еще раз и третий. И вот мельканья и паузы образовали танцующий ритм, где пауза — первый такт, мельканье — второй и все нераздельно слилось; и так, легко, быстро, замирая, мелькая, кисть пошла штриховать холст текучими, темными линиями, и, едва на него ложась, они замыкали зияющее пространство (оно надвигалось на Лили). Снизу, со впадины одной волны, она уже видела, как все выше и выше над нею вскипает другая. Что есть на свете беспощадней, чем это пространство? Ну вот, — думала она, отступя и оглядывая его, — опять ее оттащило от болтовни, от жизни, от человеческой общности и кинуло в лапы извечного ворога — этого иного, той правды, реальности, которая прячется за видимостями и вдруг лезет из глубины на поверхность и делается наваждением. Хотелось упереться, не даться. Зачем ее вечно оттаскивает и несет? Оставили бы в покое, мирно болтать с мистером Кармайклом на солнышке. Так нет же. Во всяком случае, изнурительная форма общения. Другим объектам обожания — тем обожание и подавай; мужчины, женщины, Бог — перед теми только ниц и распластывайся. А здесь! Да образ белого абажура, нежно витающий над плетеным столом — и тот ведь зовет на бой, толкает на битву, в которой тебе заведомо суждено поражение. Вечно (то ли у нее характер такой, то ли женская природа такая) прежде чем текучесть жизни застынет сосредоточенностью работы, на минуты какие-то она себя ощущает голой, как душа нерожденная, как с телом расставшаяся душа, беззащитно дрожащая на юру, под ветрами сомнений. Так зачем это все? Она смотрела на холст, тронутый беглыми линиями. В комнате для прислуги повесят. Скатают рулоном и ткнут под диван. Так зачем же,

зачем? А чей-то голос нашептывал: не владеешь кистью, никуда не годна, и тут ее засосало одним из потоков, с которыми со временем так свыкается память, что слова повторяешь, уже не соображая, кто их первый сказал.

Не владеешь кистью, не владеешь пером, бубнила она механически, озабоченная планом атаки. Масса перед нею зияла; выпирала; давила на глазные яблоки. Потом будто брызнул струею состав, необходимый для смазки способностей, она наобум стала шарить между синим и умброй; тыкать кистью туда-сюда, но кисть отяжелела, замедлилась, сдалась ритму, который диктовало увиденное (Лили смотрела на изгородь, смотрела на холст), и — дрожи не дрожи нетерпением рука, ритм этот пересиливал и вел. Она несомненно утратила связь с окружающим. Она все забыла, забыла, кто она, как ее зовут, и как она выглядит, и есть тут мистер Кармайкл или нет его, а сознание тем временем выуживало из глубины имени, и слова, и сцены, и мысли, и они били фонтаном над спящим, омерзительно неодолимым белым пространством, которое она укрощала зеленой и синей краской.

Это же Чарльз Тэнсли говорил, она вспомнила, женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Подойдет сзади и станет над душой, бывало, — просто несчастье — когда она работала на этом самом месте. «Махорка», — говорил. «Экономия на куреве». Бедностью своею кичился и принципами. (Но война умерила ее феминизм. Бедные-бедные, думала она о мужчинах и женщинах одинаково. Такого хлебнули.) Он вечно таскал с собой книжку — фиолетовую такую. «Работал». Усаживался, помнится, работать на солнцепеке. За ужином вечно усаживался, в точности надвое перегораживая вид. Но было же, она вспомнила, то утро на берегу. Об этом нельзя забывать. Было ветрено. Все спустились на берег. Миссис Рэмзи, устроившись возле камня, писала письма. Писала, писала.

— Ой, — вдруг сказала она, оторвав глаза от письма и увидев что-то, колышущееся в волнах, —

это что? Верша для омаров? Или лодка перевернулась?

Ужасно была близорука. И вдруг Чарльза Тэнсли как подменили. Он сделался неслыханно мил. Стал учить Лили бросать камушки. Они отыскивали плоские черные камушки и пускали вскачь по волнам. Миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков и смеялась. Ни слова не вспомнить из того, что говорилось тогда, просто они с Чарльзом бросали камушки и невероятно друг к другу расположились, а миссис Рэмзи на них поглядывала поверх очков. Вот уж это запомнилось. Миссис Рэмзи! — она подумала, отступя и сощурясь. (Со всем бы другое дело, если бы под окном сидели миссис Рэмзи и Джеймс. Как бы там пригодилась тень...) Миссис Рэмзи! Все это — бросание камушков с Чарльзом, вообще вся сцена на берегу, как-то определялось тем, что миссис Рэмзи сидела у камня с бумагой на коленях и писала письма. (Тьму писем писала, и вдруг их выхватывал ветер, они с Чарльзом даже выудили один листок из воды.) Но какую же властью наделена душа человеческая! — она подумала. Эта женщина, сидевшая возле камня и писавшая письма, умела все так просто решить; развеять неприязнь, раздражение, как ветхие тряпки; взболтать то, се, другое и превратить несчастную глупость и злость (их стычки и препирательства с Чарльзом были ведь злобны и глупы) во что-то такое — ну, как та сцена на берегу, мгновенная дружба, расположение, — что одно и оставалось живым во все эти годы, и меняло ее представление о Чарльзе и отпечатывалось в памяти, почти как произведение искусства.

— Как произведение искусства, — повторила она, переводя взгляд с холста на окно и обратно. Надо чуть-чуть отдохнуть. И пока она отдыхала, переводила с одного на другой отуманенный взгляд, старый вопрос, вечно витающий на небосводе души, огромный и страшный, который вот в такие минуты роздыха особенно настоятелен, встал перед нею, застыл и все застыл. В чем смысл

жизни? Вот и все. Вопрос простой; вопрос, который все больше тебя одолевает с годами. А великое откровение не приходит. Великое откровение, наверное, и не может прийти. Оно вместо себя высылает маленькие вседневные чудеса, озаренья, вспышки спичек во тьме; как тогда, например. То, се, другое; они с Чарльзом и набегающая волна; «Жизнь, остановись, постой»; миссис Рэмзи, нечто вечное сделавшая из мгновенья (как, в иной сфере, Лили сама пытается сделать нечто вечное из мгновенья). И вдруг, посреди хаоса — явленный образ; плывучесть, текучесть (она глянула на ток облаков, на трепет листвы) вдруг застывает. «Жизнь, остановись, постой!» — говорила миссис Рэмзи.

— Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — повторяла она.

И этим откровением она обязана ей.

Все было тихо. В доме — ни звука, ни шороха. Дом дремал на утреннем солнышке, и окна прикрыты зеленым и синим отраженьем листвы. Смутные мысли о миссис Рэмзи были в согласии с тихим домом; с дымом; с тихим ясным деньком. Смутный и зыбкий, он был поразительно свеж и странно бодрил. Только б никто не открыл окно, не вышел бы из дому, только бы ее оставили в покое, дали подумать, дали спокойно работать. Она повернулась к холсту. Но любопытство ее подтолкнуло и неизрасходованное сочувствие, и она прошла несколько шагов до другого края лужка — взглянуть, если получится, как там они поднимают парус. Внизу, среди лодок, с убранными парусами качавшихся на волнах или тихо — ведь было безветрие — скользивших прочь, одна держалась несколько в стороне от других. И как раз поднимала парус. И Лили поняла, что в той дальней, совершенно беззвучной лодке сидит мистер Рэмзи с Джеймсом и Кэм. Парус подняли; он было дрогнул, поник, но вот вздулся, и, окутанная плотной немотой, лодка решительно, мимо других, устремила свой путь в море.

Над головами хлопали паруса. Вода урчала и шлепалась о борта лодки, сонно подставлявшейся солнцу. Иногда паруса рябило ветерком, но тотчас рябь пропадала. Лодка не двигалась. Мистер Рэмзи сидел посреди лодки. Сейчас он взорвется, думал Джеймс, и Кэм думала то же, глядя на отца, который сидел посреди лодки между ними (Джеймс правил; Кэм сидела одна на носу), поджав под себя туго сплетенные ноги. Он ненавидел проволочки. И конечно, он кипел-кипел, а потом сказал резкость Макалистеру-внуку, и тот взялся за весла и стал грести. Но они-то знали, отец не уймется, пока они не полетят по волнам. Будет ждать ветра, будет дергаться, что-то буркать сквозь зубы, и Макалистер с внуком услышат, а они оба будут сгорать от стыда. Он взял их с собой насильно. Принудил. От злости они уже хотели, чтоб ветер никогда не поднялся, чтоб ничего у него не вышло, раз он взял их насильно с собой.

Пока спускались к берегу, они все время тащились сзади, хоть он без слов им приказывал: «Живее, живее». Они шли, понуриив головы, свесив головы, шли — как напролом, против нещадного вихря. Что они могли сказать? Надо так надо. Они и шли. Шли за ним и волокли эти дурацкие свертки. Но молча клялись на ходу держаться вместе и насмерть стоять против тиранства. Так они и сидели на разных концах лодки, в полном молчании. Ни слова ему не сказали. Только поглядывали на него, как он сидит, сплетя ноги, хмурится, дергается, бурчит, фукает и ждет ветра. И надеялись, что ветра не будет. Что ничего у него не выйдет. Что ничего не выйдет из этой его экспедиции и они со всеми своими свертками полезут обратно на берег.

Но вот Макалистер-внук прогреб немного, и парус поймал ветер, лодка нырнула, круто повалилась набок и понеслась вперед. Мигом, будто освобождаясь от ужасного груза, мистер Рэмзи рас-

плел ноги, вытащил кисет, хмыкнув, протянул Макалистеру и явно почувствовал себя, несмотря на все их страдания, совершенно убогоприятным. И теперь они были обречены плыть часами, пока мистер Рэмзи будет расспрашивать старого Макалистера — возможно, про страшную бурю прошлой зимой, — а старый Макалистер — отвечать, и оба — попыхивать трубкой, и Макалистер будет теребить смоленый канат, завязывать узлом и развязывать, а внук будет удить и рта не раскроет. Джеймсу придется глаз не спускать с паруса, и только он зазевается, парус будет дрожать, и лодка — сбавлять ход, и мистер Рэмзи — рывкать: «Смотреть! Смотреть!», а старый Макалистер — медленно поворачиваться на сиденье. И вот они услышали, как мистер Рэмзи расспрашивает про страшную бурю на Рождестве. «Сносит ее от мыса», — говорил старый Макалистер, рассказывая о страшной буре на Рождестве, когда десять посудин загнало в бухту, он сам видел — «одна вон там, одна вон там, а одна во-о-она где». (Он медленно обводил указательным пальцем бухту. Мистер Рэмзи вертел головой вслед за пальцем.) Он сам, он своими глазами видел, трое в мачту вцепились. Ну, и потонула она. А потом, рассказывал старый Макалистер (но в своей ярости, в своем молчании они ловили только отдельные слова, сидя по разным концам лодки, связанные договором насмерть стоять против тиранства), потом они вывели, значит, шлюпку спасательную, вывели за мыс, рассказывал Макалистер; и хоть они ловили только отдельные слова, они все время, все время замечали, как отец наклонился вперед, как настроил голос в лад голосу Макалистера и как, попыхивая трубкой, он поглядывает туда-сюда, куда показывает Макалистер; и они в себе чувствовали, как ему нравится эта буря, и темная ночь, и борьба рыбаков. Ему нравится, чтоб мужчины потели и бились ночью на ветреном берегу, надсаживаясь и борясь против ветра и волн; ему нравится, чтоб так трудились мужчины, а жены чтоб хлопотали по дому и сидели подле спящих детей, покуда

мужья погибают в волнах. Джеймс это чувствовал, и Кэм это чувствовала (они поглядывали на него, потом друг на друга) по тому, как он слушал, смотрел, и по его голосу, и по легкому шотландскому акценту, который вдруг у него появился, так что сам он стал похож на крестьянина, когда расспрашивал Макалистера про одиннадцать посуды, которые бурей загнало в бухту. Три потонуло.

Он гордо поглядывал туда, куда показывал Макалистер; и Кэм им гордилась и думала, почему — неизвестно, что, окажись он там, он тоже был бы на спасательной шлюпке и он подospel бы к месту крушения, думала Кэм. Он такой смелый, такой отважный, думала Кэм. Но тут она вспомнила. Был договор: насмерть стоять против тиранства. Угнетала обида. Их вынудили; ими командовали. Опять он их придавил, подавил своей скорбью и властью и заставил ему в угоду в такое прекрасное утро тащиться со всеми этими свертками на маяк; принимать участие в этих его ритуалах в честь мертвых, которые он справляет ради собственного удовольствия. А им эти ритуалы претили, и они все время от него отставали на берегу, и прекрасное утро было безнадежно испорчено.

Да, бриз бодрил. Лодка клонилась набок, остро рубила воду, и вода взлетала зелеными вихрями, пузырями, каскадами. Кэм загляделась вниз, в пену, в море со всеми его сокровищами, и скорость ее завораживала, и узлы между нею и Джеймсом чуть ослабли. Провисли чуть-чуть. Она стала думать: как быстро летим. И куда? — и движение ее завораживало, а Джеймс тем временем мрачно правил и не отрывал глаз от паруса. Но, правя, он уже говорил себе, что надо сбежать; освободиться. Переглянувшись, оба они — из-за скорости этой, из-за перемены — вдруг ощутили восторг. Но бриз то же самое возбужденье нагнал и на мистера Рэмзи, и едва старый Макалистер отвернулся, чтоб забросить за борт лесу, он выкрикнул громко: «Мы гибли» и еще: «Каждый одинок!»¹ А

¹ Из стихотворения Уильяма Купера «Отверженный».

потом, после обычного своего пароксизма раскаяния, не то смущенья, он помахал рукой в сторону берега.

— Взгляни на домик, — сказал он, и он хотел, чтобы Кэм посмотрела. Она нехотя распрямилась и глянула. Но где же? Она уже не могла разобрать, где там на горке их дом. Все было дальше, мирное, странное. Берег, подернутый далью, стал новым и нереальным. Совсем немного пролетели они по волнам, а берег стал уже чем-то другим, уходящим и тающим, чему уже нет до них дела. Где их дом? Она не могла разобрать.

— Но он не знал, в какой волне¹, — бормотал мистер Рэмзи. Он нашел дом и, увидев его, увидел там и себя; увидел, как он бредет по садовой террасе, бредет одиноко. Он бродил взад-вперед между урнами; и он себе показался страшно старым и сгорбленным. Сидя в лодке, он сгорбился, скорчился, тотчас вошел в роль — роль одинокого, вдового, всеми покинутого; и вызвал тотчас в виденьях сонм соболезнующих; тут же, сидя в лодке, поставил небольшую трагедию; требовавшую от него дряхлости, истомленности и печали (он поднял к лицу и разглядывал свои убедительно, неопровержимо тощие руки), дабы не было уж недостатка в женском сочувствии; и он представил себе, как они его утешают, жалеют, и в виденьях утешенный отсветом тонкого удовольствия, какое дарует женская жалость, он вздохнул и сказал — нежно и скорбно:

— Но он не знал, в какой волне
Пришлось захлебываться мне, —

сказал так, что скорбные слова отчетливо услышали все в лодке. Кэм буквально подскочила на сиденье. Она задыхалась — она возмущалась. Отца ее движение вырвало из задумчивости; он вздрогнул, спохватился, он крикнул: «Смотрите! Смотрите!» так настоятельно, что Джеймс повернул голову и через плечо посмотрел на остров. Все смотрели. Все смотрели на остров.

¹ Из того же стихотворения Уильяма Купера.

Но Кэм ничего не видела. Она думала про то, как тех тропок, дорожек, густых, петляющих и гудящих всеми теми их жизнями, нет уже: они заглохли; позарастали; они нереальны; а реальное — вот оно: лодка и парус с заплаткой; Макалистер с серьгой: шум волн — все это реально. Так она думала и про себя бормотала: «Мы гибли, каждый одинок», потому что слова отдавались и отдавались у нее в голове, и тут отец увидел ее отуманенный взгляд и принялся над нею подтрунивать. А знает ли она страны света? — спрашивал он. Север от юга отличить умеет? Она всерьез убеждена, что они живут именно там? И он снова показывал ей верное место, показывал, где их дом, вон там, возле тех деревьев. Ему хочется, чтоб она постаралась быть поточнее, говорил он. Ну-ка, скажи, где восток, где запад — говорил он, и он шутил, но он и сердился, ибо он решительно не постигал, как можно, не страдая клиническим идиотизмом, не уметь различить стран света. А она не умела. И, глядя, как она смотрит отуманенным, теперь уже перепуганным взглядом туда, где не может быть дома, мистер Рэмзи забыл про свое виденье; как он бродит взад-вперед между урнами по садовой террасе; и к нему простираются руки. Он подумал, что женщины — все такие; у них безнадежный туман в голове; он всегда был не в состоянии это постичь; тем не менее факт остается фактом. И с нею так было — с женой. Женщины не умеют думать четко и ясно. Но напрасно он на нее сердился; в сущности, разве ему не нравится в женщинах именно эта туманность? Она, собственно, часть их немыслимого обаянья. Сейчас я ее развеселю, он подумал. Она выглядит просто испуганной. Совсем притихла. Он тискал собственные пальцы и думал, что его голос, лицо, быстрый, неожиданный жест — все, что служило ему столько лет, заставляя людей жалеть его и хвалить, и на сей раз ему не изменит. Он ее развеселит. Придумает что-нибудь легкое, простое и скажет. Но что? Он увязнул в работе и забыл, что в таких случаях говорится. Щенок — ? Они

завели щенка. Кто сейчас присматривает за щенком? — спросил он. Да уж, думал Джеймс беспощадно, оглядывая голову сестры на фоне паруса, где ей устоять? Я останусь один. Придется одному исполнять договор. Не будет Кэм никогда насмерть стоять против тиранства, думал он мрачно, глядя на ее грустное, насупленное, покорное лицо. И, как бывает, когда тень тучи ляжет на зелень гористой округи и придавит ее, и, кажется, все среди гор печалуется и грустит, и горы сами будто задумались о судьбе потемневшей зеленой округи, то ли жалостно, то ли злорадно, так и Кэм сейчас себя чувствовала будто под тучей, сидя среди спокойных и твердых людей и не зная, как ответить отцу про щенка; как устоять против этой мольбы — прости меня, пожалей меня; покуда Джеймс, законодатель, разложив скрижали вечной мудрости у себя на коленях (его рука на румпеле казалась ей символом), говорил: не сдавайся, борись. Он все верно говорил. Справедливо. Нужно насмерть стоять против тиранства, — думала Кэм. Выше всех человеческих качеств она ставила справедливость. Брат был — самый богоподобный из смертных. Отец — самое униженное смирение. Кому уступить, думала она, сидя между ними, глядя на берег, где спутались странно восток и запад, где лужок и терраса и дом — все стерлось, слилось, и где воцарился покой.

— Джеспер, — буркнула она хмуро. Он присмотрит за щенком.

А как она думает его назвать? — не унимался отец. У него, когда он был маленький, был пес, и того звали Пушок. Она сдастся, думал Джеймс, видя на лице у нее новое выражение, и он это выражение помнил. Они опускают глаза на вязанье или на что-то еще. И потом, вдруг, они поднимают глаза. И — синий сполох — он помнил, и кто-то с ним рядом смеялся, сдавался, а сам он злился ужасно. Это мама, конечно, была, он думал, сидела на чем-то низком, а над нею стоял отец. Он стал откапывать из-под впечатлений, которые время неустанно и тихо, листок за листком, склад

ку за складкой складывало в памяти; из-под запахов, звуков; голосов — грубых, плоских и милых; и скользящих огней, и стучащих швабр; гремящих и шепчущих волн — как кто-то бродил-бродил и вдруг встал и застыл над ними. Но одновременно он отмечал, что Кэм прочесывает пальцами воду, смотрит на берег; и ни слова не говорит. Нет, не сдастся она, он подумал; она-то другая, он подумал. Что ж, если Кэм не хочет ответить, не стоит к ней приставать, решил мистер Рэмзи и стал нашаривать книгу в кармане. Но она хотела ответить; она просто мечтала, чтоб ее отпустило; чтоб язык развязался и можно было сказать: «Ах да, Пушок. Я его назову Пушок». Ей даже хотелось спросить: «Это тот самый, который нашел один дорогу через болота?» Но как ни старалась, она не могла ничего такого придумать, чтоб, оставаясь суровой и не изменив договору, тайно от Джеймса, дать отцу знак, что она любит его. Потому что она думала, прочесывая пальцами воду (внук Макалистера поймал скумбрию, и она билась на днище, с кровавыми жабрами), потому что она думала, глядя на Джеймса, бесстрастно сверлившего взором парус или вдруг окидывавшего горизонт, — тебе-то что, тебе не понять этой муки, раздвоенности, этой неодолимой туги. Отец шарил в кармане; миг еще, и он найдет свою книгу. Никто на свете ей не нравится так; для нее его руки прекрасны, и ноги, и страсть, и то, как он при чужих говорит: «Мы гибли, каждый одинок», и его отвлеченность. (Вот — книгу раскрыл.) Но ведь несносно, она думала, распрямляясь и глядя, как внук Макалистера рвет крючок из жабр еще одной скумбрии, — это его ослепление, и тиранство, которое отравляло ей детство, вызывало страшные бури, так что и теперь еще она просыпается среди ночи и трясется от ярости, вспоминая его какую-нибудь команду; оскорбление какое-нибудь. «Сделай то», «Сделай се»; его властолюбие; это его «Покорись».

И она не сказала ни слова, только грустно, неотрывно смотрела на берег, окутанный поволо-

кой покоя; будто все там уснули, она думала; и вольны, как дым; как волны, как призраки, вольны уходить и являться. Там у них нет печалей, она думала.

5

Да, это их лодка, решила Лили Бриско, стоявшая на краю лужка. Та лодка с темно-серыми парусами, которая было нырнула и — понеслась по волнам. Там он сидит, и детки его все не проронят ни слова. И его не догнать. Ее давило невысказанное сочувствие. Писать было трудно.

Она всегда его находила трудным. Не в состоянии была, помнится, в глаза ему льстить. Что и сводило их отношения к чему-то бесцветному, без того оттенка эротики, который делал таким рыцарственным и даже веселым его обращение с Минтой. Он ведь как-то цветок ей сорвал; совал свои книги. Неужто он думал, Минта их станет читать? Она их таскала по саду, лепесточком закладывая страницы.

Помните, мистер Кармайл? — чуть не спросила она, глядя на старого господина. Но тот надвинул шляпу на лоб; уснул, или замечтался, или за словами охотился, кто его знает?

Помните? — ей очень хотелось спросить, когда она проходила мимо и уже думала снова про то, как миссис Рэмзи сидела на берегу; и прыгал в волнах бочонок; и разлетались исписанные листки. Почему — столько лет уж прошло, а это так живо, выделенное, высвеченное, видное до мельчайшей детали, а все, что было до и что после — сплошная пустыня на мили и мили кругом?

Это лодка? Это пробка? — да, так она спрашивала. И снова Лили нехотя вернулась к холсту. Слава те Господи, остается проблема пространства, думала она, хватаясь за кисть. Оно зияло. На нем держалась вся масса картины. Прекрасное, яркое должно оно быть на поверхности, воздушное, легкое, как бабочкино крыло; но на поверку скрепленное железными скобами. Что-то такое, на что

страшно дохнуть; но и ломовикам не сдвинуть. И она накладывала красное, серое, подкапываясь под пустоты пространства. И в то же время — будто сидела с миссис Рэмзи на берегу.

Это лодка? Это пробка? — спросила миссис Рэмзи. И принялась нашаривать очки. Нашла и уже молча сидела, смотрела на море. А Лили продолжала писать, и было так, будто открыли двери и впустили ее под высокие своды собора, очень темного, очень торжественного, и она там стояла и озиралась. Откуда-то из дальнего мира летели крики. Корабли растворялись у горизонта в дымных столбах. Чарльз пускал камешки вскачь по волнам.

Миссис Рэмзи сидела молча. Она, Лили думала, рада была помолчать сама по себе; отдохнуть посреди сутолоки и неразберихи человеческих отношений. Кто знает, кто мы? Что чувствуем? Кто знает, даже в минуту близости: так это знание и есть? И не портим ли мы, — так спрашивала, наверное, миссис Рэмзи (и часто, кажется, перепали эти минуты молчания), не портим ли все, вслух его называя? Не лучше ли так-то вот помолчать? Во всяком случае, мгновенье было, по-видимому, исключительно важным. Она вырыла ямку в песке и прикрыла, как бы погребая совершенство мгновенья. Оно и осталось — серебряной каплей, которой и озаряется мрак прошедшего, стоит в нее окунуться.

Лили отступила — проверить перспективу. Вот так! Странная эта дорога — живопись. Идешь, идешь по ней, дальше, дальше, пока не очутишься на узенькой планке, совершенно одиноко, над морем. И — окунаешь в синее кисть, а сама окунаешься в прошлое. Потом, она вспомнила, миссис Рэмзи встала. Пора было домой, завтракать. И все потянулись по берегу, и Лили шла сзади с Уильямом Бэнксом, а впереди шла Минта в дырявом чулке. Как назойливо красовалась у них перед носом эта дырка на розовой пятке! Как терзался из-за нее Уильям Бэнкс, хоть ни словом, помнится, не охарактеризовал ее. Для него эта дырка была

опровержением женственности, воплощала беспорядок и грязь, незастланные до обеда постели, требующую расчета прислугу — все, чего он решительно не выносил. У него была манера — передергивать плечами и растопыривать пальцы, как бы заслоняя неприглядный предмет — что он сейчас и проделывал. А Минта шла себе впереди, и, кажется, ее встретил Пол, и они вместе исчезли в саду.

Рэйли! — думала Лили, выжимая из тюбика зеленую краску. Она собирала свои впечатления от этой четы. Их жизнь ей являлась в серии сцен; одна — на рассвете, на лестнице. Пол пришел рано и улегся в постель; Минта запоздала. Вот Минта, накрашенная, разряженная, в каком-то венке, стоит на лестнице в три часа ночи. Пол выскочил из постели в пижаме. В руке кочерга — на случай воров. Минта жует бутерброд, стоя на лестнице возле окна в мертвящем предутреннем свете, и зияет дыра на ковре. Но что тогда говорилось? — гадала Лили, будто, вглядываясь, можно услышать слова. Ужасно. Он говорит, а Минта назло жует бутерброд. Он кидает ей что-то злое, ревнивое, грубое, но вполголоса, чтоб не проснулись дети, двое мальчиков. Он — осунувшийся, погасший; она — ослепительная, равнодушная. Чуть не в первый же год все разладилось; семейного счастья не вышло.

Вот так, — думала Лили, набирая на кисть зеленую краску, — сочиняем за людей подобные сценки, и это у нас называется их «помнить», «знать» и «любить». Тут ни слова нет верного; все сама сочинила; но ведь именно это ей про них и известно. Она как по штольне шла, углублялась в свою работу и в прошлое.

Еще Пол как-то сказал, что «играет в шахматы по кофейням». И на этой фразе она тоже многое понастроила. Она вспомнила, что сразу тогда вообразила, как он звонит горничной и та говорит: «Миссис Рэйли нет дома, сэр», и он тоже решает уйти. Вообразила, как он сидит в углу, в кошмарном заведении, где дым вьелся в красный плюш

кресел, где подавальщицы вас знают в лицо, и играет в шахматы с низеньким из Сербитона, который чаем торгует, и больше Полу о нем ничего неизвестно. А когда он приходит домой, Минты все еще нет. И тогда разразилась та сцена на лестнице, и он схватил кочергу на случай воров (разумеется, чтоб ее попугать) и надрывно твердил, что она ему исковеркала жизнь. Во всяком случае, когда она гостила у них на той даче под Рикмансвортом, отношения были ужасно натянутые. Пол поволок ее в сад показывать своих бельгийских зайцев, и Минта увязалась за ними, навистывая и обняв его голой рукой за плечо, чтоб чего не сболтнул.

Минта, подозревала Лили, этих зайцев терпеть не могла. Но уж она-то не ляпала лишнего. Никаких таких «шахмат по кофейням». Себе на уме. Но — продолжая историю Рэйли — теперь они благополучно миновали опасный период. Она гостила у них прошлым летом, и сломалась машина, и Минта подавала ему инструмент. Он сидел на обочине, чинил машину, и по тому, как Минта подавала ему инструмент — деловито, дружески, просто, — ясно было, что у них все в порядке. Уже не «влюбленность»; нет; он завел другую женщину, серьезную, с пучком и с портфелем (Минта ее живописала сочувственно, чуть не в восторженных красках), которая ходит с Полом по митингам и разделяет его воззрения (он все меньше стесняется их излагать) относительно налогов на капитал и землевладение. Связь отнюдь не разрушила брака, но навела в нем порядок. Видно было, когда он сидел на обочине, а она подавала ему инструмент, — что они большие друзья.

Вот вам история Рэйли. Лили улыбалась. Она представляла себе, как рассказывает ее миссис Рэмзи, которой любопытно бы было узнать, что с ними случилось. Она не без торжества сообщила бы миссис Рэмзи, что брак оказался не слишком удачным.

Но мертвые, подумала Лили, наткнувшись на помеху в работе, остановясь, призадумавшись, отступая на шаг-другой. Ох эти мертвые! — прибор-

мотала она. Их жалеешь, их отмечаешь, их даже презираешь чуть-чуть. Они отданы нам на милость. Миссис Рэмзи поблекла, истаяла. Мы можем плевать на ее желанья, разбивать ограниченные, старомодные взгляды, пока от них ничего не останется. Она все дальше и дальше от нас отходит. Там, в конце долгого коридора лет, сидит, смешная, и о чем же толкует? «Замуж, замуж!» (Очень прямо сидит, и утро уже, и птицы в саду за окном начинают чирикать.) А ведь можно ответить: «Все не по-вашему вышло. Они так нашли свое счастье; я — так. Жизнь теперь уж не та». И вся она, со всей своей красотой, вдруг показалась стародавней и пыльной. Подводя итог судьбе Рэйли, стоя на припеке, Лили вдруг почувствовала свое преимущество перед миссис Рэмзи, которой никогда не узнать, что Пол играет в шахматы по кофейням и завел любовницу; и как он сидел на обочине, а Минта подавала ему инструмент; а сама она вот стоит на лужке у мольберта и вовсе не вышла замуж, даже за Уильяма Бэнкса.

Миссис Рэмзи это затевала. Возможно, останься она в живых, она добилась бы своего. В то лето он вдруг оказался «добрейшим человеком». Оказался «первейшим ученым в своем поколении, муж говорит». Но он же был и «бедный Уильям — я так расстраиваюсь, когда его навещаю, в доме никакого уюта, за цветами некому приглядеть». И вот их посылали гулять парочкой, и ей сообщали, с тем легким ироническим призывом, который делал миссис Рэмзи неуязвимой, что у нее научный склад ума; что она любит цветы; и она-де удивительно аккуратна. И что за мания вечно сватать? — думала Лили, то отступая, то приближаясь к мольберту.

(Вдруг, так внезапно, как срывается в небе звезда, в мозгу у нее вспыхнул красный свет, окутавший Пола Рэйли, от него исходящий. Взвилась, как огонь, зажженный дикарями на дальнем острове в честь какого-то их торжества. И были грохот и треск. И все море расколыхалось багрянцем и золотом. И винный дух от него поднялся и

дурманил, и снова толкал очертя голову кинуться со скалы и погибнуть в поисках брошки. И от грохота, от треска сердце у нее сжалось омерзением и ужасом, будто, глядя на великолепие, роскошь, она сразу увидела расхищенные казны, недостойное, жадное, и стало нехорошо на душе. Но силой и великолепием то зрелище превосходило все, что ей доводилось видеть, и выжглось в памяти, как сигнал дикарей на пустынном затерянном берегу, и стоило кому-то при ней сказать «влюблен», сразу же, вот как сейчас, загорался огонь Пола Рэйли. И гас. И она говорила себе, усмехаясь: «Эти Рэйли»; и вспоминала про шахматы по кофейням.)

Сама она тогда чудом убереглась. Глянула на скатерть, и ее осенило, что нужно передвинуть дерево ближе к центру, а вовсе не замуж выходить, и она же тогда просто возликовала. Она тогда поняла, что не спасует перед миссис Рэмзи — отдавая должное поразительной власти, которую миссис Рэмзи имела над человеком. Сделай это, она говорила, — и человек это делал. Властительна даже тень ее с Джеймсом в окне. Она вспомнила, как Уильям Бэнкс тогда чуть ее не убил за легкомысленное отношение к сцене: мать и дитя. Спрашивал — неужто ее не восхищает их красота? Уильям Бэнкс, она вспомнила, смотрел на нее мудрым взглядом ребенка, пока она толковала, что вовсе тут нет непочтительности: что свет здесь — требует тени там и так далее. У нее и в мыслях не было небрежничать с темой, которую, они согласились, божественно трактовал Рафаэль. Ничуть она не цинична. Напротив. И со своим научным образом мыслей он ведь все понял, что и доказывало бескорыстие ума, которое безмерно ее поддержало, безмерно утешило. Оказалось, с мужчиной можно всерьез говорить о живописи. Право же, дружба с Уильямом Бэнксом ей заметно скрасила жизнь. Прелестный человек Уильям Бэнкс.

Они бродили по Хэмптон-Корту, и, безупречнейший джентльмен, он предусмотрительно отправлялся бродить вдоль реки, чтоб она могла не

спеша помыть руки. Характерная для их отношений черточка. Много не произносилось. И они бродили вокруг замка, лето за летом восторгались пропорциями и цветами, и он говорил ей разные вещи про перспективу и архитектуру, и замирал, устремив на дерево, пруд, ребенка (он все горевал, что у него дочери нет) отвлеченный, отуманенный взгляд, естественный для того, кто не вылезает из лаборатории, кого мир слепит, и он ходил очень медленно, заслоняя глаза рукой, и останавливался, и запрокидывал голову, и жадно вбирал воздух. А потом говорил, что отпустил экономку в отпуск; и ему надо покупать новую дорожку на лестницу. Не составит ли она ему компанию, когда он пойдет покупать новую дорожку? А как-то раз, заведя разговор с Рэмзи, он сказал, что, когда он впервые увидел ее, на ней была серая шляпа; ей было тогда лет девятнадцать-двадцать, не больше. Ошеломляюще была хороша. И он кинул взглядом вдоль аллеи Хэмптон-Корта, словно вот сейчас, меж фонтанов, он увидит ее.

Она глянула на ступеньки под окном гостиной. Увидела — глазами Уильяма — образ женщины, спокойной, тихой, с опущенным взором. Сидит задумавшись, размышляя (она была в сером в тот день). Опустила глаза. Не поднимет. Да, думала Лили, старательно вглядываясь, такой я и видела ее, но не в сером; и менее тихой, спокойной; не юной. Образ готовно представился взгляду. Уильям говорил — ошеломляюще была хороша. Но красота ведь — еще не все. С этой красотой морока — уж слишком готовно, слишком законченной она открывается взгляду. Она сковывает, она замораживает жизнь. И забываешь про трепет, вспышку румянца, внезапную бледность, свет, тень, незаметные такие подрагиванья, которые на миг до неузнаваемости меняют лицо, но что-то новое открывают в чертах, что навеки въедается в память. Куда как проще все стереть и сравнять под паволокой красоты. Но с каким лицом, гадала Лили, она нахлобучивала войлочную шляпу, бежала

в галошах по росе, распекала садовника Кеннеди? Кто знает? Кто скажет?

Против воли она очнулась, очухалась, спохватилась, что уже она вне картины, и слегка ошарашенно, как на нереальный предмет, смотрит на мистера Кармайкла. Он лежал в шезлонге, сплетя на брюшке руки, и не читал и не спал, просто нежился, — переполненное жизнью создание. Книга свалилась в траву.

Ей захотелось подойти к нему вплотную и окликнуть: «Мистер Кармайкл!» И он добродушно вскинул бы свой дымный, зеленооблачный взор. Но людей будишь тогда, когда знаешь, что им сказать. А она не что-то одно хотела сказать — все сразу. Словечками этими, которые кромсают, кургузят мысль, — ничего ты не скажешь. «О жизни, о смерти, о миссис Рэмзи»... Нет, она думала, ничего ты не скажешь, и никому. Припирает безотлагательная необходимость, и говоришь, и выходит не то. Слова несет вкось, мимо цели. И — сдаешься; мысль тонет; и стоишь, далеко не молодая особа, настороженная, скрытная, с морщинками на переносице, с опасливым взглядом. Ну как в словах передать ощущения тела? Передать пустоту вот там (она смотрела на ступеньки под окном гостиной; они были страшно пусты). Это ведь понимаешь телом, не головой. От одного вида этих ступенек ей вдруг стало физически тошно. Мучила неосуществимость желанья. Хотеть невозможного, хотеть и хотеть — да от этого заходится и переворачивается сердце! Ох, миссис Рэмзи! — взвыла она без слов к существу, сидевшему подле лодки, ставшему отвлеченностью, к этой женщине в сером, будто обвиняя в том, что ушла, и в том, что, уйдя, воротилась. О ней так спокойно думалось. Ничто, дух, пустота, которой можно безопасно играть денно и ночью, — вот что она стала такое, и вдруг протягивает руку и переворачивает тебе сердце. И пустые ступеньки гостиной, бахрома кресел внутри, шариком выкатившийся на террасу щенок, кипенье и пенье сада

превращаются в завитки и виньетки вокруг совершеннейшей пустоты.

Что с нами происходит? Что вы на это скажете? — снова захотелось ей спросить у мистера Кармайкла. Весь мир как растекся в этот ранний утренний час — прудом мысли, глубоким водоемом реальности, и казалось, если мистер Кармайкл заговорит, — трещина тронет поверхность пруда. И что тогда? Что-то вынырнет, что-то покажется. Вскинется рука, сверкнет клинок. Все это глупость, конечно.

Забавная мысль пришла в голову, что он услышал-таки все, чего она не сумела сказать. Непроницаемый старикан со своими этими пятнами на бороде, со своими стихами, загадками, лучезарно плывущий по свету, который исполняет все его прихоти так, что кажется — стоит ему опустить руку, лежа сейчас на лужке, и он выудит из травы все, что душе угодно. Она вгляделась в картину. Да, таков, вероятно, был бы его ответ: «вы», «я», «она» — все пройдет; ничего не останется; все поблекнет; только не слова и не краски. Но на чердаке же повесят, она подумала; скатают и заткнут под диван; но — не важно — даже и про такую картину — все правда. Даже про такую мазню, ну, не про получившуюся картину, про замысел, можно сказать «это навеки останется»; так было она и сказала себе или — высказанные слова ее испугали самонадеянностью — так бы и решила без слов — когда, глянув на картину, вдруг с удивлением обнаружила, что не видит ее. Глаза наполнила горячая влага (не сразу подумалось о слезах) и, не мешая твердости губ, застлала зрение туманом и пролилась по щекам. Вообще-то она владеет собой — о да! — в остальном она владеет собой. Неужто она рыдает по миссис Рэмзи, сама не сознавая горя? Снова она мысленно метнулась к мистеру Кармайклу. Что происходит? Что с нами происходит? Неужто тут никуда не денешься? И скидывается рука; клинок — режет; кулак — разит? И нет спасенья? И пути провидения не утвердить наизусть? И ни вожатая, ни прибежища

нет, только чудо, с вершины башни срывающееся в высоту? Неужто — даже на склоне дней — это и есть жизнь? — непонятная, беспамятная и неведомая? На миг один ей показалось, что встань они оба вот тут на лужке, потребуй они объяснения, отчего она так немислима, потребуй они объяснения неотступно, как власть имеющие, от которых нельзя ничего утаить — и красота раскроется, пространство заполнится, пустынькие завитушки сложатся в образ; стоит только крикнуть погромче, и миссис Рэмзи окажется тут.

— Миссис Рэмзи! — сказала она вслух, — миссис Рэмзи! — Слезы катились у нее по лицу.

6

[Макалистер-внук взял одну рыбу и вырезал у нее из бока кусок — для наживки. Изувеченное тело (еще живое) он бросил обратно в море.]

7

— Миссис Рэмзи! — кричала Лили. — Миссис Рэмзи!

Но ничего не произошло. Тоска набухала. До какого idiotизма эта пытка может довести человека! Старик меж тем ничего не слышал. Все тот же, блаженный, спокойный — если угодно так думать, возвышенный. Слава благим небесам, никто не слышал ее постыдного вопля: уймись ты, уймись боль! Значит, она не окончательно выглядит умалишенной. Никто не заметил, как с хлипкой своей планки она шагнула в воды уничтожения. Вот — стоит себе, невзрачная старая дева, с кистью в руке, на краю лужка.

И постепенно отпустили боль и досада (быть вытребованной назад, как раз, когда она думала, что избавилась от миссис Рэмзи, что ей не придется больше о ней тужить. Тосковала она по ней среди кофейных чашек за завтраком? Да нисколько!), отпустили боль и досада, что само по себе — бальзам, но вдобавок таинственным образом ощущалось чье-то присутствие: миссис Рэмзи, сбросив

на нее возложенный груз, невесомо стояла рядом и потом (ведь это была миссис Рэмзи во всем сиянье своей красоты) надела венок из белых цветов и ушла. Лили снова схватилась за тюбики. Надо было атаковать неприступную изгородь. Поразительно, как ясно видела она миссис Рэмзи, обычной своей устремленной поступью уходившую по плавным полям, исчезая в их складчатой нежной лиловости, среди гиацинтов и лилий. А все — уловки профессионального зрения. Долго после того, как узнала о ее смерти, Лили так ее видела — она надевала венок и вместе с конвойным, с тенью, неоспоримо шла по полям. Зрительный образ, фраза имеют власть утешать. Где бы ни писала она, здесь ли, еще где-то на воле, в Лондоне — к ней являлось это виденье, и глаз, сощурясь, всюду искал подспорья. Нырнул в глубину вагона, автобуса; выхватывал линию шеи, окат виска; охватывал окна напротив; ночные огни Пиккадилли, прошивающие темноту. Все было частью этих смертных полей. Но всегда что-нибудь — лицо, голос, мальчишка-газетчик, выкликающий «Стандарт» и «Ньюс», — отрезвляло, мешало, будило, требовало и добивалось усилий внимания, и видение приходилось без конца подновлять. Вот и сейчас, уступая потребности глаза в шири и сини, она смотрела на бухту, и синие полосы волн превращала в холмы и в застывшее поле — лиловеющие прогалы. И опять, как всегда, глаз наткнулся на несообразность. На середине бухты торчала темная точка. Лодка. Да, уже в следующую секунду она это поняла. Лодка — но чья? Мистера Рэмзи, ответила она себе. Мистера Рэмзи; человека, который прошептал мимо с приветственным взмахом руки, отрешенно, возглавляя процессию, в своих несравненных ботинках; который от нее домогался сочувствия, а она отказала. Лодка была уже на середине бухты.

Очень ясное было утро, несмотря на изредка налетавший ветер, и небо и море совершенно слились, и паруса высоко проплывали по небу, и купались в воде купола облаков. Пароход далеко-

далеко выпустил дымный свисток, и он декоративно петлял и вился по сини, словно по тоненькой кисее, на которой все выткано и тихо вместе с нею колышется. И, как часто случается в особенно ясные дни, скалы будто помнили о парюдах, и парюды знали о скалах, и они сигналами передавали друг другу свою какую-то тайную весть. И, порой подступавший к самому берегу, маяк сегодня таял в невысказанной дали.

И где они теперь? — думала Лили, глядя на бухту. Где-то он сейчас, тот самый старик, который молча прошествовал мимо со свертком в оберточной бумаге под мышкой? Лодка была на середине бухты.

8

Ничегошеньки-то они там не чувствуют, — думала Кэм, глядя на берег, который, подымаясь и опадая, делался все более дальним и мирным. Рука прорезала след по воде, а воображение сочиняло из зеленых вихрей и линий узоры и уводило оторопелую, онемелую Кэм в подводное царство, где зыблются жемчугом гроздьи пены, где, пропитавшись зеленым светом, у вас изменяется вся душа и призрачное тело сквозит под зеленым плащом.

Но вот вихрь вокруг ее ладони унялся. Вода затихла; весь мир наполнился скрипом и писком. Волны бились о борта лодки так, будто она стала на якорь. Все как-то странно на вас надвигалось. Парус, от которого Джеймс не отрывал глаз, так, что он сделался ему ближе любого знакомого, совершенно провис; они стали, и покачивались, и ждали бриза под палящим солнцем, в жуткой дали от берега, в жуткой дали от маяка. Все на свете застыло. Маяк стоял неподвижно, и вытянулась безжизненно черта далекого берега. Солнце пекло все нещадней, и всех будто толкнуло друг к другу, и каждому пришлось вспомнить о почти позабытом присутствии остальных. Леса Макалистера отвесно ушла в воду. А мистер Рэмзи читал себе, поджав и сплетя ноги.

Он читал маленькую блестящую книжку в пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Они томились в этом кошмарном безветрии, а он спокойно листал страницы. И, Джеймс чувствовал, каждая страница листалась особенным, ему адресованным жестом; то упрямым, то повелительным; то в расчете на жалость; и все время, пока отец читал и одну за другой листал маленькие страницы, Джеймс боялся, что вот он вскинет взгляд и что-то скажет ему резким тоном. Отчего они тут застряли, он может спросить, или подобную же нелепость. И если он скажет такое, Джеймс думал, — он схватит нож и вонзит ему в грудь.

В нем давно жила эта метафора — взять нож и вонзить в отцовскую грудь. Но сейчас, взрослый, глядя в бессильной ярости на отца, уже не этого старика над книжкой он хотел убить, но то, что на него опускалось, может быть, без его ведома: страшную чернокрылую гарпию с жесткими ледяными когтями и клювом, который бьет тебя, бьет (он еще помнил давний холод этого клюва на своей детской голой ноге), а потом улетает гарпия, и вот он снова — старик, очень, очень печальный, сидит и читает книжку. Вот кого надо убить, вот кого надо пронзить в самое сердце. Чем бы он ни занялся (а он чем угодно может заняться, он чувствовал, глядя на дальний берег и на маяк), в банке будет служить, в конторе ли, адвокатом станет или главой предприятия, — он всегда будет преследовать, выслеживать и вытравлять — тиранию и деспотизм, вот как это у него называется, когда людей заставляют делать то, чего они не хотят, когда их лишают права голоса. Ну как скажешь «не хочу», если он заявляет «отправляйся со мной на маяк, делай то, принеси мне се». Распластываются черные крылья, железный клюв бьет. А в следующую секунду он уже сидит и читает книжку; и может поднять от нее — разве с ним угадаешь? — совершенно разумный взгляд. Он может разговаривать с Макалистерами. Может совать золотой в заскорузлую ладонь старой уличной попрошайки; может орать в голос, глядя на

игрища рыбаков; руками размахивать от возбуждения. Или в мертвом молчании просидеть за столом от начала и до конца ужина. Да, думал Джеймс, пока лодка барахталась и плескалась на солнцепеке; есть снежная целина, одинокий, суровый утес; и в последнее время ему стало сдаваться, когда отец что-то брякнул к изумлению остальных, — лишь две пары следов на этом снегу: его собственные следы и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Но откуда же этот ужас и ненависть? Роясь в пластах листвы, которой время выстлало душу, заглядывая в непрорубную чашу, где все затушевано и искажено мельканием солнца и тени, где пробираешься наугад, ослепленный то светом, то тьмой, он отыскивал живой зрительный образ, чтоб остудить и собрать и прояснить свои чувства. Положим, сидя ребенком в колясочке или у кого-нибудь на коленях, он увидел, как кому-то на ногу ненароком наехал безвинный фургон. И он увидел гладкую, целую ногу в траве; потом — колесо; и — ту же ногу, искромсанную и красную. Но колесо — безвинно. Вот и теперь, когда отец ни свет ни заря, протопав по коридору, вырывает их из постели ради своей экспедиции на маяк, — это ведь колесо давит ногу ему, Кэм, чью угодно еще. И остается сидеть и смотреть.

Да, но о чьей же ноге он думал и в каком это было саду? Были у сцен декорации; были деревья; цветы; определенное освещение; действующие лица. Все разыгрывалось готовней в саду, где не было этой насупленности, этой жестикуляции; и разговаривали спокойно, вполголоса. Весь день входили и выходили. Старушка болтала на кухне; и шторы засасывал и потом выгалкивал ветер; все вздувалось; цвело; и на тарелки и чашки, на желтые и пунцовые розы, долгоствольные и раскачивающиеся, к ночи тонкая, как виноградный листок, натягивалась желтая пленка. Все к ночи темнело, затихало. Но листоподобная пелена так тонка, что колышется от свечей, морщится от голосов; и сквозь нее видна склоненная голова, слышно то

близкое, то дальнейе шуршание платья, позвякивание цепочки.

И вот в этом-то мире колесо раздавило человеку ногу. Что-то, он помнил, встало над ним; застыло свет; не уходило; и что-то взметнулось, прорезало воздух, что-то острое, твердое — клинок, ятаган — прошлось по листве, по цветам даже этого блаженного мира, и все засохло, опало.

— Будет дождь, — он помнил, сказал отец. — Выбраться на маяк не удастся.

Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам. А теперь...

Джеймс посмотрел на маяк. Увидел добела отмытые скалы; башню, застывшую, голую; увидел белые и черные перекрытия; увидел окна; даже белье разглядел, разложенное для просушки на скалах. Значит, вот он какой — маяк?

Нет, тот, прежний, был тоже маяк. Ничто не остается только собою. Прежний — тоже маяк. Едва различимый порою за далью бухты. И глаз открывался и закрывался, и свет, казалось, добирался до них, в наполненный солнцем и воздухом вечеряющий сад.

Но он одернул себя. Стоило ему сказать «они» или «кто-то», услышать близкое шуршание платья, дальнейе позвякивание цепочки, он начинал остро чувствовать присутствие того, кто случился рядом. Сейчас это был отец. Напряжение делалось невыносимым. Ведь минутку еще не будет бриза — и отец захлопнет книжку и скажет: «Что такое? Почему мы тут валандаемся, а?», как однажды уже он всадил между ними свой клинок на террасе, и она вся застыла, и будь тогда под рукой у Джеймса топор, нож, что угодно острое, он вонзил бы его в отцовскую грудь. Она тогда вся застыла, и потом рука ее стала вялой, и он понял, что она его больше не слушает, и она встала, ушла, и он остался один, жалкий, беспомощный, по-идиотски сжимая ножницы.

Не было ни ветерка. Вода урчала и фыркала на дне лодки, и несколько скумбрий бились в мелкой,

не покрывавшей их луже. В любую минуту мистер Рэмзи (Джеймс на него боялся взглянуть) мог встать, захлопнуть книжку и сказать что-нибудь резкое; но покамест он читал, и Джеймс украдкой, как босиком крадешься по лестнице, боясь скрипом половицы разбудить сторожевого пса, вспоминал, какая она была и куда подевалась в тот день. Он слонялся за нею из комнаты в комнату, и наконец они очутились в такой комнате, всей синей от множества фарфоровых блюд, и она говорила с кем-то; он слушал; она говорила с прислугой; говорила все, что взбредет на ум. «Нам синее блюдо сегодня понадобится. Где оно — наше синее блюдо?» Она одна говорила правду; ей одной он мог сказать правду. Вот в чем, наверно, секрет его не остывшей привязанности; она была человеком, которому можно сказать все, что взбредет на ум. Но все время, пока он про нее думал, отец — он чувствовал — преследовал его мысль, и мысль спотыкалась и путалась.

И он перестал думать; сидел, держа руку на румпеле, под пеклом, неотрывно смотрел на маяк и не мог шелохнуться, не мог смахнуть эти зерна печали, которые одно за другим оседали в душе. Будто его связали канатом, и отец затянул узел, и вырваться можно только, если взять нож и... Но тут парус медленно повернулся, поймал ветер, вздулся, лодка встряхнулась, сонно качнулась, очнулась от сна и понеслась по волнам. Сразу всем немисливо полегчало. Их будто отбросило друг от друга, каждый снова был преспокойно сам по себе, и лесы туго и косо тянулись от борта. Но отец так и не встал. Только загадочно высоко вскинул правую руку и опять уронил на колено, будто дирижировал тайной симфонией.

9

(Море, без единого пятнышка, думала Лили Бриско, глядя и глядя на бухту. Оно синим шелком натянулось на бухту. У дали странная власть; вот — проглотила их, думала Лили, канули навсегда, рас-

творились в сути вещей. Все так спокойно; так тихо. Пароход исчез, но большой дымный свиток еще струился по сини и никнул, прощаясь, как траурный стяг.)

10

Так вот он какой, остров, думала Кэм, снова прочесывая пальцами воду. Она никогда еще его не видела с моря. Вот, оказывается, как он улегся на воду, с выбоиной посередине и двумя зубчатыми скалами, и волны несутся к нему, и разбегаются на мили и мили кругом. Он совсем крохотный; как листик, стоящий торчком. И вот мы взяли лодочку, она думала, уже сочиняя историю о спасении с тонущего корабля. Но вода сеялась у нее сквозь пальцы, убегали под лодку струи водорослей, и ей не хотелось сочинять эту историю дальше; хотелось просто дышать ветром воли и приключений, потому что лодка неслась, а она думала про то, как отцовское раздражение по поводу стран света, настойчивость Джеймса по поводу договора, ее собственное малодушие — все исчезло, прошло, унеслось на волнах. Что же дальше? Куда нас мчит? От руки, глубоко засунутой в воду и оледеневшей, до самого сердца фонтаном стрельнула радость; перемена, приключение, бегство (я живая, вот она я!). И брызги радостного фонтана падали на смутное, непознанное, дремотно ворочавшееся у нее в голове; и оно озарялось во тьме. Греция, Рим, Константинополь. Какой-никакой, крохотный, как листик, обмокнутый стеблем в золотое марево вод — он ведь тоже, значит, имеет свое назначение во вселенной — этот маленький остров? Уж они бы ей объяснили — те старые господа в кабинете. Иной раз она нарочно забредала из сада, чтоб застать их врасплох. Сидели (мистер Кармайкл и, наверное, мистер Бэнкс, оба старые и сухие) друг против друга в креслах. Шуршали страницами «Таймса», когда она забредала из сада, поглощенные неразберихой: кто и что сказал про Христа; и на улице Лондона

выкопан мамонт; и каков он — великий Наполеон? Потом они все собирали чисто вымытыми руками (оба в сером всегда; пахли вереском), воссоединяли клочки, переворачивали страницы, закидывали нога на ногу, роняли одно-другое словцо. Зачарованная, она брала с полки книгу и стояла, глядя на отца, который так аккуратно, так ровно исписывал страницы от угла до угла и вдруг легонько покашливал или говорил что-нибудь старому господину напротив. И, стоя с открытой книгой в руках, она думала — вот как листик в воде, так и мысль распускается здесь, и если тебе думается так легко здесь, среди старых господ, которые курят трубки, шуршат страницами «Таймса», значит, все, что ты думаешь, — правда. И, видя отца, писавшего у себя в кабинете, она думала (вот сейчас, сидя в лодке) — он лучше всех на свете, он самый умный; и никакой он не суетный, и он не тиран. Наоборот, когда он ее видел над книгой, он очень ласково спрашивал, не нужна ли ей его помощь?

Боясь, как бы все это не оказалось неправдой, она посмотрела на отца, склонившегося над маленькой книжечкой в блестящем, пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. Нет. Все правда. Ну, посмотри ты на него, хотелось ей сказать Джеймсу (Джеймс не отрывал глаз от паруса). Он ядовито попирает чужое достоинство, говорил Джеймс. Вечно переводит разговор на себя и свои книги, говорил Джеймс. Невыносимый эгоист. И — главное — он тиран. Ну, посмотри, — думала она, глядя на отца. Ну, посмотри ты на него. Она смотрела, как он читает эту книжечку, поджав под себя ноги; книжечку, желтоватые страницы которой она знает, хоть не знает, что там написано. Она маленькая; с убористой печатью; на форзаце, она знает, он записал, что потратил пятьдесят франков на ужин; вино — столько-то; столько-то официанту; все аккуратно столбиком сложено внизу страницы. А что написано в книжечке, у которой углы затупились в его кармане, она не знает. О чем он думает, не знает никто. Но он в это так углублен, что если поднимет глаза, — вот как сей-

час, — то не для того, чтоб на что-то взглянуть; а для того, чтоб вернее ухватить свою мысль. И — снова проваливается в чтение. Он читает, она думала, так, будто кому-то показывает дорогу, или увещевает огромное стадо овец, или пробирается в гору все выше и выше по узенькой тропке: а то вдруг шагает быстро, напролом через заросли, и часто ей казалось, вот ветка хлестнула его по лицу, ослепила колючая ветка, а он не сдаётся, идет и идет, перебрасывая страницы. И Кэм сочиняла дальше историю о спасении с тонущего корабля, ведь, сидя тут, она была в безопасности; как тогда в безопасности, когда прокрадывалась из сада, брала с полки книгу, а кто-нибудь из старичков вдруг приспускал газету и ронял одно-другое словцо о характере Наполеона.

Она смотрела назад, на море, на остров. Листик утрачивал остроту очертаний. Стал очень маленьким, очень далеким. Уже море было важнее берега. Волны кругом ходили и падали, и на одной плясало бревно; на другой качалась чайка. Вот тут где-то, она подумала, обмакнув пальцы в воду, они потонули в бурю, и мечтательно, сонно она прошептала — мы гибли, каждый одинок.

11

Как же много зависит, думала Лили Бриско, глядя на море — почти без единого пятнышка и такое тихое, что лодки и облака будто застыли в лазури, — как же много зависит, она думала, от расстояния: близко ли от тебя человек или он далеко. Ее отношение к мистеру Рэмзи менялось, куда он дальше и дальше плыл через бухту. Как-то разрежалось, растягивалось; он становился более и более дальним. Его и детей как заглотнула лазурь, заглотнул простор; а тут совсем рядышком на лужке вдруг крикнул мистер Кармайкл. Она засмеялась. Он выуживал из травы свою книгу. Снова устраивался в шезлонге, пыхтя, отдуваясь, как морское чудище. Совершенно другое дело, когда человек у тебя под боком. И снова все

стихло. Там должны бы уж встать; пожалуй, пора, соображала она, и взглянула на дом, и никого не увидела. Ах да, она вспомнила, они же всегда сразу, позавтракав, разбредались по своим надобностям. Все было в согласии с тишиной, пустотой, нереальностью раннего часа. Так бывает, думала она, оглядывая высокие посверкивающие окна и сизое веянье дыма: все становится нереальным. Когда возвращаешься после отъезда или после болезни, пока еще не оплела своей сетью привычка, — так же все нереально, так же ново и поражает; будто рождается что-то. И жизнь необычайно свежа. И редкое ощущение свободы. Слава Богу, не надо бодро-бодро щебетать, поспешая через лужок навстречу старой миссис Бекуиз, которая высматривает для себя уютный уголок: «Ах, с добрым утром, миссис Бекуиз! Прелестная погода, не правда ли? Значит, вы отважно решились посидеть на солнышке? И куда это Джеспер запропастил стулья? Сейчас я найду вам и принесу! Вы позволите?» — и прочее в том же роде. Можно просто молчать. Скользить, расправив паруса (бухта оживлялась, лодки то и дело отчаливали), среди всего и — мимо, мимо. И ты не в пустоте, а в чем-то, наполненном до краев. Она словно по горло стояла в чем-то, и двигалась, и плыла, и тонула, да, потому что безмерно глубоки эти воды. Столько жизнью в них пролилось. Жизнь миссис Рэмзи; детей; и еще бесконечная всякая всячина. Прачка с корзиной; грачи; кусты факельных лилий; лиловость и матовая зелень цветов; и общее чувство, на котором все это держалось.

Вот похожее чувство — завершенности, что ли, — десять лет назад на этом самом краю лужка толкало ее говорить, что она влюблена в это место. У любви ведь бездна обличий. И должны быть такие любящие, чей талант — выделять элементы вещей и соединять их, наделив не присущей им цельностью, из разных сценок, из встреч разных людей (и все это прошло, никого уже нет, все разрозненны) создавать то единое, круглое, к чему тянется мысль, чем играет любовь.

Она поискала глазами темную точку — лодку мистера Рэмзи. Доберутся, надо думать, к обеду до маяка. Но свежел ветер, небо чуть-чуть изменилось, море чуть-чуть изменилось, лодки иначе накренились, и вид за миг до того удивлявший таинственной закрепленностью, сразу погас. Ветер развеял дымный свиток; чем-то неприятным отдавало расположенье судов.

От этой диспропорции стало нехорошо на душе. Ее точило сомнение. И подтвердилось, когда она перевела взгляд на холст. Она впустую угробила утро. Почему-то такое она не сумела уравновесить две противоборствующие силы: мистера Рэмзи и свою картину; вот ничего и не вышло; нет, не вышло. В рисунке, что ли, просчет? И линию стены надо бы чем-то прервать, или слишком давят массой деревья? Она иронически усмехнулась; а ведь считала, что решение найдено.

Решение! Какое там решение! Надо именно то ухватить, что от тебя ускользает. Ускользает, пока думаешь про миссис Рэмзи; ускользает, когда думаешь о картине. Вертятся фразы. Виденья. Красивые фразы. А ухватить надо — вот: само это трепетание нервов; и то, что еще не застыло в форме и непредставимо пока, — передать. Брось все и начни сначала; брось все и начни сначала, решала она отчаянно, снова замирая перед мольбертом. Жалкая машина, негодная машина, она думала — человеческое приспособление для писанья картин, для чувств; вечно в критическую минуту отказывает; вот геройски и заводи ее снова. Она недовольно оглядела хвост. Да, там изгородь, кто же спорит. Но нахрапом ничего не возьмешь. Только спящие точки в глазах, если тупо смотреть на стену или твердить: на ней была серая шляпа. Поразительно была хороша. Нет уж, пускай само находит, она думала, если найдет. Ведь бывают же такие минуты, когда нет ни мыслей, ни чувств. Но когда нет ни мыслей, ни чувств — где ты тогда?

Здесь, на траве, на земле, она думала, присаживаясь и лаская кистью мелкое поселение подорож-

ников. (Лужок весь зарос.) Да, здесь и обретаешься, в этом мире, она думала, и она не могла отогнать ощущения, что все в это утро происходит в первый раз или, может, в последний, как пассажир у окна, хоть и клонит его в сон, заставляет себя смотреть, зная, что больше ему никогда не видать проносащегося городка, и тележки с осликом, и женщины, копающейся на огороде. Лужок — это мир; и оба мы — тут, на возвышенном месте, она думала, глядя на старого мистера Кармайкла, который, кажется (хоть не промолвил ни слова), разделял эти мысли. Его мне тоже, может быть, больше никогда не видать. Он старый совсем. А во-вторых, вспомнила Лили, нежно улыбаясь болтающемуся у него на ноге шлепанцу, он же у нас теперь знаменитость. Пишет, говорят, «дивные» стихи. Его сочинения сорокалетней давности откапывают и публикуют. Есть теперь такая знаменитость, именуемая Кармайкл. И она улыбнулась, подумав про то, как много ипостасей у одного человека, и вот он теперь знаменитость в газетах, а здесь все тот же, что и всегда. Так же выглядит — ну, чуть-чуть поседел. Да, он выглядит так же, хоть кто-то, помнится, ей говорил, что, когда он услышал о смерти Эндрю Рэмзи (он умер мгновенно от разрыва гранаты; из него вышел бы великий математик), мистер Кармайкл потерял к жизни всякий интерес. В чем же, гадала она, это выразалось? Маршировал он по Трафальгарсквер, сжимая тяжелую трость? Один, у себя на Сент-Джонс-Вуд, листал и листал, не читая, книгу? Она не знала, что именно он делал, услышав о смерти Эндрю, но она все это в нем чувствовала. Они только здоровались невнятно на лестнице; смотрели на небо и говорили, что погода будет хорошая; или погода будет плохая. Но и так узнаешь человека: узнаешь общий очерк, не частности; сидишь у себя в саду и видишь гору, сонным склоном уходящую в лиловую вересковую даль. Вот так и она его знала. Знала, что он изменился. Она не читала ни строчки его стихов, но, кажется, знала их тягучую звучность. Густых и слепых сти-

хов. О пустынях, верблюдах. О закатах и пальмах. В высшей степени отвлеченных стихов; в них немного о смерти; и почти ничего о любви. В нем высокая отъединенность; он очень мало нуждается в людях. Как смешно он пытался вечно, с газетой под мышкой прощмыгнуть мимо гостиной, мимо миссис Рэмзи, которую за что-то он недолюбливал! И потому-то, естественно, она вечно норовила его задержать. Он отвешивал ей поклон. Досадуя, что ему от нее ничего не нужно, миссис Рэмзи спрашивала (Лили так и слышала этот голос), не нужно ли принести ему плащ? Плед, газету? Нет, ему ничего не нужно (отвешивался поклон). Что-то в ней было такое, что претило ему. Может быть, властность, наступательность, что-то в ней прозаическое. Эта ее прямота.

(Окно в гостиной вдруг воззвало к ее вниманию, пискнув петлей. С ним заигрывал легкомысленный ветерок.)

Некоторые, конечно, ее просто не выносили, думала Лили. (Да. Ступени перед окном гостиной пусты, она видит, но ей это решительно безразлично. Ей сейчас не нужна миссис Рэмзи.) Считали слишком резкой, самоуверенной. Даже ее красота кой-кого раздражала. Однообразная, говорили, всегда одинаковая! Предпочитали иное — смутность, игру. И с мужем поставить себя не сумела. Допускала его эти выходки. И скрытная чересчур. Никто толком не знал ее прошлого. И (возвращаясь к мистеру Кармайклу и его антипатии) нельзя себе представить, чтоб миссис Рэмзи битое утро проторчала с кистью в руке над мольбертом, провалялась с книжкой на лужке. Никак нельзя себе представить. Ни слова не сказав, только вооружась своей дежурной корзинкой, она отбывала в городок, к беднякам, сидеть в какой-то пропахшей лекарствами конуре. Тысячу раз Лили наблюдала, как, ни слова не сказав, вдруг, посреди игры, посреди разговора, она отбывала с этой корзинкой, очень прямо держалась. Лили разглядывала возвращавшуюся миссис Рэмзи и, усмехаясь (уж очень

истово руководила она чаепитием) и плавясь (дух захватывает — как хороша), думала — глаза, закрывающиеся в муках, сейчас на тебя смотрели. Ты была с ними там.

А миссис Рэмзи опять уже готова была вскинуться из-за вашего опоздания к столу, из-за несвежего масла, из-за щербинки на чайнике. И все время, пока она распространялась по поводу несвежего масла, вы думали о греческих храмах и о том, что с ними там была красота. Никаких разговоров — просто она брала корзинку и удалялась, очень прямо держась. Ее толкал инстинкт — инстинкт, который ласточек тянет на юг, артишоки к солнцу, безошибочно ее поворачивал к людям, помогал свить в душе у них гнездышко. Но этот инстинкт, как и другие инстинкты, того, кто ими не наделен, раздражает; мистера Кармайкла, наверное, раздражал; и уж, конечно, Лили. Оба опирались на соображение о тщетности действий, о первенстве мысли. Эти ее уходы им были укором, все на свете переворачивали, и, видя свои исчезающие предубеждения, обоим хотелось упереться, удерживать их силком. С Чарльзом Тэнсли — та же история; между прочим, еще и поэтому его не любили. Он опрокидывал все ваши понятия о пропорциях. И что-то с ним теперь, думала она, праздно прохаживаясь по подорожнику кистью. Диссертацию защитил. Женится; в Хэмпстеде живет.

Как-то во время войны она зашла в один зал, где он держал речь. Он что-то изобличал; он клеймил кого-то. Проповедуя любовь к ближнему. А она сидела и думала — как может любить себе подобных тот, для кого живописи просто не существует, кто вечно торчал у нее над душой, обкуривая махоркой (экономия на куреве, мисс Бриско!), и считал своим долгом ей разъяснять, что женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером, — и не потому, что таково его убеждение, а потому, что так ему, по непонятным резонам, угодно. Тощий, красный, натужный, он вещал с возвышенья (муравьи суетились среди подорожников, и она ворошила их кистью — крас-

ные, энергические муравьи, в общем похожие на Чарльза Тэнсли). Она иронически смотрела, как он начинает любовью к ближнему полупустой и промозглый зал, и вдруг — закачался, закачался в волнах бочонок, или что это было такое, а миссис Рэмзи нашаривала на гальке очешник. «Господи! Вот несчастье! И этот посеял! Успокойтесь, мистер Тэнсли. Я их каждое лето тысячами теряю». И он вжимает в воротник подбородок, — дескать, не может санкционировать подобное преувеличение, но простит, так и быть, той, которую любит, — и улыбается прелестной улыбкой. Он, конечно, ей исповедовался в этих долгих прогулках, когда все разбредались и возвращались порознь. Он дал воспитание младшей сестре, миссис Рэмзи ей доложила. Что дивно его характеризует. Конечно, у ней у самой о нем превратное представление, решила Лили, теребя подорожник кистью. То и дело составляешь превратные представленья о людях. Из собственных тайных расчетов. Чарльз служит ей мальчиком для битья. Отхлестывая его по тощему задку, она на нем вымещает свои настроения. А если серьезно к нему подходить, надо руководиться высказываниями миссис Рэмзи, смотреть на него ее взглядом.

Она возвела холмик — препятствие для муравьев. И повергла тех в ужас и недоумение, смешав всю историю их мирозданья. Одни побежали туда, другие сюда.

Надо иметь пятьдесят пар глаз, думала она. Но и пятидесяти не хватит, чтоб управиться с одной этой женщиной. Среди них хоть одна пара глаз должна быть абсолютно слепа к ее красоте. А нужней всего — тайное и, как воздух, тонкое чувство, которое бы умело проникать сквозь замочные скважины, ее наступать, когда она занята вязаньем, разговором, или молча, одиноко, сидит у окна, а потом исчезать, кладом храня, вот как воздух хранил тот пароходный дымок, ее мысли, фантазии, ее желанья. Что для нее значила эта изгородь, что значил сад? Что для нее значил шорох набежавшей на берег волны? (Лили вски-

нула взгляд так, как, она видела, вскидывала взгляд миссис Рэмзи; она тоже услышала шорох набежавшей на берег волны.) И как, интересно, обрывалось у нее и екало сердце, когда дети кричали «Сколько? Сколько?», гоняя в крикет? На секунду она опускала вязанье. Всмотривалась в сторону крикетной площадки. И опять от нее отвлекалась, а мистер Рэмзи останавливался, как вкопанный, на ходу, и странное волнение забирало ее и не отпускало, пока он, стоя рядом, сверху вниз на нее смотрел. Лили очень живо себе его представила.

Он протягивал руку и помогал ей подняться со стула. И отчего-то такое казалось, что это уже было; и некогда он так же склонялся, помогая ей выйти из лодки, которая неудачно пристала у острова, и дамы не на шутку нуждались, чтобы выбраться на сушу, в помощи джентльменов. Старомодная сценка, где мерещатся чуть ли не кринолины, и камзолы, и белые чулки. И, подав ему руку, миссис Рэмзи, наверно, решила: час пробил. Да, сейчас она ему скажет. Да, она выйдет за него замуж. И тихо, неспешно она ступила на берег. Может, всего одно-два словца она тогда ему и сказала, не отнимая руки. Я за вас выйду замуж, она сказала и руку не отняла; и все. И снова и снова их пробирал тот же трепет — заметным образом, думала Лили, разглаживая путь для своих муравейчиков. Ничего она не сочиняет; просто разглаживает то, что ей давным-давно подарено в свернутом виде; она это видела своими глазами. Ведь в ежедневной круговерти и кутерьме, среди детей и гостей — вы все время чувствовали этот дух повторенья — все падало по траектории, проторенной уже чем-то другим, и вызывало готовное, долго-долго дрожавшее в воздухе эхо.

Но ошибкой было бы, она думала, вспоминая, как они удалялись — она в своей зеленой шали, он в реющем галстуке, рука об руку мимо теплицы, — ошибкой было бы их отношения упрощать. Далеко до безмятежной идиллии — с ее-то вскидчивостью, непредсказуемостью; с его хандрою и приступами. Уж какое! Ни свет ни заря вдруг

бешено грохала дверь спальни. Или он, разъяренный, выскакивал из-за стола. Запускал тарелкой в окно. И по всему дому будто двери гремели, стучали шторы, как в бурю, и подмывало броситься, задвигать засовы, наводить порядок. В таких обстоятельствах они столкнулись раз на лестнице с Полом Рэйли. И, как дети, умирали со смеху из-за мистера Рэмзи, который, обнаружив мошку у себя в молоке, отправил свой завтрак по воздуху в сад. «Мошка, — в священном ужасе лепетала Пру, — у него в молоке». К другим в молоко пусть плюхается сороконожка. Он же сумел вокруг себя воздвигнуть такие стены благоговения и с такой величавостью среди них прохаживался, что мошка у него в молоке обращалась в могучее чудище.

Но миссис Рэмзи утомляли, ее несколько угнетали запусканье тарелок и грохотанье дверьми. И порой они тяжело, подолгу не разговаривали, и (не любила Лили этих ее настроений) не то обиженная, не то возмущенная, она была как бы не в состоянии спокойно выстаивать бурю и смеяться, как все, но что-то вынашивала в этой усталости. Сидела и думала-думала. Погодя он начинал делать вокруг нее круги, слонялся под окнами, куда она писала письма, с кем-нибудь разговаривала и все старалась не оказаться не занятой, когда он поблизости, притворялась, будто его не замечает. И он становился шелковый, само смирение и обходительность, пытаясь вернуть таким способом ее расположение. Но она не сдавалась, вдруг напускала на себя гордый вид неприступной красавицы, вообще-то в высшей степени ей не присущий; эдак голову повернет; глянет через плечо; и непременно, чтоб рядом Минта, Пол какой-нибудь, Уильям Бэнкс. Наконец, отверженный, отринутый, ну, — изголодавшийся волкодав (Лили поднялась с травы, глянула на окно, на ступеньки; вот там он стоял), он произносил ее имя, только разок — волк и волк, взывающий на снегу, — но она и тут не сдавалась; и он снова ее окликал, и тут уж что-то в его голосе срывало ее с места, она вдруг бросала всех, шла к нему, и они удалялись вдвоем —

под груши, к капустным грядкам, к малиннику. Удалялись – все уладить наедине. Но с помощью каких слов, каких жестов? И такое достоинство было в их отношениях, что сама она, Минта и Пол, скрывая неловкость и любопытство, отворачивались, не смотрели им вслед, принимались рвать цветы, и перекидывались мячом, и болтали до самого ужина и – пожалуйста! – они снова сидели: она на одном конце стола, он на другом, как всегда.

– Почему это вы, никто, ботаникой не займетесь?.. Столько ног у вас, столько рук в общей сложности, и хотя бы один... – они, как всегда, разговаривали, шутили со своими детьми. Как всегда. Только легкая искра, как блеск клинка, то и дело проскакивала между ними, будто привычный вид детей над супом освежился у них в глазах после того часа среди груш и капусты. Особенно часто, Лили думала, поглядывала миссис Рэмзи на Пру. Та сидела посередине стола между братьями и сестрами и, кажется, до того боялась, как бы чего не вышло, что сама почти не раскрывала рта. Как, наверное, Пру себя костерила за ту несчастную мошку! Как побелела, когда мистер Рэмзи запустил тарелкой в окно! Как сникала во время этих их размолвок! И мать словно старалась ее приободрить; убеждала, что все хорошо; обещала, что и ей суждено то же счастье. Правда, она им недолго понаслаждалась – меньше года.

Она тогда выронила из корзинки цветы, думала Лили, щурясь и на шаг отступя, будто оглядывая холст, но к нему не притронулась, и чувства в ней будто застыли, ледком подернулись на поверхности, а ниже была стремнина.

Она роняла из корзинки цветы, разбрасывала по тропе и, нехотя, через силу, но без вопросов и жалоб – разве не владела она даром безупречного послушанья? – она уходила тоже. По полям и лугам, белым, цветистым – вот как это бы написать. Горы хмуры; кремнисты; крутая тропа. С ревом бьются о берег волны. И уходят – все трое – и миссис Рэмзи идет впереди, очень быстро, будто сейчас за углом она встретит кого-то.

Вдруг в окне, на которое она смотрела, что-то смутно забелелось. Значит, все-таки кто-то вошел в гостиную. Господи, пронеси, взмолилась она, только бы они там и оставались, не обрушивались на нее с болтовней! Слава Богу, кто бы там ни был, оставался внутри; и по счастливому совпадению даже отбрасывал на ступени хитрую треугольную тень. Это чуть-чуть меняло композицию. Интересно. Еще пригодится. И вернулось прежнее настроение. Смотреть в оба, ни на секунду не расслабляться, чтоб тебя не надули. Держать всю сцену — вот так — в тисках, чтоб ничто не могло вклиниться и напортить. Главное, она думала, довериться будничной вещи; просто чувствовать — вот кресло, вот стол, и — одновременно: ведь это чудо и счастье. А решение придет. Ах, да что ж это там такое? Что-то белое прошлось волной по оконнице. Видно, ветер взмахнул какой-то оборкой. Сердце перестукнуло, оборвалось и заныло.

Миссис Рэмзи! Миссис Рэмзи! — звала она, снова чувствуя прежнюю пытку — хотеть и хотеть невозможного. Неужто до сих пор в ее власти так мучить? И потом, сразу, как если бы ей удалось сдержаться, стало и это будничной вещью — как кресло, как стол. Миссис Рэмзи — по безмерной своей доброте к Лили — просто сидела в кресле, посверкивала спицами, вязала свой красно-бурый чулок, отбрасывала тень на ступени. И все.

И — будто вот сейчас ей необходимо с кем-нибудь поделиться, да трудно расстаться с картиной, так душа переполнена тем, что она увидела, тем, что думала. Лили с кистью в руке прошла мимо мистера Кармайкла, на край лужка. Где же эта их лодка? И мистер Рэмзи? Он был сию минуту ей нужен.

12

Мистер Рэмзи почти разделался с чтением. Рука парила над страницей, как бы изготавливаясь перевернуть ее в тот самый миг, когда он ее дочитает. Сидел, простоволосый, и прядями играл ветер. Он

выглядел очень старым. Выглядел незащищенным. Выглядел, думал Джеймс, рассматривая его голову то на фоне маяка, то на фоне катящей, бескрайной сизой пустыни, — как древний камень, забытый в песках. Выглядел так, будто физически превратился в то, что оба они всегда носили в душе, — то одиночество, от которого, они знали оба, никуда ты не денешься.

Он очень быстро читал, будто хотел поскорей дочитать до конца. И действительно, они уж были совсем близко от маяка. Вот он — прямой и голый, ярко-черный и белый, и видно, как волны битым белым стеклом отскакивают от скал. Ясно видны на скалах трещины и прожилки; видны окна; вон белый мазок на одном; на скале зеленый пучок. Вышел человек, глянул на них в подзорную трубу, снова скрылся. Так вот он какой, думал Джеймс, — маяк, на который столько лет он смотрел через бухту; голая башня на дикой скале. Маяк ему нравился. Помогал, может быть, разобраться в себе. Старые дамы, Джеймс думал, дома, в саду таскаются по лужку со стульями. Старая миссис Бекуиз, например, вечно твердит, ах как все прелестно, как мило, как им повезло, как им надо гордиться, — а на самом-то деле, думал Джеймс, оглядывая маяк на дикой скале, — вот как оно обстоит. Он посмотрел на отца, который читал неистово, тесно сплетя ноги. Он-то знает. «Нас буря несет, нам суждено утонуть», — пробормотал он сам с собою, но вслух, в точности, как отец.

Уж целую вечность никто, кажется, слова не проронил. Кэм надоело смотреть на море. Мимо проплыла раскрошенная черная пробка; рыба на дне лодки уснула. А отец все читал, и Джеймс на него смотрел, и она на него смотрела, и они клялись насмерть стоять против тиранства, а он читает себе, ничуть не заботясь о том, что они думают. Его не уловишь, она думала. Большелобый и большеносый, уткнулся в свою пятнистую книжечку — и его не уловишь. Попробуй-ка его ухвати — он, как птица, расправит крылья, улетит от тебя и усядется в недоступной дали на сирый

пень. Она оглядывала водный бескрайний простор. Остров стал уже такой крохотный, что и на листик, пожалуй, не похож. Похож на верхушку скалы, которую вот-вот накроет волной. А ведь на этой хиленькой скудости остались те тропки, террасы, спальни — всякая всячина. Но, как всегда перед сном упрощается все, и из мириад подробностей только одна ухитряется на себе настоять, так и в сонных глазах Кэм меркли тропки, террасы и спальни, побледнели и стерлись, и только бледно-голубое кадило еще мерно качалось у нее в голове. Да это же сад висячий; и доли, и цветы, колокольчики, и птички, и антилопы... Она засыпала.

— Пора! — вдруг сказал мистер Рэмзи, захлопывая книгу.

Что — пора? Какому подвигу время? Кэм вздрогнула и проснулась. Где-то высаживаться? Куда-то взбираться? Куда он их поведет? После бескрайнего молчанья эти слова ошарашили их. Но — дудки! Он сказал, что проголодался. Пора приступить к ленчу. И к тому же, мол, посмотрите. Уже и маяк — отсюда рукой подать.

— Ишь малый, — сказал Макалистер в похвалу Джеймсу. — Ходко ведет. Слушается она его.

А отец вот в жизни его не похвалит, горько подумал Джеймс.

Мистер Рэмзи развернул пакет и распределил бутерброды. И был счастлив, уплетая хлеб и сыр вместе с этими рыбаками. Ему бы в лачуге жить, слоняться у причала, состязаться с другими стариками по плевкам в цель, думал Джеймс, глядя, как он нарезает свой сыр перочинным ножом на тонкие желтые ломтики.

Все правда, все правда, чувствовала Кэм, обколупывая крутое яйцо. Как тогда она чувствовала, там, в кабинете, где читали «Таймс» старые господа. Что хочу, то и думаю, и я не сверзнусь в пропасть, я не утону, потому что вот он — за мною присматривает.

И они так быстро неслись мимо скал, и это было так дивно: будто две вещи делаешь сразу —

спокойненько закусываешь на солнышке и спасаешься после кораблекрушения в бурю. Хватит ли нам пресной воды? Хватит ли продовольствия? — беспокоилась Кэм, сочиняя свою историю, и одновременно прекрасно помнила, что происходит.

Им-то недолго осталось, говорил мистер Рэмзи старому Макалистеру; а дети еще много кой-чего понасмотрятся. Макалистер сказал, что в марте ему стукнуло семьдесят пять; мистер Рэмзи разменял свой восьмой десяток. Макалистер сказал, что сроду у доктора не был; все зубы — свои. Вот такой жизни я б желал для своих детей. Кэм была уверена, отец это подумал, когда не дал ей бросать бутерброд в воду; наверное, он подумал про жизнь рыбаков, раз сказал ей, что, если не хочется есть, пусть положит еду обратно в пакет. Зачем же бросать? Он мудрец, все на свете он знает, и она сразу послушалась, а он подал ей из своего пакета имбирный пряник, вот как гранд бы испанский, она подумала, подал даме розу в окно (столь изысканным жестом). Но одет кое-как, и такой простой, ест хлеб с сыром; а ведь всех их ведет на великий подвиг, и всем им, кто знает, может быть, суждено утонуть...

— Вон где она на дно-то пошла, — вдруг сказал Макалистер-внук.

— На этом самом месте трое и потонуло, — сказал старый Макалистер. Он их своими глазами видел, в мачту так и вцепились. И мистер Рэмзи посмотрел на то место и, Кэм и Джеймс утрастились, был готов разразиться:

Но он не знал, в какой волне...

и если бы он разразился, они бы не вынесли; они бы завывали в голос; им были уже не под силу эти взрывы тоски; но, к их удивлению, он сказал только: «А-а», будто про себя подумал: стоит ли шум поднимать? Да, люди в бурю тонут, но это натуральное дело, и пучина морская (он тряс на них крошки с бумаги от своего бутерброда), в сущности, — только вода. Потом, раскурив трубку, он вынул часы. Внимательно изучал циферблат;

верно, делал математические вычисления. Наконец он сказал ликующим тоном:

— Превосходно! — Джеймс их вел, как прирожденный моряк.

Вот! — подумала Кэм, молча обращаясь к Джеймсу. Вот ты и дождался. Ведь она знала, что Джеймсу только того и надо было, знала, что он так теперь рад, что не будет смотреть на нее, на отца, ни на кого не будет смотреть. Сидит, как струнка, прямой, держит руку на румпеле и поглядывает в общем-то, хмуро; поглядывает, наморщив лоб. Так рад, что никому ни крупинцы своей радости не отдаст. Отец его похвалил. И пусть они думают, что ему это решительно безразлично. Вот ты и дождался, дождался, думала Кэм.

Они сменили галс и теперь на длинных раскачивающихся волнах, которые весело, пьяно их перебрасывали одна на другую, легко и быстро неслись вдоль рифа. Слева гряда скал буро сквозила в воде, а вода поредела и стала зеленой, и об одну скалу, повыше, билась непрестанно волна, взметалась водным столбом, опадала душем. Шлепалось, стучало, шептались и шикали волны, катили, скакали и кувыркались, как дикие твари, расшалившиеся на воле, неслись взапуски без конца

И вот уже видны двое на маяке, смотрят на них, готовятся их встречать

Мистер Рэмзи застегнул пиджак, подвернул брюки. Взял большой неаккуратный сверток, который собрала Нэнси, положил к себе на колени. И — в полной готовности к высадке — он сидел и глядел на остров. Может быть, дальноторскими своими глазами он различал исчезнувший листик, торчком стоявший на золотом блюде? И что он видит? — гадала Кэм. У нее все расплывалось в глазах. Что он думает? — гадала она. Что он так пристально, старательно, так молчаливо искал? Оба они смотрели, как, простоволосый, он сидел со свертком на коленях и глядел, глядел на что-то смутное, едва уловимое, как сизый, тающий дым от того, что сгорело дотла. Чего ты хочешь, — хотелось обоим спросить. Обоим хотелось сказать:

что угодно проси — мы дадим тебе. Но он у них ничего не просил. Сидел и глядел на остров и думал, наверное, — мы гибли, каждый одинок, или он думал — я достиг, я добрался, но он не говорил ничего.

Потом надел шляпу.

— Возьмите эти свертки, — сказал, кивнув на вещи, которые собрала для маяка Нэнси. — Свертки для смотрителей маяка, — он сказал. Он встал и вытянулся на носу лодки, очень прямой и высокий, ну в точности, думал Джеймс, будто он говорит: «Бога нет!», а Кэм думала — будто вот сейчас он выпрыгнет в мировое пространство, и оба они встали, чтоб последовать за ним, когда легко, как юноша, прижимая к груди сверток, он выпрыгнул на скалу.

13

— Он, пожалуй, добрался, — вслух сказала Лили Бриско и вдруг ощутила немислимую усталость. Потому что маяк стал едва различим, растворился в лазури, и вглядываться в него, и думать про того, кто на нем должен высадиться (одно и то же усилие, в сущности), было утомительно до безумия. Ах, зато на душе у нее полегчало. Чем бы там она ни собралась его одарить в ту минуту, когда он от нее отвернулся, теперь-то уж она его одарила.

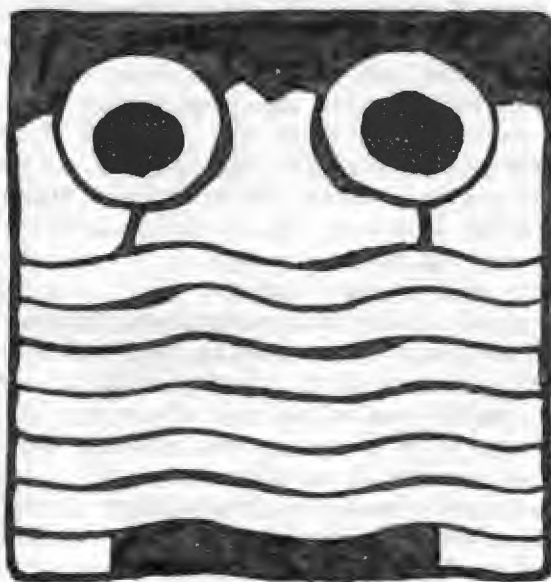
— Высадился, — сказала она вслух. — Дело сделано. — Потом, сопя и пыхтя, старый мистер Кармайкл встал и воздвигся с ней рядом, старый языческий бог, косматый, — водоросли в волосах, трирема в руке (французский томик всего лишь). Он стоял с нею рядом на краю лужка, колыхался могучей массой, заслонял ладонью глаза. Он сказал:

— Они, верно, уж высадились, — и Лили поняла, что оказалась права. Вовсе не обязательно им друг с другом беседовать. Ее мысли текут в лад с его мыслями, он ей отвечает, и никаких вопросов не нужно. Он стоял, принимая в объятия слабое, страждущее человечество; терпимо, сочувственно

озирал его конечную участь. И — завершающим жестом, подумалось, — медленно уронил руку, как если бы с высоты своего огромного роста уронил венок из фиалок и асфоделей, и, медленно покружив, он лег наконец на траву.

Тотчас, будто ее окликнули, она повернулась к холсту. Вот она — моя картина. Да, зеленое, синее, текучие, одна другую подсекающие линии — притязанье на что-то. На чердаке повесят; замажут. Ну и что из того? — вскинулась она и снова схватилась за кисть. Посмотрела на ступени: никого; посмотрела на холст; все в глазах расплывалось. И вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот, на секунду, впервые — увидела, — она провела по самому центру уверенную черту. Кончено; дело сделано. Да, подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможенье, — так мне все это явилось.

ГЛАШ



FLUSH

FLUSH
A Biography
1933





Глава первая НА ТРЕТЬЕЙ МИЛЕ

Всем известно, что род, к которому принадлежит герой нашего рассказа, — один из древнейших. Неудивительно поэтому, что и происхождение имени теряется в глубине веков. Много миллионов лет назад страна, ныне называемая Испанией, еще всходила на дрожжах творенья. Минули эпохи; появилась растительность; где есть растительность, по закону природы должны быть и кролики; где есть кролики, по воле Провидения должны появиться собаки. Тут все ясно и обсуждению не подлежит. Но стоит нам далее задаться вопросом, почему собаки, ловившие кроликов, были названы спаниелями, — и сразу возникают сомнения и трудности. Одни ученые утверждают, что, когда карфагеняне высадились в Испании, солдаты хором вскричали: «Спан, спан!» — ибо кролики прыскали из-под каждого куста. Страна кишела кроликами. И «спан» на карфагенском языке значит «кролик». И страну называли Испанией, то есть страной кроликов, а собак, которые не замедлили выскочить из кустов в погоне за кроликами, тотчас окрестили спаниелями, то есть кроличьими собаками.

Тут бы многие и успокоились; но в интересах истины мы вынуждены добавить, что существует другое направление в науке, отстаивающее совершенно иной взгляд на вещи. Слово «Испания», ут-

верждают ученые, принадлежащие к этому направлению, ничего общего не имеет с карфагенским словом «спан». Испания происходит от баскского слова *españa*, которое значит «граница», «край». А если так, то кроликов, кусты, собак, солдат – всю эту милую романтическую картину надо выкинуть из головы и просто признаться, что спаниели названы спаниелями потому, что Испания названа *España*. Относительно же третьей теории, согласно которой испанцы называют своих собак кривыми и скрюченными (слово *españa* допускает это толкование), подобно тому как возлюбленных называют обезьянами и образинами, намекая как раз на всем известные их совершенства, то столь поверхностное построение даже и не заслуживает сколько-нибудь серьезного разбора.

Минуя эти и еще многие теории, на которых не стоит здесь останавливаться, мы перейдем к Уэльсу в середине десятого века. Спаниель уже столетия назад ввезен сюда испанским семейством Эбхоров не то Айворов, как полагают многие, и, уже вне всяких сомнений, достиг высокого положения и чрезвычайно высоко ценился. «Королевский спаниель ценится в целый фунт», – записал Хауэлл Дха в своем своде законов. А если мы вспомним, сколько всяких вещей можно было купить за фунт в 948 году – сколько жен, рабов, коней, волов, индюшек и гусей, – мы убедимся, что спаниель тогда ценился чрезвычайно высоко. Он был приближен к королю. Его семейство достигло почестей куда раньше, чем семейства многих славных монархов. Он нежился во дворцах, куда Плантагенеты, Тюдоры и Стюарты брели за чужими плугами по чужим бороздам. Задолго до того, как Говарды, Кавендиши и Расселы поднялись над безликой массой Смитов, Джонсов и Томкинов, семейство спаниелей было уже выделено и отмечено. Шли века, и главный ствол разделился на отдельные ветви. Постепенно, по мере развития английской истории, возникает не менее семи славных семейств спаниелей – кламберские, суссекские, блэкфилдские, норфолкские,

ирландские, английские и кокер-спаниели; все они ведут свое начало от доисторического спаниеля, но обладают особыми качествами и, соответственно, претендуют на особые привилегии. О том, что к царствованию королевы Елизаветы уже выделась собачья аристократия, свидетельствует сэра Филип Сидни: «...борзые, спаниели и гончие, — сообщает он, — ...из коих первые представляются нам лордами, вторые благородными дворянами, третьи же йоменами среди собак», — пишет он в своей «Аркадии»¹.

Но если отсюда и проистекает вывод, что спаниели, по примеру людей, смотрят на борзых снизу вверх, а гончих полагают низшими существами, то мы вынуждены признать, что их аристократизм зиждется на куда более существенных основах. С этим согласится всякий, кто изучит законы Клуба Спаниелей. В них незыблемо определяется, каким должен и каким не должен быть спаниель. Светлые глаза, например, не поощряются; кудрявые уши — еще нежелательней; родиться же со светлым носом и с вихром на голове — просто бесчестье. Столь же ясно определяются и достоинства спаниелей. Голова должна быть круглой, с мягкой линией перехода от лба к носу, череп — развитой и вместительный, глаза большие, но не нависают; общее выражение должно свидетельствовать о чуткости и уме. Спаниель, наделенный этими качествами, всячески превозносится и увековечивается в потомстве; спаниеля же, способного насаждать одни вихры да светлые носы, лишают его наследственных привилегий. Так судьбы устанавливают закон и соответственно определяют награды и кары, которые обеспечат его соблюдение.

А теперь обратимся к человеческому обществу — и какой же мы обнаружим тут хаос, какую досадную неразбериху! Нет вообще никакого клуба, ведающего выведением человеческих особей.

¹ Филип Сидни (1554-1586) — английский писатель. Погиб в войне Англии с Испанией. «Аркадия» — пасторальный роман, опубликованный посмертно в 1590 г.

Геральдическая палата более других заведений приближается к Клубу Спаниелей. В ней хоть делаются попытки сохранить чистоту человеческой породы. Правда, покуда вы задаетесь вопросом, в чем же состоит истинное благородство — глаза у вас должны ли быть светлыми или темными, уши — кудрявыми или нет и позорен ли вихор, — судьи просто-напросто отсылают вас к вашему гербу. Предположим, герба у вас не имеется. Тогда вы никто. Но стоит вам обосновать притязания на шестнадцать четвертей гербового поля, обзавестись правом на корону пэров, и тотчас окажется, что вы не просто родились, но родились в благородной семье. И вот ни один пирожник в Мэйфере не обходится без лежащего льва либо вздыбленной русалки. Торговец льняным полотном и тот спешит вывесить герб у себя на дверях, чтобы мы могли спать на его простынях совершенно спокойно. Кто только не заявляет и не получает аристократических прав! Однако если мы обратимся к судьбе королевских домов — Бурбонов, Габсбургов и Гогенцоллернов, со всеми их коронами и полями, со всеми львами и леопардами, вздыбленными и лежащими, и найдем их ныне в изгнании, в безвластии и небреженье, нам останется лишь покачать головой и признать, что в Клубе Спаниелей судят куда точнее. Придя неизбежно к такому выводу, мы отвлечемся наконец от этих высоких материй и перейдем к ранней юности Флаша в лоне семейства Митфордов.

В конце восемнадцатого столетия отпрыски славного рода спаниелей жили близ Рединга, в доме некоего доктора Мидфорда, или Митфорда. Сей джентльмен, в полном согласии с канонами геральдической палаты, предпочел писать имя свое через букву «т», выводя, таким образом, свое происхождение от нортамбергского семейства Митфордов из Бертрамского Замка. Жена его была урожденная Рассел и приходилась отдаленно, зато неоспоримо, сродни герцогам Бедфордам. Меж тем предки самого доктора Митфорда, брачуясь, так постыдно небрегли всеми правилами, что никакой

бы судья ни за что не признал в нем породы и не дал бы ему разрешения размножаться. У него были светлые глаза; кудрявые уши; на голове торчал роковой вихор. Иначе говоря — он был бессовестный эгоист, неискренен, суетен, мот и вдобавок неисправимый картежник. Он промотал собственное состояние, состояние жены и дочерние заработки. Ласкаемый фортуной, он бросил обеих; сев на мель, сделался у них прихлебателем. Двумя достоинствами он обладал несомненно: был дивно хорош собой — истинный Аполлон, покуда пьянство и другие излишества не сделали из него Вакха, и — он очень любил собак. Однако, вне всяких сомнений, существуй на свете Клуб Людей наподобие Клуба Спаниелей, никакая буква «т» вместо «д» в фамилии Митфорд, никакие притязания на знатность не отвели бы от него бесчестья, позора, осуждения, его непременно изгнали бы из общества и заклеили как сукиного сына, который не вправе продолжать свой род. Но был он человек. И оттого ничто не препятствовало ему жениться на девушке благородного рожденья и воспитанья, дожить до восьмидесяти с лишним лет, владеть многими поколениями борзых и спаниелей и произвести на свет дочь.

Терпят неудачу все попытки установить точный год рождения Флаша, не говоря уже о месяце и числе; но, вероятно, он родился в первой половине 1842 года. Вероятно далее, что он происходил по прямой линии от Трэя (ок. 1816 г.), чьи качества, подтверждаемые, к сожалению, лишь зыбкими свидетельствами поэзии, позволяют считать его рыжим кокер-спаниелем высоких заслуг. Есть все основания полагать далее, что он сын того «настоящего старого кокера», ради которого доктор Митфорд расстался с двадцатью гинеями, ибо он был «уж очень славный охотник». Сколько-нибудь полное описание самого Флаша в юности мы находим, увы, только в той же поэзии. Шерсть его была того особенного темного тона, который на солнце весь «во вспышках золота». Глаза у него были «карие и взор ошеломленный». Уши «укра-

шены кистями», «стройные ноги» «все в пушистой бахrome», и у него был пышный хвост. С некоторой поправкой на жертвы, приносимые ради рифмы, и поэтическую невнятицу, эта аттестация не могла бы не вызвать одобрения в Клубе Спаниелей. У нас нет сомнения, что Флаш был чистокровный рыжий кокер, обладавший всеми совершенствами, присущими его породе.

Первые месяцы жизни Флаша протекли на Третьей Миле, в бедном домике подле Рединга. А поскольку дела у Митфордов шли скверно — Керренхэппок была единственной служанкой; мисс Митфорд своими руками обивала кресла, и притом самой плохонькой тканью; главным предметом обстановки был, кажется, большой стол; главным помещением большая теплица, — то и Флаш едва ли мог наслаждаться той роскошью (теплая конура, асфальтовые дорожки, мальчик или девочка в собственном распоряжении), на какую ныне вправе притязать пес его ранга. Он, однако, благоденствовал, со всей живостью своей природы он предавался большинству удовольствий и некоторым вольностям, естественным для его пола и возраста. Мисс Митфорд, правда, подолгу сидела дома. Ей приходилось часами читать отцу вслух, потом играть в карты, потом, когда он наконец погружался в дремоту, — писать, писать и писать в теплице за столиком, в надежде оплатить счета и свести концы с концами. Но вот настал долгожданный миг. Она отодвигала бумаги, нахлобучивала шляпу, брала в руку зонтик и отправлялась в поля с собаками. Спаниели и вообще-то чутки; Флаш, как доказывает его биография, был даже особенно чуток к человеческим переживаниям. Видя, как любимая хозяйка наконец жадно глотает ветерок, который треплет ей белые волосы и румянит и без того румяные щеки, а морщины на высоком лбу меж тем расправляются сами собой, он пускался по полю джкими прыжками, неистовство которых отчасти объяснялось ее удовольствием. Она пробиралась по высокой траве, а он носился кругами, шумно вспарывая зеленый занавес. Про-

хладные шарики дождя и росы разлетались фонтанами вокруг его носа; земля, то твердая, то нежная, то жаркая, то прохладная, колола, царапала и щекотала нежные лапы. А какие запахи в сложнейшем хитросплетенье ударяли ему в ноздри; крепкий дух земли; сладкий дух цветов; дурманящий дух листвы и кустарника; прелый дух, когда переходили через дорогу; едкий дух, когда вступали на бобовое поле. Но вдруг ветер нес душераздирающий запах — крепче, сильнее, мучительней всех других, — запах, врывающийся в его сознание и будивший тысячи забытых инстинктов, миллионы воспоминаний, — запах зайца, запах лисицы. И Флаш мчался, как рыба, подхваченная потоком, — дальше, дальше. Он забывал свою хозяйку; он забывал весь род человеческий. Он слышал крики темнолицых горцев: «Спан! Спан!» Он слышал свист хлыста. Он несся, он мчался. Наконец растерянный, он останавливался; чары развеивались; очень медленно, кротко виляя хвостом, он трусил полями к тому месту, где стояла мисс Митфорд, кричала: «Флаш! Флаш!» — и размахивала зонтиком. Но однажды по крайней мере он услышал зов еще более властный; охотничий рог разбудил еще более глубокие инстинкты, всколыхнул еще более сильные чувства, так что все воспоминания, и трава, и деревья, и кролики, и лисицы, и зайцы — все слилось и забылось в диком вопле восторга. Свой факел зажгла любовь; он услышал охотничий рог Венеры. Еще почти щенок, Флаш стал отцом.

Такой поступок даже и со стороны мужчины в 1842 году нуждался бы в оправданиях биографа; женщине же вообще не было бы оправданий; имя ее с позором вымарали бы со страницы. Но собачий моральный кодекс — хуже ли он, лучше ли — отличен от нашего, и в поведении Флаша, соответственно, ничего не было такого, что нуждалось бы в утайке теперь или сделало бы его недостойным общества самых чистых и целомудренных в те времена. А именно, есть свидетельство, что старший брат доктора Пьюзи намеревался его купить. И — судя о неизвестном характере этого

старшего брата по хорошо известному характеру доктора Пьюзи — были, значит, во Флаше серьезность и основательность, обещавшие в будущем многое, невзирая на его юную ветреность. Но еще красноречивей свидетельствует о его привлекательности то обстоятельство, что, несмотря на намерение мистера Пьюзи купить Флаша, мисс Митфорд отказалась его продать. Она ломала голову, как бы раздобыть денег, не знала, какую бы еще сочинить ей историческую трагедию, какой ежегодник издать, и прибегала к ненавистному выходу, прося помощи у друзей, так что, разумеется, ей нелегко было отвергнуть сумму, предлагаемую мистером Пьюзи. Двадцать фунтов были выложены за отца Флаша. Мисс Митфорд вполне могла бы попросить за Флаша десять или пятнадцать. Десять или пятнадцать фунтов были царственной суммой, суммой, которая дивно выручила бы ее. Имея десять или пятнадцать фунтов, она могла бы заново обить кресла, могла бы привести в порядок теплицу, она могла обновить весь свой гардероб, а ведь «...я не покупала ни шляпы, ни пальто, ни платья и с трудом могла себе позволить пару перчаток, — писала она в 1842 году, — в течение четырех лет».

Но продать Флаша было нельзя, немислимо. Он был из редкого класса вещей, несовместных с деньгами. Кто знает, он был, возможно, даже из еще более редкого рода вещей, которые, воплощая все высокое и бесценное, могут стать прекрасным знаком бескорыстной дружбы; и почему бы не подарить его тогда подруге, если уж тебе привелось ее иметь, и не просто подруге, а чуть не дочери; подруге, все лето проводящей в четырех стенах на Уимпол-стрит; и не кому-нибудь, а первой поэтессе Англии, блистательной, обожаемой, обреченной, самой Элизабет Барретт? Такие мысли все чаще приходили в голову мисс Митфорд, пока она смотрела, как Флаш носится и валяется по траве, пока она сидела у постели мисс Барретт в затененной плющом темной лондонской спальне. Да, Флаш был достоин мисс Барретт. Мисс Барретт была достойна

Флаша. Жертва великая. Но ее следовало принести. И вот однажды, вероятно в начале лета 1842 года, на Уимпол-стрит можно было наблюдать странную пару: очень низенькая, плотная, бедно одетая пожилая дама с ярким румянцем и яркой сединой вела на поводке очень резвого, очень любопытного, очень породистого и юного золотистого коккер-спаниеля. Они проследовали почти до самого конца улицы и перед пятидесятым номером они остановились. Не без трепета мисс Митфорд дернула дверной колокольчик.

И сейчас еще, конечно, никто никогда не дернет без трепета дверной колокольчик на Уимпол-стрит. Из лондонских улиц она самая величавая, самая невозмутимая. Право, едва вам покажется, будто мир вот-вот рухнет и, чего доброго, пошатнется цивилизация, скорее идите на Уимпол-стрит; прогуляйтесь по этой улице; взгляните в эти дома; подумайте об их неразличимости; насладитесь неколебимостью гардин; полюбуйтесь нерушимым, медноблестящим порядком дверных колец; вникните в то, как мясники предлагают, а повара выбирают разделанные куски мяса; прикиньте доходы жителей и, соответственно, их подвластность законам божеским и человеческим — всего-то и надо вам тогда пойти на Уимпол-стрит, полной грудью вдохнуть разлитого там державного покоя, и тотчас вы испустите глубокий вздох облегчения, что Коринф вот погиб и рухнула Мессина, миновали царства и рассыпались древние империи, а Уимпол-стрит стоит на месте, и, сворачивая с Уимпол-стрит на Оксфорд-стрит, вы уже молитесь горячо и чуть не вслух, чтобы ни единый кирпичик не подшлифовали заново на Уимпол-стрит, чтобы ни единую гардину не выстирали и ни один мясник чтоб не забыл предложить, а повар выбрать оковалок, грудинку, филей, будь то говяжий или бараний, ныне и присно и во веки веков, ибо, покуда стоит Уимпол-стрит, цивилизации ничто не угрожает.

Дворецкие на Уимпол-стрит и сейчас степенны; летом же 1842 года они двигались еще неспешней.

Честь мундира еще строже соблюдалась; серебро чистили в фартуке зеленого сукна; дверь вам отворяли в полосатом жилете и черном фраке — не иначе. Возможно, мисс Митфорд и Флаша протомили на пороге даже и три с половиной минуты. Наконец, однако, дверь пятидесятого номера распахнулась; мисс Митфорд и Флаша пригласили войти. Мисс Митфорд была тут частой гостьей. Семейный очаг Барреттов разве что несколько подавлял, но уже ничем не мог ее удивить. Зато Флаш, конечно, совершенно изумился. До сих пор он не заходил ни к кому, кроме работника на Третьей Миле. У того в доме были голые доски, рваные половики, дешевые стулья. Здесь же ничего не было голого, ничего рваного, ничего дешевого — это Флаш заметил с первого взгляда. Мистер Барретт, хозяин, был богатый негоциант; у него была большая семья, взрослые сыновья и дочери, и, соответственно, большой штат прислуги. Дом свой он обставил по моде конца тридцатых годов, чуть-чуть сдобрив восточным вкусом, которым он руководился, когда особняк свой в Шропшире украсил мавританскими башенками и минаретами. Здесь, на Уимпол-стрит, такие вольности не допускались; зато уж, надо полагать, в высоких темных комнатах царили оттоманки и резное черное дерево; столы на витых ножках; и уставленные притом филигранью; на темно-вишневых стенах висели мечи и кинжалы; всякие редкости, вывезенные мистером Барреттом из Вест-Индии, толпились в нишах, и пушистые ковры устилали повсюду пол.

Флаш, однако, трусая за мисс Митфорд, которая шла за дворецким, дивился не столько тому, что он видел, сколько тому, что он чуял. Над лестницей порхали ароматы тушеного мяса, жареной дичи и кипящих супов, чуть ли не более самой еды обворожительные для того, кто привык к весьма скромным запахам скудного рагу и гуляша в исполнении Керренхэпкок. К запахам еды примешивались еще запахи — запах черного дерева, и сандала, и красного дерева; запах мужских тел и

женских; слуг и служанок; сюртуков и брюк; ман- тилек и кринолинов; гобеленовых занавесей; плю- шевых занавесей; угольной пыли и дыма; вина и сигар. Каждая комната, когда он проходил мимо, — столовая, гостиная, библиотека, спальня — чего-то добавляла к букету; а тем временем томный ворс ковров жадно ласкал и нежно удерживал его лапы. Наконец они очутились перед закрытой дверью в глубине дома. И на тихий стук тихо отворилась дверь.

Спальню мисс Барретт — ибо она это и была — держали всегда в темноте. Свет, обычно приглу- шенный занавесом из зеленой камки, летом еще более затенялся плющом, многоцветной фасолью, вьюнками и настурциями, которые росли на окне. Сперва Флаш не различил в бледно-зеленом сум- раке ничего, кроме пяти загадочных и мерцающих, словно парящих шаров. Но здесь его снова оше- ломил запах. Лишь ученый, который ступень за ступенью спускался по мавзолею и вдруг очутился в склепе, поросшем мхом, склизком от плесени, пропитанном кисловатым духом веков и тлена, и вот ничего не различает в тусклом свете своей лампы, кроме тающих, словно парящих, мраморных бюстов, и гнется и тянет шею, чтоб получше их разглядеть, — лишь такой ученый под сводами склепа в разрушенном городе мог бы понять всю силу чувств, охвативших Флаша, когда он впервые очутился в спальне больной и вдохнул запах оде- колона.

Очень медленно, очень смутно, с помощью носа и лап, Флаш выделял очертания предметов, запол- нивших комнату. Это огромное, возле окна, был, надо думать, шкаф. Рядом стоял, очевидно, комод. Посредине, на гладь пола, всплыл, кажется, стол, обведенный каким-то кругом, а потом вырисова- лись еще неясные образы кресла и тоже стола. Но вещи здесь не были просто собою. Все подо что-то маскировалось. Шкаф захватили три белых бюста; комод оседлала книжная полка; полка была обита малиновым мериносом; умывальник венчался по- лочками; полочки венчались еще двумя бюстами.

Ничто в этой комнате не желало быть только собою. Все принимало личины. Даже оконные шторы не были попросту шторами. Были они из чего-то такого раскрашенного, и на них были замки, и ворота, и рощи, и крестьяне прогуливались по ним. Зеркала вносили еще большую путаницу, и получалось, что здесь не пять бюстов пяти поэтов, а уже их взялось откуда-то десять, и столов здесь было не два, а четыре. Но вдруг Флаш столкнулся с вовсе уж поразительной несуразностью. Из дыры в стене на него, дрожа языком, блестя глазами, смотрел – другой пес! Изумленный, он остановился. Он приблизился с трепетом.

Так приближаясь, так прядая назад, Флаш едва слышал шелест и плеск разговора, будто гул ветра в дальних вершинах дубов. Он продолжал свои разыскания осторожно, сдерживаясь, как осторожно ступает путник по дремучему лесу, не зная, не лев ли – эта тень перед ним и не кобра ли – этот корень? Но вот он заметил, что над ним двигают что-то огромное, и у него наконец сдали нервы, и, дрожа, он забился за ширму. Голоса смолкли. Дверь захлопнулась. На секунду он замер – опустошенный, разбитый. И вдруг – будто острые тигриные когти впились в него – и сразу он вспомнил. Он понял, что он один – он брошен. Он метнулся к двери. Дверь была закрыта. Он скребся, он вслушивался. Он слышал, как по лестнице спускается кто-то. Он узнал шаги своей хозяйки. Вот она остановилась. Но нет, пошла – вниз, вниз. Мисс Митфорд очень медленно, очень тяжело, очень трудно спускалась по лестнице. Он слышал, как замирают ее шаги, и его охватил ужас. Одна за другою хлопали двери, пока мисс Митфорд спускалась по лестнице, навсегда отделяя его от воли; полей; от зайцев; травы; от любимой, обожаемой хозяйки – милой старой женщины, которая мыла его, и наказывала, и кормила его со своей тарелки, хотя ей и самой не всегда удавалось сытно поесть, – от всего, что узнал он о счастье, любви, о доброте человеческой! Вот! Хлопнула

дверь парадного. Он остался один. Она его бросила.

И такое отчаяние его охватило, такая нашла на него тоска, так поразила его безжалостность и неотвратимость рока, что он поднял голову и громко завыл. Голос позвал: «Флаш!» Он не услышал. «Флаш!» — повторил голос. Он вздрогнул. Он-то думал, что он здесь один. Он повернулся. Значит, в комнате есть еще кто-то? Что это там, на кушетке? В безумной надежде, что существо это, кем бы оно ни было, откроет ему дверь и он кинется следом за мисс Митфорд и найдет ее, что это просто игра в прятки, как, бывало, дома, в теплице, — Флаш метнулся к кушетке.

— Ох, Флаш! — сказала мисс Барретт. Впервые она посмотрела ему в глаза. Впервые Флаш увидел леди, лежавшую на кушетке.

Оба удивились. Тяжелые локоны обрамляли лицо мисс Барретт; большие яркие глаза сияли на этом лице; улыбался большой рот. Тяжелые уши обрамляли физиономию Флаша; глаза у него тоже были большие и яркие; и рот был большой. Они были очень похожи. Глядя друг на друга, оба подумали: «Да это же я!» И сразу потом: «Но какая, однако же, разница!» У нее было истомленное, больное лицо, бледное от недостатка света, воли и воздуха. У него — бодрая, цветущая мордочка юного, резвого, веселого зверя. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме — не дополняли ли они тайно друг друга? И в ней заложено — это все? А он — ? Но нет. Их разделяла самая глубокая пропасть, какая только мыслима между двумя существами. Она была говорящая. Он — нем. Она была женщина. Он — пес. Так, нерасторжимо связанные и бесконечно отъединенные, смотрели они друг на друга. Потом один прыжок — и Флаш очутился на кушетке и улегся там, где ему отныне предстояло лежать, — на коврике у ног мисс Барретт.

Глава вторая

В СПАЛЬНЕ

Лето 1842 года, говорят нам историки, не запомнилось ничем необычным, но для Флаша оно оказалось до того необычайным, что впору было испугаться, не перевернулся ли мир. Это было лето, проведенное в спальне; лето с мисс Барретт. Лето в Лондоне; в центре цивилизации. Сперва он не видел ничего, кроме спальни и мебели в спальне, но все равно голова у него шла кругом. Опознать, различить и назвать по именам все непонятные предметы, которые он видел, само по себе было ужасно трудно. И он еще не успел освоиться со столом, и с бюстами, и с умывальником, и запах одеколона еще надрывал ему ноздри, когда настал один из тех редкостных дней — ясный, но не ветренный, теплый, но не знойный, сухой, но не пыльный, — когда и больной можно подышать воздухом. День, когда мисс Барретт вполне могла решиться на смелое приключение — отправиться за покупками со своей сестрой.

Вызвали карету; мисс Барретт встала с кушетки; укутанная и обмотанная, она спустилась по лестнице. Флаш, разумеется, отправился вместе с ней. Он прыгнул следом за нею в карету. Он лежал у нее на коленях, и пышный Лондон во всем великолепии представлял его изумленному взору. Они ехали по Оксфорд-стрит. Он видел дома, состоящие почти целиком из стекла. Видел витрины, разукрашенные сверканьем вымпелов; ломящиеся от розового, лилового, красного, желтого блеска. Карета остановилась. Он ступил под таинственные своды, в колышущееся цветное море кисеи. До самых глубин его пронизали несчетные смутные ароматы Аравии и Китая. Ярko вспыхивали над прилавком нежные ярды порхающего шелка; темней, неспешней — тяжелый разворачивался бомбазин. Прощелкали ножницы; блеснули монеты; прошелестела бумага; закрепилась бечевка. И от качанья перьев, от реющих вымпелов, танцующих лошадей, желтых ливрей, проплывающих мимо лиц

Флаш так утомился, что рухнул, и уснул, и видел сны, и опомнился только тогда, когда его подняли с сиденья кареты и дверь на Уимпол-стрит снова затворилась за ним.

Но назавтра держалась ясная погода, и мисс Барретт отважилась на еще более дерзкое предприятие — она отправилась гулять в инвалидном кресле по Уимпол-стрит. И снова Флаш ее сопровождал. Впервые услышал он, как цокают его когти по звонким лондонским плитам. Впервые все запахи жаркого лондонского лета залпом ударили ему в ноздри. Он вдыхал обморочные запахи, прячущиеся в сточных желобах; горькие запахи, гложущие железные ограды; буйные, неумные запахи, поднимающиеся из подвалов, — запахи, куда более изощренные, нечистые и коварные, чем те, которые он вдыхал в полях под Редингом; запахи совершенно недоступные для человеческого нюха; и в то время как кресло спокойно катилось дальше, он останавливался оторопев; и внюхивался, и наслаждался, пока его не оттаскивали за поводок. Вдобавок, труся по Уимпол-стрит за креслом мисс Барретт, он совершенно растерялся от мелькания прохожих. Морду ему оведали юбками; задевали брюками по бокам; иной раз колесо мелькало всего в каком-нибудь дюйме от его носа; воющим ветром погибели дохнуло ему в уши и вздыбило очесы на лапах, когда мимо прогрохал фургон. И он рванулся с поводка. Слава Богу, ошейник впился ему в шею; мисс Барретт крепко его держала, не то он бросился бы навстречу погибели.

Наконец, обмирая от нетерпения и восторга, он очутился в Риджентс-парке. И вот когда он снова, будто после долгих лет разлуки, увидел траву, и деревья, и цветы, древний охотничий зов полей отозвался у него в ушах, и он понесся вперед, как он носился в родных полях. И снова ошейник впился ему в горло, его оттянули назад. Но разве это не трава, не деревья? — спрашивал он. Разве это не знаки свободы? Он же всегда опрометью несся вперед, как только мисс Митфорд выходила

гулять, ведь правда? Почему же здесь он невольник? Он замер. Здесь, он заметил, цветы стояли гораздо теснее, чем дома; они жались друг к другу на тесных деланках. Делянки пересекались твердыми черными тропками. Люди в блестящих цилиндрах грозно вышагивали по тропкам. Завидя их, он теснее прижался к креслу. И уже после нескольких таких прогулок он постиг очень важную истину. Сопоставляя одно с другим, он пришел к умозаключению. Там, где есть клумбы, есть и асфальтовые тропки; где есть клумбы и асфальтовые тропки, есть люди в блестящих цилиндрах; там, где есть клумбы, и асфальтовые тропки, и люди в блестящих цилиндрах, собаки должны ходить только на цепи. Не умея прочесть ни единого слова на табличке у входа, он тем не менее понял — в Риджентс-парке собаки должны ходить только на цепи.

И к этим зачаткам познаний, почерпнутым из странного опыта летом 1842 года, скоро прибавилось еще кое-что: собаки, оказывается, не равны, они неравноправны. На Третьей Миле Флаш без зазрения совести общался с дворнягой из кабака и с помещичьими борзыми; он не делал различия между собой и собачонкой лудильщика. Возможно даже, мать его щенка, без родословной произведенная в спаниельство, была всего лишь дворняга, ибо уши у нее никак не отвечали хвосту. Но лондонские собаки, скоро понял Флаш, были строго разделены на классы. Одни ходили на поводках; другие рыскали сами по себе. Одни прогуливались в каретах и пили из красных мисочек; другие, помятые, без ошейников, добывали себе пропитание в сточных канавах. Стало быть, начал прозревать Флаш, собаки неравны; одни высокого происхождения, другие низкого; и догадки его подтверждались, когда, проходя по Уимпол-стрит, он слышал обрывки собачьих бесед: «Видал субчика? Ну дворняга!.. Что ты, благороднейший спаниель. Голубая кровь!.. Этому уши бы еще чуть покудрявей!.. Поздравляю — вихор!»

Из этих фраз и по интонации хвалы или хулы, с которой они произносились у почты или у кабака, где лакеи совещались о ставках на дерби, Флаш еще до наступления осени понял, что между собаками нет равенства, что есть собаки низкого и есть собаки высокого происхождения. Но кто же тогда он сам? И не успел Флаш вернуться домой, он тотчас, приосанясь, стал придирчиво изучать себя в зеркале. Слава благим небесам, он чистокровный породистый пес! Голова у него гладкая; глаза круглые, но не навывкате; у него очесы на лапах; он ни в чем не уступит самому благородному кокеру на всей Уимпол-стрит. Вдобавок он пьет из красной мисочки. Да, таковы привилегии знатности. Он затихает покорно, когда на ошейнике укрепляют карабин поводка, — таково ее бремя. Как-то мисс Барретт, увидев его перед зеркалом, ошиблась на его счет. Он философ, решила она, размышляет о несоответствии между сущим и видимым. Совершенно напротив, он был аристократ, оценивающий собственные достоинства.

Но скоро кончились теплые летние дни; задули осенние ветры; мисс Барретт уже не выходила из затворничества своей спальни. Жизнь Флаша тоже переменилась. Воспитание на свежем воздухе сменилось воспитанием в четырех стенах, а это для пса с темпераментом Флаша было ужасно мучительно. Жалкие выходы его, краткие и лишь по неотложной надобности, совершались отныне в обществе Уилсон, горничной мисс Барретт. Остальное время он проводил на кушетке у ног мисс Барретт. Все словно сговорилось против его природы и склонностей. В прошлом году, когда задули осенние ветры, он как сумасшедший носился по жнивью; теперь, когда плющ стучал по стеклам, мисс Барретт просила Уилсон проверить, хорошо ли заперты окна. Желтели и осыпались в оконных ящиках листья настурций и многоцветной фасоли, и мисс Барретт плотнее куталась в индийскую шаль. Октябрьский дождь стучал по стеклам, и Уилсон разводила огонь в камине и подсыпала туда угля. Потом осень перешла в зиму, и в воздухе

разлилась желчь первых туманов. Уилсон и Флаш с трудом пробирались к почтовой тумбе и к аптеке. Когда они возвращались, в комнате ничего уже было не различить, только бюсты бледно мерцали над шкафом; крестьяне и замки исчезали со шторок; в окнах стояла желтая пустота. Флашу казалось, что он и мисс Барретт живут в одинокой пещере среди подушек и греются у костра. За окном непрерывно жужжала и глухо урчала улица. Порою голос хрипло взывал: «Чиню старые стулья, корзины!», а то раздавались взвизги шарманки, приближаясь, делались громче и, удаляясь, стихали. Но ни один из этих звуков не звал к свободе, движению, деятельности. Ветер и дождь, ненастные дни осени и холодные зимние дни — все они значили для Флаша одно: тишь и тепло; зажигались лампы, задерживались занавески, и кочерга ворошила угли в камине.

Сначала ему было невольно. Он не сдержался и стал носиться по комнате как-то ветреным осенним днем, когда по жнивью, конечно, рассыпались куропатки. В ветре чудились ему звуки выстрелов. Он бросался к двери со вздыбленной холкой, когда на улице кто-то лаял. Но мисс Барретт окликнула его и клала руку ему на ошейник, и тогда совсем новое чувство — он не мог отрицать, — неодолимое, странное, неловкое (он не знал, как назвать его и почему он ему подчинился), удерживало его. Он тихо ложился у ее ног. Смиряться, превозмогать себя, преодолевать самые пылкие свои порывы — таков был главный урок, затверженный им в спальне, урок такой неимоверной трудности, что иным филологам куда легче выучить греческий, а иным генералам и половины усилий не стоит выиграть битву. Но ведь ему-то преподавала мисс Барретт. Меж ними, чувствовал Флаш, от недели к неделе крепла связь, обременительная, блаженная близость; и если его радость причиняла ей боль, то уже радость была ему не в радость, а была на три четверти болью. Эта истина день ото дня получала новые подтверждения. Вот кто-нибудь открывал дверь и свистал Флаша. Почему бы

не выйти? Он мечтал о прогулке; лапы у него затекали от лежания на кушетке. Он так и не примирился с запахом одеколона. Но нет — хоть дверь стояла открытая, он не мог бросить мисс Барретт. Он шел к двери, на полпути медлил и возвращался. «Флаш, — писала мисс Барретт, — мой друг, мой преданный друг. Я для него важнее, чем свет в окошке». Она не могла выходить на улицу. Она была прикована к кушетке. «Птичка в клетке, — писала она, — вполне бы меня поняла». А Флаш, когда открывался вольный мир, жертвовал всеми запахами Уимпол-стрит, чтоб только лежать у ее ног.

Однако порою связь чуть не порывалась; вдруг им не хватало взаимопонимания. Тогда они лежали и смотрели друг на друга, совершенно недоумевая. Почему, удивлялась мисс Барретт, Флаш ни с того ни с сего вздрагивает, и скулит, и прислушивается? Она ничего не слышала; она ничего не видела; в комнате, кроме них, не было никого. Ей было невдомек, что Фолли, болоночка ее сестры, прошла за дверь; что лакей в первом этаже кормит Катилину, кубинскую ищейку, бараньей костью. А Флаш это знал; он все слышал; его раздирали попеременно то вожделение, то алчность. И со всем своим поэтическим воображением мисс Барретт не могла угадать, что значил для Флаша мокрый зонтик Уилсон; какие он будил в нем воспоминания о лесах, попугаях, о трубных кличах слонов; и того не поняла она, когда мистер Кеньон зацепился за шнур колокольчика, что Флаш услышал проклятья темнолицых горцев; что крик «Спан! Спан!» отдался у него в ушах, и глухая наследственная ненависть заставила его укусить мистера Кеньона.

Точно так же Флаша порою ставило в тупик поведение мисс Барретт. Она часами лежала и водила по белому листу бумаги черной палочкой, и вот глаза ее вдруг наполнялись слезами; но отчего? «Ах, милый мистер Хорн, — писала она, — здоровье мое пошатнулось... а потом эта ссылка в Торкви... превратившая жизнь мою навеки в

ночной кошмар и лишившая меня того, о чем и рассказать нельзя; никому не говорите об этом. Не говорите об этом, милый мистер Хорн». Но в комнате не было ни звуков, ни запахов, которые могли бы вызвать слезы мисс Барретт. А то, водя этой палочкой по бумаге, мисс Барретт вдруг разразилась смехом. Она нарисовала «очень точный и выразительный портрет Флаша, который забавно воспроизводит мои черты, и если, — написала она далее, уже под портретом, — он не может вполне сойти за мой собственный, то лишь потому, что я не вправе притязать на эти совершенства». Ну и что смешного было в черной кляксе, которую она совала под нос Флашу? Он ничего не учуял; ничего не услышал. В комнате, кроме них, не было никого. Да, они не могли объясняться с помощью слов, и это, бесспорно, вело к недоразумениям. Но не вело ли это и к особенной близости? «Писание, — как-то воскликнула мисс Барретт после утренних трудов, — писание, писание...» «В конце концов, — Наверно, подумала она, — все ли выражают слова? Да и что слова могут выразить? Не разрушают ли слова неназываемый, им неподвластный образ?» Однажды, по крайней мере, мисс Барретт, уж верно, пришла к этому умозаключению. Она лежала, думала; она совершенно забыла про Флаша, и мысли ее были так печальны, что слезы катились из глаз и капали на подушку. И вдруг косматая голова к ней прижалась; большие сияющие глаза отразились в ее глазах; и она вздрогнула. Флаш это — или Пан? А сама она, бедная затворница Уимпол-стрит, не стала ли вдруг греческой нимфой в темном гроте Аркадии? И не прижался ли сам бородатый бог устами к ее устам? На миг она преобразилась; она была нимфа, и Флаш был — Пан. Горело солнце, пылала любовь. Но, положим, Флаш вдруг обрел бы дар речи, разве сумел бы он сказать что-нибудь умное о картофельной болезни в Ирландии?

Флаша тоже волновали странные порывы. Он смотрел, как тонкие руки мисс Барретт нежно поднимают шкатулку либо ожерелье со столика,

и мохнатые его лапы словно сжимались, он мечтал о том, чтоб они тоже оканчивались десятью отдельными пальцами. Он вслушивался в ее низкий голос, скандирующий бессчетные слоги, и он мечтал о том дне, когда собственный его грубый рев вдруг обратится в ясные звуки, полные тайных значений. А когда он следил, как эти самые ее пальцы вечно водят прямой палочкой по белой странице, он мечтал о том времени, когда он тоже научится не хуже ее марать бумагу.

Да, но сумел ли бы он писать так, как она?

К счастью, вопрос совершенно праздный, ибо в интересах истины мы вынуждены признаться, что в 1842-1843 годах мисс Барретт была никакой не нимфой, но бедной больной; Флаш не был поэтом, а был рыжим кокер-спаниелем; Уимпол-стрит была не Аркадией, а была Уимпол-стрит.

Так текли долгие часы в спальне, не отмеренные ничем; только звуком шагов на лестнице; и дальним звуком захлопнутой двери парадного; и звуком метущей швабры; да еще стуком почтальона. В комнате потрескивали угли; свет и тень напоздали по очереди на лбы пяти бледных поэтов, на полку, на малиновый меринос. Но случалось, шаги не проходили мимо по лестнице; они затихали под дверью. Видно было, как поворачивается ручка; и правда, дверь открывалась; кто-нибудь входил. И как удивительно сразу менялась комната! Какие взметались вихри немислимых звуков и запахов. Как омывали они ножки стола и ударялись об острые углы шкафа! Это могла оказаться Уилсон с едой на подносе или с лекарством в пузырьке; или одна из сестер мисс Барретт — Арабелл или Генриетта; мог это оказаться и один из семи ее братьев — Чарльз, Сэмюел, Джордж, Генри, Альфред, Септимус или Октавиус. Но два или три раза в неделю Флаш чувствовал, что готовится нечто важное. Постели тщательно придавали вид кушетки. К ней придвигали кресло; мисс Барретт живописно куталась в индийскую шаль; гребенки и пилочки бережно укрывали за бюстами Чосера и Гомера; самого Флаша аккуратно расчесывали. Ча-

са в два или три пополудни раздавался иной, особенный, четкий стук в дверь. Мисс Барретт краснела, улыбалась, простирала руку. И входили — иногда милая мисс Митфорд, румяная, сияющая, разговорчивая — и с пучком герани. Или это оказывался мистер Кеньон, плотный, вальяжный пожилой господин, излучающий благожелательство и вооруженный книжкой. Иногда это была миссис Джеймсон, дама, внешне являвшая полную противоположность мистеру Кеньону, — дама «с очень бледным цветом лица — у нее бледные, прозрачные глаза; тонкие бесцветные губы... а нос и подбородок сильно выдаются вперед, но ширины зато не имеют». И у каждого была своя манера, запах, тон, голос. Мисс Митфорд болтала без умолку и — всегда впопыхах — засиживалась дольше всех; мистер Кеньон был учтив, изыскан и слегка шепелявил по причине отсутствия двух передних зубов; у миссис Джеймсон зубы все были целы, а движение четки и рублены, как ее фразы.

Свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, Флаш слышал, как журчат над ним голоса. Шел час за часом. Мисс Барретт смеялась, спорила, удивлялась, вздыхала и снова смеялась. Наконец, к великому облегчению Флаша, начинали перепадать паузы — даже в словесном потоке мисс Митфорд. Неужто семь уже? Она ведь тут с двух! Надо бежать, не то она опоздает на поезд. Мистер Кеньон захопывал книгу — он читал ее вслух — и становился спиной к камину; миссис Джеймсон решительно, четко вправляла палец за пальцем в перчатку. И кто похлопывал Флаша по холке, кто трепал ему ухо. Прощание нестерпимо затягивалось, но в конце концов миссис Джеймсон, мистер Кеньон и даже мисс Митфорд вставали, откланивались, что-то вспоминали, что-то теряли, что-то обнаруживали, достигали двери, отворяли ее и — хвала небесам — наконец уходили.

Мисс Барретт, очень бледная, очень усталая, откидывалась на подушки. Флаш подползал к ней поближе. Слава Богу, они снова были одни. Но гость проторчал так долго, что уже настало время

обеда. Снизу неслись запахи. В дверях появлялась Уилсон, неся на подносе обед для мисс Барретт. Поднос водружался на столик рядом с мисс Барретт, вспархивали салфеточки. Но от всех этих разговоров, приготовлений, от духоты в комнате и прощальных возгласов мисс Барретт так уставала, что не могла есть. Со вздохом оглядывала она сочную баранью отбивную, крылышко куропатки или цыпленка. Пока Уилсон была в комнате, она еще ковыряла их ножом и вилкой. Но как только захлопывалась дверь, она делала знак. Она поднимала вилку. На вилку было насажено целое куриное крыло. Флаш приближался. Мисс Барретт кивала. Очень ловко, очень осторожно, не уронив ни кусочка, Флаш снимал крыло с вилки; проглатывал его без следа. Половина рисового пудинга в комьях густых сливок отправлялась туда же. Сотрудничество Флаша было плодотворно и незаменимо. Он лежал, как обычно, свернувшись калачиком у ног мисс Барретт, и очевидно, дремал, мисс Барретт лежала, отдохнувшая и, по-видимому, подкрепленная сытным обедом, когда шаги, тяжелее, весомей и тверже всех прочих, останавливались у двери; раздавался важный стук, которым не спрашивали, можно ли, но возвещали намерение войти. Дверь открывалась, и на пороге являлся самый мрачный, самый страшный из всех пожилых людей — мистер Барретт собственной персоной. Глаза его тотчас останавливались на подносе. Съеден ли обед? Выполнен ли его приказ? Да, на тарелке ничего не осталось. Одобряя покорность дочери, мистер Барретт тяжело опускался в кресло рядом с ней. Когда эта темная масса надвигалась на него, по спине у Флаша от ужаса бежали мурашки. Так дрожит упрятавшийся в цветах дикарь, когда в грохоте грома он слышит глас божий. Уилсон свистала; виновато, крадущейся походкой, будто мистер Барретт мог прочесть его мысли, Флаш выходил из комнаты и кидался опрометью по лестнице вниз. В спальне водворялась сила, которой он страшился; сила, которой

он не мог противостоять. Как-то он неожиданно ворвался в спальню. Мистер Барретт молился, стоя на коленях у постели дочери.

Глава третья ЧЕЛОВЕК ПОД КАПЮШОНОМ

Такое воспитание в спальне на Уимпол-стрит подействовало бы и на заурядного пса. Но Флаш не был заурядным псом. Он был резв, но склонен к раздумью; молодой, хоть и не человек, он был восприимчив к человеческим проявлениям. На нем атмосфера спальни сказывалась особенно сильно. И вправде ли мы его порицать, если чувствительность развивалась в нем даже в ущерб иным, более неотъемлемым качествам четвероногого? Конечно, частенько используя греческий словарь вместо подушки, он стал презирать драки и лай; он стал предпочитать молчаливость кошек собачьей шумливости; а той и другой — человечесье участие. Мисс Барретт, со своей стороны, старалась еще более развить его богатые задатки. Однажды она сняла с окна арфу и, положив ее с ним рядом, спросила, как он полагает — издающая музыкальные звуки арфа — живая ли сама? Он смотрел и слушал; мгновение, кажется, он терялся в догадках и затем решил, что она неживая. А то еще мисс Барретт поместилась вместе с ним перед зеркалом и стала спрашивать, отчего он лает и дрожит. Разве рыжий песик в зеркале — не он сам? И что это такое — ты сам? То, что видят люди? Или то, что ты есть? Флаш раздумывал и над этим вопросом, но, не в силах разрешить проблему реального, прижался к мисс Барретт и поцеловал ее «от души». И уж это, по крайней мере, была несомненная реальность.

После подобных вопросов, после столь волнующих и интересных задач он спускался по лестнице, и что же тут удивительного, если в повадке его замечалась некая небрежность, легкая снисходительность, что ли, которая бесила свирепого

Катилину, кубинскую ищейку, и тот бросался на него и кусал, и Флаш с воем мчался обратно наверх к мисс Барретт за утешением. Флаш «не герой», заключала она, но почему он не герой? Не из-за нее ли отчасти? Она слишком была честна, чтобы не сознаться себе, что именно ей принесена в жертву его удаля, вместе с солнечным светом и воздухом. Его тонкий склад имел, разумеется, и теньевые стороны. Ей ужасно было за него неудобно, когда он укусил бедного мистера Кеньона, споткнувшегося о шнур колокольчика; он докучал ей, когда жалобно скулил всю ночь напролет, изгоняемый из постели; когда отказывался принимать пищу иначе как из ее рук; но она брала вину на себя и все прощала Флашу за то, что он ее любил. Он пожертвовал ради нее солнечным светом и воздухом. «Он достоин любви, ведь правда?» — спрашивала она у мистера Хорна. Но как бы там ни ответил ей мистер Хорн, мисс Барретт знала сама: она любила Флаша, и Флаш был достоин ее любви.

Казалось, ничто не может разорвать этих уз — словно годы могут только их укрепить и упрочить и словно ничто в жизни уже не может перемениться. Тысяча восемьсот сорок второй год сменился тысяча восемьсот сорок третьим; сорок третий — сорок четвертым; сорок четвертый — сорок пятым. Флаш вышел уже из щенячьего возраста; он стал четырехлетним или даже пятилетним псом; псом в полном расцвете — а мисс Барретт все лежала на кушетке, и Флаш все лежал на кушетке у ее ног. Мисс Барретт жила «как птичка в клетке». Бывало, она неделями не выбиралась из дому, а если и выбиралась, то на часок — за покупками в карете или погулять по Риджентс-парку в инвалидном кресле. Барретты никогда не выезжали из Лондона. Мистер Барретт, семеро братьев, две сестры, дворецкий, Уилсон и горничные, Катилина, Фолли, мисс Барретт и Флаш жили и жили в номере пятидесятом по Уимпол-стрит, ели в столовой, спали в спальнях, курили в библиотеке, стряпали в кухне, таскали баки с горячей водой

и выливали помои с января по декабрь. Слегка засаливалась обивка кресел; слегка протирались ковры; угольная пыль, грязь, сажа, копоть, испаренья курева, вина и еды оседали в щелях, и трещинах, и на шероховатостях, на рамах картин, на резных завитках. Только плющу на окне у мисс Барретт было все нипочем; его зеленая завесь становилась пышней и пышней; а летом настурции и многоцветная фасоль дружно буйствовали в оконных ящиках.

Но вот однажды вечером в январе 1845 года в дверь постучал почтальон. Как всегда, в ящик упали письма. Как всегда, Уилсон спустилась за почтой. Все было как всегда — каждый вечер в дверь стучал почтальон, каждый вечер Уилсон спускалась за почтой, каждый вечер было одно письмо для мисс Барретт. Но сегодня письмо было не такое, как всегда. Письмо было совсем другое. Флаш это сообразил прежде, чем мисс Барретт разорвала конверт. Он это понял по тому, как мисс Барретт взяла письмо; повертела; посмотрела на энергический неровный разлет ее имени. Он это понял по немислимой дрожи пальцев, по стремительности, с какой был взорван конверт, по сосредоточенности, с которой она читала. Он смотрел на нее, пока она читала. И пока она читала, он услышал — как слышим мы сквозь дрему среди уличных шумов звон колокола и знаем, что это для нас он звонит — грозно, хоть едва различимо, будто кто-то далекий взялся нас разбудить, предостеречь о пожаре, о грабеже, предостеречь об опасности, и мы в ужасе вздрагиваем и просыпаемся, — так и Флаш, пока мисс Барретт читала маленькую измаранную страничку, услышал колокол, будящий его, предостерегающий, что покой его под угрозой и что теперь не до сна. Мисс Барретт прочла письмо быстро; она прочла письмо медленно; она бережно вложила его обратно в конверт. Ей тоже было не до сна.

Через несколько дней Уилсон опять принесла на подносе письмо. Опять мисс Барретт прочла его быстро, прочла его медленно, читала снова и

снова. И бережно положила его не в ящик, где копились щедрые строки мисс Митфорд, — но отдельно. Флаш теперь расплачивался сполна за те долгие годы, когда он изощрял свою восприимчивость, лежа на подушках у ног мисс Барретт. Он умел читать знаки, которых, кроме него, никто даже не замечал. По касанию пальцев мисс Барретт он понимал, что она только и ждет — когда постучит почтальон, когда принесут письмо на подносе. Вот она — легонько, мерно — гладила его; вдруг — внизу стучали — пальцы ее сжимались; и его держали в тисках, пока Уилсон поднималась по лестнице. Потом мисс Барретт брала письмо, а его отпускала и забывала.

А впрочем, утешал он себя, чего ему бояться, раз жизнь мисс Барретт не изменилась? А жизнь ее не изменилась. Не появлялось новых гостей. Мистер Кеньон приходил, как всегда; приходила мисс Митфорд. Приходили братья и сестры; а вечером приходил мистер Барретт. Они ничего не замечали, ничего не подозревали. И он успокаивал себя, он убеждал себя, когда прошло несколько дней без этого конверта, что враг отступил. Человек в плаще, виделось ему, скрытый капюшоном, исчез; как грабитель, ломился в дверь, наткнулся на стражу и, побежденный, канул во тьму. Опасность, старался уговорить себя Флаш, миновала. Тот — неизвестный — исчез. И вот снова пришло письмо.

Письма приходили все чаще и чаще, каждый день, и Флаш стал замечать перемены в мисс Барретт. Впервые на памяти Флаша она сделалась беспокойна и раздражительна. Она не могла ни читать, ни писать. Стояла у окна и смотрела на улицу. Допытывалась от Уилсон, какая погода. Ветер все еще восточный? Заметна ли уже в парке весна? Ох, куда там, отвечала Уилсон; ветер резкий, восточный. И мисс Барретт, чувствовал Флаш, испытывала сразу и облегчение и досаду. Она кашляла. Она жаловалась на недомогание — но не такое недомогание, как всегда у нее при восточном ветре. А потом, оставшись одна, она снова перечла

вчера́шнее письмо. Письмо́ было́ дли́нее, чем все преды́дущие. Много́ страни́ц — и все спло́шь испи́санные, изма́ранные, исче́рканные стран́ными угловаты́ми значками. Это-то Флаш мог разгляде́ть со своего́ места у ее но́г. Но того́ он не мог пони́ять, что́ это тихонько бормочет мисс Барретт. Он то́лько ощу́тил ее волне́нье, когда́, дойдя́ до конца́ страни́цы, она́ громко (хоть невня́тно) прочита́ла: «Как Вы ду́маете, смогу́ я Вас уви́деть че́рез меся́ц, че́рез два меся́ца?»

А пото́м она́ взяла́ перо́ и ста́ла бы́стро и нервно́ водить по страни́це, пото́м по друго́й и по тре́тней. Но что́ они значи́ли — словечки́, кото́рые выводи́ла мисс Барретт? «Скоро́ апрель. А пото́м бу́дет май, и бу́дет ию́нь, е́сли мы доживе́м, и, бы́ть може́т, тогда́... Да, я уви́жусь с Вами́, когда́ теплы́е дни сле́гка подкре́пят мои́ силы́... Но сна́чала мне бу́дет стра́шно — хоть мне и не стра́шно Вам это́ пи́сать. Вы — Пара́цельс¹, я же затворни́ца, и нервы́ мои́ терза́ли на ды́бе, и тепе́рь они́ бессильно́ висят и дрожа́т, от ша́га, от вздо́ха...»

Флаш не мог прочита́ть того́, что́ она́ пи́сала в не́скольких дю́ймах от его́ голо́вы. Но он пони́мал со́вершенно́ то́чно, бу́дто прочита́л все от слова́ до слова́, как стран́но волну́ется над пи́сьмом его́ хозя́йка; ка́кие проти́воречивы́е жела́ния ее разди́рают — что́б наста́л апрель; что́б апрель́ во́все не наста́вал; по́скорей уви́деть это́го незна́комого́ челове́ка; во́все его́ не уви́деть. Флаш то́же дрожа́л — от ша́га, от вздо́ха. И неоте́вратимо́ кати́лись дни. Вете́р взду́вал шторы́. Со́лнце бели́ло бю́сты. На коню́шне́ пела́ пти́ца. «Све́жие цветы́, све́жие цветы́!» — кри́чали разно́счики на Уимпол-стри́т. И все зву́ки, он зна́л, озна́чали, что́ скоро́ апрель, а пото́м бу́дет май и ниче́м не уде́ржать это́й гро́зной весны́. Что́ принесе́т она́? Что́-то стра́шное — что́-то жу́ткое, че́го боя́лась мисс Барретт, и Флаш то́же боя́лся. Он тепе́рь вздрагива́л при

¹ Пара́цельс (наст. и́мя — Фили́пп Ауреол Теофра́ст Бомба́ст Гогенгейм (1493-1541) — вра́ч и есте́ственноиспытате́ль, ге́рой поэ́мы Роберта Брауни́нга, напи́санной в 1835 г

звуче шагов. Но нет, это оказывалась просто Генриетта. Стучали. Это оказывался просто мистер Кеньон. Так прошел апрель; и первые двадцать дней мая. И вот двадцать первого мая Флаш понял, что день настал. Ибо во вторник, двадцать первого мая, мисс Барретт испытующе разглядывала себя в зеркале; живописно кутаясь в индийскую шаль; попросила Уилсон придвинуть кресло поближе, но нет, не так близко; перебирала то одно, то другое и все забывала; и очень прямо села среди подушек. Флаш замер у ее ног. Оба, наедине, ждали. Наконец часы на Марилебондской церкви пробили два; оба ждали. Потом часы на Марилебондской церкви пробили один удар — была половина третьего; и когда замер этот один удар, внизу — смелый — раздался стук. Мисс Барретт побелела; она затихла. Флаш тоже затих. Все выше раздавались неумолимые, грозные шаги; все выше — Флаш знал — поднимался тот, страшный, полуночный, под капюшоном. Вот уже рука его на дверной ручке. Ручка повернулась. Он стоял на пороге.

— Мистер Браунинг, — сказала Уилсон.

Флаш смотрел на мисс Барретт. Он видел, как кровь бросилась ей в лицо; как глаза у нее расширились и губы раскрылись.

— Мистер Браунинг! — вскрикнула она.

Теребя в руках желтые перчатки, мигая, элегантный, властный, резкий, мистер Браунинг шагнул в комнату. Он схватил руку мисс Барретт, упал в кресло возле кушетки. И сразу оба заговорили.

Обидней всего, что, пока они говорили, Флаш чувствовал себя совершенно лишним. Раньше ему казалось, что они с мисс Барретт вместе, вдвоем в пещере у костра. Теперь костра не было в пещере; было темно и сыро; мисс Барретт из пещеры ушла. Он посмотрел вокруг. Все переменялось — полка, бюсты; они уже не были добрыми хранителями-пенатами, глядели строго, чуждо. Он переменял позу в ногах у мисс Барретт. Она не заметила. Он заскулил. Они не слышали. Тогда он затих и страдал уже молча. Шел разговор; он не тек, не струился, как всегда струился и тек

разговор. Он скакал и прыгал. Запинался и снова прыгал. Флаш еще не слыхивал у мисс Барретт такого голоса — бодрого, звенящего. Щеки у нее горели, как никогда не горели прежде; большие глаза сияли, как никогда еще не сияли у нее глаза. Пробило четыре; а они все говорили. Потом пробило половину пятого. Тут мистер Браунинг вскочил. Ужасной решимостью, отчаянной смелостью веяло от каждого его жеста. Вот он стиснул руку мисс Барретт; схватил шляпу, перчатки; простился. Они слышали, как сбежал он по лестнице. Дверь — резко — хлопнула. Он ушел.

Но мисс Барретт не откинулась на подушки, как откидывалась, когда уходил мистер Кеньон или мисс Митфорд. Она сидела прямо; глаза у нее горели; щеки пылали; будто мистер Браунинг еще оставался тут. Флаш ткнул носом ей в ногу. Вдруг она о нем вспомнила. Легонько, весело потрепала по голове. И с улыбкой, очень странно так, на него поглядела — как бы желая, чтобы он заговорил, как бы считая, что и он чувствует то же, что она. А потом засмеялась, жалеючи его, словно это уж так глупо, — Флаш, бедняжка Флаш — где ему чувствовать то, что она чувствовала. Разве мог он понять то, что она понимала. Никогда еще не разделяла их такая мрачная пропасть. Он лежал рядом, а она не замечала; будто его тут и не было. Она забыла о его существовании.

И цыпленка своего она в тот вечер обглодала до косточек. Ни кусочка картошки, ни кожицы не бросила Флашу. Когда, по обычаю, явился мистер Барретт, Флаш не мог надивиться его тупости. Он сидел в том же кресле, в котором сидел этот человек, опирался на ту же подушку, на которую тот опирался, и — ничего не заметил. «Неужели ты не знаешь, — дивился Флаш, — кто тут только что сидел? Неужели ты его не чуешь?» Ибо, по мнению Флаша, от всей комнаты резко разило мистером Браунингом. Запах взлетал над книжной полкой, взвихрялся, кустился вокруг пяти бледных лбов. А мрачный человек сидел возле дочери, целиком погруженный в себя. Ничего не

замечал. Ничего не подозревал. Ошеломленный его тупостью, Флаш скользнул мимо него — прочь из комнаты.

Но несмотря на свою удивительную слепоту, даже родные мисс Барретт через несколько недель стали замечать перемены в мисс Барретт. Она теперь выходила из спальни и сидела в гостиной. А потом она сделала то, чего давным-давно уж не делала, — на своих собственных ногах дошла с сестрой до самых ворот на Девоншир-Плейс. Друзей, членов семьи поражало ее исцеление. И только Флаш знал, откуда у нее силы — они шли от темноволосого человека в кресле. Он приходил еще и еще. Сперва раз в неделю; потом два раза в неделю. Приходил всегда днем и до вечера уходил. Мисс Барретт всегда его принимала наедине. А в те дни, когда он не приходил, приходили от него письма. А когда он уходил, оставались от него цветы. А по утрам, когда она бывала одна, мисс Барретт к нему писала. Смуглый, подтянутый, резкий, бодрый, со своими черными волосами, румяными щеками и своими желтыми перчатками — этот человек был повсюду и во всем. Разумеется, мисс Барретт воспрянула, естественно, она теперь ходила. Флашу самому стало неважно лежать. Воротилось давнее томленье; им овладела новая тревога. Его одолевали сны. Забытые сны, не снившиеся ему со времен Третьей Мили. Зайцы прыскали из высокой травы; вея длинными хвостами, взмывали фазаны; вспархивали, шурша, над жнивьем куропатки. Во сне он охотился, гнался за пестрым спаниелем, и тот убегал, ускользал от него. Он был в Испании; был в Уэльсе; он был в Беркшире; он спасался от смотрителей, размахивавших дубинками в Риджентс-парке. Он открывал глаза. Не было зайцев; не было куропаток; не свистел хлыст, темнолицые не кричали: «Спан! Спан!» Только мистер Браунинг сидел рядом, в кресле, и беседовал с мисс Барретт.

Невозможно было спать спокойно, когда этот человек сидел рядом. Флаш лежал с открытыми глазами, он слушал. Он, конечно, не понимал, какой такой смьсл в этих словах, которые прыгали у него

над головой с половины третьего до половины пятого, иногда и по три раза в неделю, но ему открывалось с мучительной ясностью, что тон их менялся. Сперва у мисс Барретт голос был напряженный и уж слишком звенел. Теперь в нем звучали тепло и легкость, каких Флаш не слышивал прежде. И каждый раз, когда являлся этот человек, что-то новое звучало в их голосах; вот они нелепо стрекотали; вот реяли над ними, как парящие птицы; вот ворковали и кудахтали, как птицы в гнездышке; вот голос мисс Барретт снова взмывал, и парил, и кружил в поднебесье; и голос мистера Браунинга взрывался хриплым, резким смешком, и потом — бормотанье, жужжанье, и голоса сливались. Но когда кончилось лето и наступила осень, Флаш, терзаясь ужасным предчувствием, уловил еще новую нотку. В мужском голосе обнаружилась требовательность, настойчивость, напор, которого, Флаш понял, испугалась мисс Барретт. Голос ее метался; дрожал; словно спотыкался, выдыхался, молил, захлебывался, и будто она просила об отдыхе, об остановке, будто она чего-то боялась. И тогда тот умолкал.

Его они почти вовсе не замечали. Можно подумать, бездушное бревно лежало в ногах у мисс Барретт, — так много внимания уделял ему мистер Браунинг. Иногда, мимоходом, он трепал его по заливку энергичным, быстрым, резким жестом, безо всякого чувства. Неизвестно, что вкладывал в свой жест мистер Браунинг, но Флаш не испытывал ничего, кроме острой к нему неприязни. Один вид этого господина — подтянутого, элегантного, крепкого, вечно теребящего желтые перчатки, — один его вид выводил Флаша из себя. О! С каким бы счастьем он вонзился ему в брюки зубами! И сжал бы их, сомкнул! Но вот — Флаш не решался. Короче говоря, в жизни еще никогда так не маялся Флаш, как зимой сорок пятого — сорок шестого годов.

Зима прошла; и снова настала весна. Флаш не видел конца этой истории; и все же, в точности как река хоть и отражает недвижные деревья, и

коров на лугу, и возвращающихся в гнезда грачей, но неизбежно катится к водовороту, так и эти дни, Флаш знал, неслись к катастрофе. На Флаша веяло воздухом перемен. Иногда ему чудилось, что надвигается всеобщий исход. В доме чувствовалось смутное оживление, обычно предвещающее — возможно ли? — путешествие. В самом деле, с сак-воляжей смахивали пыль и — как ни поразительно — их открывали. Но потом их закрывали опять. Нет, семейство никуда не собиралось двигаться. Как обычно, приходили и уходили братья и сестры. В обычный час, по уходе этого человека, являлся с ежевечерним визитом мистер Барретт. Да, но что же готовилось? Ибо к концу лета сорок шестого года Флаш совершенно уверился в том, что готовятся перемены. Он заключил это по еще новым ноткам в вечных их голосах. Голос мисс Барретт, прежде робкий, молящий, перестал запинаться. Он звенел решимостью и смелостью, каких Флаш не слышивал прежде. Послушал бы мистер Барретт, каким тоном приветствовала она захватчика, каким смехом его встречала, с каким возгласом он пожимал ее руку! Но в комнате с ними не было никого, кроме Флаша. Он ужасно страдал из-за этих перемен. Мисс Барретт не только иначе относилась теперь к мистеру Браунингу, она и вообще ужасно переменялась; и она переменялась к Флашу. Она теперь пресекала его заигрывания; она высмеивала его ласки, она давала ему понять, что есть нечто глупое, смешное, преувеличенное в его привычном обращении с ней. Она уязвляла его тщеславие. Она разожгла его ревность. В конце концов, уже в июле, он решился на отчаянную попытку вернуть ее расположение и, быть может, изгнать пришельца. Собственно, он не знал, как осуществить свою двойную цель, и никаких планов не строил. Но восьмого июля он вдруг не совладал с собой. Он бросился на мистера Браунинга и дико вцепился в него зубами. Вот они сомкнулись на чеканной брючине мистера Браунинга! Но мышцы под брючиной оказались крепкими как железо — нога мистера Кеньона была по сравнению с ними

мягче масла. Мистер Браунинг небрежно смахнул его со своей ноги и продолжал говорить. Оба они с мисс Барретт, казалось, не обратили никакого внимания на его выпад. Совершенно разбитый, побежденный, обезоруженный, Флаш рухнул на подушки, задыхаясь от ярости и разочарования. Однако насчет мисс Барретт он ошибся. Как только мистер Браунинг ушел, она поманила его к себе и подвергла самой страшной каре. Сперва она оттаскала его за уши — но это пустяк; боль от ее руки была ему даже приятна. А потом она сказала обычным тоном, не повышая голоса, что никогда больше не будет его любить. И сердце ему пронзила стрела. Столько лет они прожили вместе, делили судьбу, и вот из-за одного неосторожного шага она никогда больше не будет его любить. Потом, будто подчеркивая неизменность своего решения, она занялась цветами, которые ей принес мистер Браунинг. Она действовала, Флаш понял, с рассчитанной и намеренной злостью; она хотела ему доказать все его ничтожество. «Эта роза от него, — словно говорила она, — и вот эта гвоздика. Пусть желтое сияет рядом с красным; а красное — рядом с желтым. А сюда пусть ляжет зеленый листик — вот так». И, поставив цветок к цветку, она отступила ими полюбоваться, будто перед ней был он сам, человек в желтых перчатках, — огромным ярким букетом. Однако как ни была она поглощена цветами, не могла же она вовсе не замечать, как неотступно смотрел на нее Флаш. Она не могла не видеть «выражения страстной тоски в его взоре». И она не могла не смягчиться. «В конце концов я сказала: „Если ты хорошая собачка, Флаш, поди ко мне, попроси прощенья“». И он бросился ко мне через всю комнату, он дрожал, он поцеловал мне одну руку, потом другую, он протягивал мне лапы для пожатия и заглядывал мне в лицо таким умильным взором, что и Вы простили бы его, как я простила». Так отчитывалась она мистеру Браунингу; и, разумеется, тот ответил: «О бедняга Флаш, неужто Вы думаете, я не уважаю и не ценю его ревнивого

надзора — и не понимаю, как трудно ему принять в сердце другого, уже приняв в сердце Вас». Легко было мистеру Браунингу выказывать великодушие, и это легкое великодушие, наверное, больше всего уязвляло Флаша.

Еще одно досадное происшествие несколько дней спустя напомнило о том, как бьются отныне не в лад их сердца, как мало может теперь Флаш рассчитывать на участие мисс Барретт. Однажды, после ухода мистера Браунинга, мисс Барретт вздумалось поехать с сестрой в Риджентс-парк. У самых ворот парка дверцей кареты Флашу прищемило лапу. Он жалобно взвыл и протянул лапу мисс Барретт, чтоб она его пожалела. В былые времена она и по менее серьезному поводу стала бы бурно изливаться на него свою жалость. А тут посмотрела на него отвлеченным, насмешливым, критическим взглядом. Она над ним насмеялась. Она решила, что он притворяется. «...Едва он оказался на травке, он стал носиться, решительно про все позабыв», — писала она. И саркастически поясняла: «Флаш вечно преувеличивает свои невзгоды. Он приверженец байронической школы — *il se pose en victime*¹». Но мисс Барретт, поглощенная собственными переживаниями, глубоко в нем ошиблась. Да пусть бы он даже и сломал лапу, он все равно бы скакал и носился. То был ответ на ее насмешку; меж ними все кончено — вот что бросал он ей на бегу. Цветы пахли горечью; трава обжигала лапы; вместе с пылью ноздри забивало обидой. А он прыгал. Он скакал. «Собаки должны ходить только на цепи». Та же табличка торчала у входа; и так же потверждали ее смотрители в цилиндрах, размахивая дубинками. Но что для него теперь значило это «должны»! Он никому ничего не должен. Порвалась цепь любви. Он будет носиться, где ему вздумается; гонять куропаток; гонять спаниелей; врубаться в заросли далий; крушить сплошное сверканье красных и желтых роз. Пусть смотрители размахивают дубинками. Пусть

¹ Он вечно изображает из себя жертву (фр.)

размозжат ему череп. Он рухнет мертвый и окровавленный к ногам мисс Барретт. Ему все равно. Но разумеется, ничего такого не случилось. Никто его не преследовал: никто его не заметил. Одинокий зритель болтал со скучливой нянькой. И в конце концов он затрусил к мисс Барретт, и она рассеянно взяла его на поводок и повела домой.

После двух таких унижений дух заурядной собаки — дух заурядного человека даже — был бы, наверное, сломлен. Но у Флаша, при всей его мягкости и шелковистости, был сверкающий взор; страсти не только вспыхивали в нем ярким пламенем, но порою упорно тлели. Он задумал сойтись с недругом лицом к лицу и один на один. Чтоб никто не мог помешать решительной схватке. В посредниках он не нуждался. И вот во вторник 21 июля он скользнул по лестнице вниз и затаился в прихожей. Ждать пришлось недолго. Скоро он услышал на улице знакомые шаги; услышал знакомый стук в дверь. Мистера Браунинга впустили. Смутно подозревая о готовящемся выпаде и полный самых мирных намерений, мистер Браунинг запасся кульком бисквитов. Флаш ждал в прихожей. Мистер Браунинг предпринял, кажется, невинную попытку его погладить; быть может, он себе позволил предложить ему бисквит. Одного жеста было достаточно. С беспримерной яростью Флаш кинулся на врага. Еще раз сомкнулись его зубы на брючине мистера Браунинга. Но увы, от волнения он забыл о самой главной посылке успеха — о молчании. Он залаял; с громким лаем кинулся он на мистера Браунинга. Только и всего. Поднялась суматоха. Уилсон бросилась вниз. Уилсон надавала ему тумаков. Уилсон одержала над ним бесспорную победу. Она с бесчестьем увела его прочь. Какое бесчестье — напасть на мистера Браунинга и потерпеть поражение от руки Уилсон! Мистер Браунинг и пальцем не двинул. Унося с собой свои бисквиты, мистер Браунинг, невредимый, незыблемый, с совершенным хладнокровием поднимался по лестнице к мисс Барретт — один. Флаша увели прочь.

Отбыв два с половиной часа в позорном заточенье среди жуков, попугаев, папоротников и кастрюль на кухне, Флаш предстал перед мисс Барретт. Она лежала на кушетке, с ней рядом была ее сестра — Арабелл. Уверенный в правоте своего дела, Флаш направился прямо к хозяйке. Но она не взглянула на него. Она повернулась к Арабелл. Она сказала только: «Гадкий Флаш, уходи». Уилсон была тут как тут — ужасная, неумолимая Уилсон. И у нее-то черпала свои сведения мисс Барретт. Она побила его, заявила Уилсон, «стало быть, так ему следует». И побила она его, добавила Уилсон, только рукой. И по свидетельству этой Уилсон Флаша признали виновным. Нападение, сочла мисс Барретт, ничем не было вызвано; мистер Браунинг в ее глазах был само великодушие, сама добродетель; а Флаш был избит служанкой, без хлыста, «стало быть, так следует». Что тут еще скажешь? Мисс Барретт осудила его. «И он лег на пол у моих ног, — писала она, — и стал смотреть на меня исподлобья». Но смотри не смотри, мисс Барретт даже взглянуть на него не желала. И вот она лежала на кушетке, а Флаш лежал на полу.

Пока он так лежал, в изгнании, на ковре, душа его попала в тот бурный водоворот чувств, который может бросить ее на камни, и тогда душа разобьется, но если, найдя опору, она медленно, с мукой воспрянет, выберется на сушу, она вознесется тогда над всеобщим развалом, чтобы озираться с новой точки заново сотворенный мир. Быть или не быть обновлению? Вот в чем вопрос. Мы можем лишь в общих чертах проследить борения Флаша. Ибо они совершались в безмолвии. Дважды Флаш шел на все, чтобы сразить врага; и дважды терпел поражение. Почему же он терпел поражение? — спрашивал себя Флаш. Потому, что он любил мисс Барретт. Глядя на нее исподлобья, пока она лежала на кушетке — суровая, молчащая, — он понимал, что он будет любить ее вечно. Но все не так-то просто устроено. Все устроено сложно. Кусая мистера Браунинга, он кусает и ее. Ненависть — не только ненависть; ненависть —

еще и любовь. Тут Флаш, совершенно запутавшись, передернул ушами. Он стал беспокойно ворочаться на полу. Мистер Браунинг — это мисс Барретт; мисс Барретт — это мистер Браунинг; любовь — это ненависть, и ненависть — это любовь. Он потянулся, заскулил и поднял голову. Часы пробили восемь. Больше трех с половиной часов пролежал он тут, терзаясь неразрешимыми противоречиями.

Даже мисс Барретт, суровая, холодная, неумолимая, положила перо. «Гадкий Флаш! — писала она в эту минуту мистеру Браунингу. — ...Если кто-то, вроде Флаша, ведет себя необузданно, как собака, пусть и расплачивается, как всегда расплачиваются собаки. Но Вы-то, Вы, как были с ним добры и терпимы! Любой бы другой на Вашем месте хоть обругал бы его». Да, подумала она, неплохо бы завести намордник. Но тут она подняла глаза от бумаги и заметила Флаша. Что-то необычное в его взгляде, наверное, поразило ее. Она перестала писать. Она положила перо. Когда-то он разбудил ее поцелуем и показался ей Паном. Он съедал ее цыпленка и этот рисовый пудинг со сливками. Он пожертвовал ради нее солнечным светом. Она подозвала его и сказала, что он прощен.

Но снискать прощение, словно он не сделал ничего ужасного, опять лежать на кушетке, как если бы он не пережил всех своих мук на полу и остался прежним, тогда как он стал совершенно новой собакой, было для Флаша невыносимо. Сначала, усталый, истерзанный, Флаш покорился мисс Барретт. Но несколько дней спустя меж ними произошла знаменательная сцена, доказавшая всю глубину его чувств. Мистер Браунинг был и ушел: Флаш остался наедине с мисс Барретт. Обычно он сразу прыгал на кушетку и ложился у ее ног. Теперь же, вместо того чтоб вскакивать к ней и требовать от нее ласки, Флаш подошел к креслу, ныне именуемому «креслом мистера Браунинга». Обычно он питал отвращение к этому креслу; оно еще хранило облик врага. Но теперь, после одер-

жанной им победы над собой, он исполнился такого великодушия, что не просто посмотрел на кресло, но, глядя на него, «вдруг пришел в восторг». Мисс Барретт, пристально за ним следившая, уловила этот удивительный знак. Далее он перевел взгляд на стол. На столе все еще лежал кулек с бисквитами мистера Браунинга. «Он напоминал мне, что Ваши бисквиты лежат на столе». Бисквиты были уже старые, зачерствелые и лишенные всякой физической привлекательности. Намерения Флаша были очевидны. Он отказался от бисквитов, от свежих бисквитов, ибо его угощал враг. Он хотел съесть их теперь, уже черствыми, ибо угощал его враг, превратившийся в друга, ибо они стали символом ненависти, превращенной в любовь. Да, он ясно давал понять, что хочет их съесть. И мисс Барретт встала и взяла в руки кулек. И, кормя Флаша бисквитами, она его настаивала. «Я ему объяснила, что Вы ему их принесли, и ему должно быть стыдно; что он вел себя гадко; что он должен Вас любить и впредь не кусать, и уж потом позволила ему воспользоваться Вашей добротой». И, заглатывая отвратительное тесто — заплесневелое, засиженное мухами, ужасно невкусное, — Флаш торжественно повторял на своем языке слова, которые она ему говорила: он клялся любить мистера Браунинга и впредь не кусать.

Тотчас он был вознагражден — не черствыми бисквитами, не крылышком цыпленка, не ласками, в которых теперь у него не было недостатка, не дозволением снова лежать на кушетке у ног мисс Барретт. Он был вознагражден духовно; хоть странным образом результат был физически ощутим. Как ржавый железный брус, губящий и портящий под собой все живое, лежала на душе его ненависть. И вот с болью, острым ножом хирурга железо было извлечено. И вновь бежала по жилам кровь; трепетали нервы; затянулась рана. Флаш снова слышал, как поют птицы; чувствовал, как растет на деревьях листва. Он лежал на кушетке у ног мисс Барретт и радовался и блаженствовал.

Он был теперь с ними, не против них; он делил их надежды, мечты, их желанья. Ему хотелось лаять дуэтом с мистером Браунингом. От коротеньких, резких слов у него дыбом вставала холка. «Мне нужно, чтобы всю неделю был вторник — весь месяц — весь год — всю жизнь!» — кричал мистер Браунинг. «И мне, и мне, — вторил ему Флаш. — Весь месяц, весь год, всю жизнь! Мне нужно все то же, что и вам обоим. Мы все служим общему благородному делу. Нас объединяет общая цель. Нас объединяет общая ненависть. Борьба против мрачной, тупой тирании. Нас объединяет общая любовь». Короче говоря, Флаш теперь все надежды возлагал на смутно брезжащий, но, однако же, верный триумф, на славную победу, которую они все вместе одержат, как вдруг, без малейшего предупреждения, из самого средоточия дружбы, безопасности и культуры — он был в магазине на Вир-стрит, с мисс Барретт и ее сестрой, утром во вторник первого сентября — его ввергли в непроглядную тьму. Дверь застенка захлопнулась. Его украли.

Глава четвертая

УАЙТЧЕПЕЛ

«Сегодня утром мы с Арабелл взяли его с собой, — писала мисс Барретт, — и поехали на Вир-стрит кое-что купить, и он вместе с нами входил в лавку и вышел и был рядом со мной, когда я садилась в карету. Я повернулась, сказала «Флаш», и тут Арабелл стала озираться, искать его — Флаш исчез! Его схватили, выхватили буквально из-под колес, можете ли Вы это понять?» Мистер Браунинг отлично мог понять. Мисс Барретт забыла поводок; и Флаша украли. Таков был в 1846 году закон Уимпол-стрит и прилегающих улиц.

Правда, нигде, кажется, вы не чувствовали себя в такой безопасности, как на солидной, положительной Уимпол-стрит. Если вы еле передвигали ноги или катили в инвалидном кресле, взор ваш не

встречал ничего, кроме лестной перспективы четырехэтажных домов, цельных окон и дверей красного дерева. Даже и в карете, запряженной парой, во время вечерней прогулки при осмотрительном кучере вам не приходилось нарушать границ приличия и благопристойности. Но если вы не были инвалидом, если вы не имели кареты, запряженной парой, если вы были — а многие были же — здоровы, бодры и не прочь прогуляться пешком, — тогда вы могли услышать, увидеть и обонять такое, и совершенно рядом с Уимпол-стрит, что ставило под сомнение положительность даже самой Уимпол-стрит. К такому выводу пришел мистер Томас Бимз, когда приблизительно в ту пору ему взбрело в голову прогуляться пешком по Лондону. Он был удивлен; он был просто шокирован. Роскошные здания поднимались в Вестминстере; но тут же, рядом, громоздились ветхие сараи, где люди ютились прямо над скотом «по двое на каждых семи футах». Он понял, что обязан поведать об увиденном. Но как описать изящным слогом спальню, где несколько семей теснятся вместе над коровником, а коровник не проветривается, а коров доят, режут и едят прямо под спальней? Для этой задачи, скоро понял мистер Бимз, не хватило бы всех богатств нашего родного языка. И все же он счел своим долгом описать то, что он увидел во время вечерних прогулок по самым аристократическим приходам Лондона. Ведь так недолго и тиф подхватить! Состоятельные люди и не подозревали об опасностях, каким подвергались. Он решительно не мог умолчать о том, что обнаружил в Вестминстере, Паддингтоне, Марилебонде. Здесь стоял, например, особняк, прежде принадлежавший вельможе. Сохранились остатки мраморного камина. Были панели на стенах и перила с тонкой резьбой; но полы прогнили, стены покрылись разводами, толпы полуголых мужчин и женщин нашли прибежище в прежней пиршественной зале. Он двинулся дальше. Здесь предприимчивый подрядчик снес дворянский особняк и на месте его наскоро соорудил доходный дом. Крыша протекала, в стены дуло. Мистер Томас

Бимз увидел дитя, совавшее кружку под ярко-зеленую струю, и спросил, пьют ли эту воду. Да, и в ней же еще и мылись, ибо хозяин разрешал пускать воду только дважды в неделю. И самое поразительное, что на подобные зрелища вы натыкались в самых почтенных и культурных кварталах Лондона — «в самых аристократических приходах». Позади спальни мисс Барретт, кстати, были мерзейшие из лондонских трущоб. Рядом с такой почтенностью — и такое неприличие.

Но были, разумеется, и кварталы, в которых бедняков безраздельно предоставляли самим себе. В Уайтчепел или на треугольничке, зачинающем Тотнем-Корт-роуд, нищета и порок веками кишели и множились без чужого наздора. Плотная масса мрачных старых домов на Сент-Джайлз была «как бы колонией преступников, как бы метрополией отверженных». И весьма метко скопление трущоб называлось «Грачевником». Ибо люди лепились там, как лепятся на деревьях сплошной черной тучей грачи. Только вот дома тут не напоминали деревья; впрочем, они и на дома были не очень похожи: кирпичные клетки, перемежаемые грязными переулками. День-деньской жужжала в проулках толпа полуголых существ; вечерами тек восвояси поток воров, нищих и шлюх, пробавляющихся своим ремеслом в Уэст-Энде. Полиция ничего не могла с ними поделать. Одиноким прохожий тоже мог лишь ускорить шаг да бросить намек на ходу — как, скажем, мистер Бимз, смягчив его цитатами, умолчаниями и эвфемизмами, — что все тут, в общем, не в точности так, как хотелось бы видеть. Надвигалась холера, и, кажется, ее намек был не столь деликатен.

Но в 1846 году этот намек еще не был брошен; и жителям Уимпол-стрит и прилегающих улиц оставалось одно — строго держаться respectable зоны и водить своих собак на поводке. Забудете поводок, как забыла мисс Барретт, — значит, заплатите выкуп, как надлежало его заплатить и мисс Барретт. Условия, на которых Уимпол-стрит сосуществовала с Сент-Джайлз, отстоялись

достаточно четко. На Сент-Джайлз воровали, как могли; на Уимпол-стрит платили, что полагалось. Потому-то Арабелл сразу «стала меня утешать, убеждая, что непременно его вызволю не более чем за десять фунтов». Десять фунтов была цена, которую мистер Тэйлор взимал, кажется, за кокер-спаниелей. Мистер Тэйлор был главарь шайки. Стоило даме с Уимпол-стрит потерять собачку, и она обращалась к мистеру Тэйлору, он назначал цену, и ему платили; если же нет, несколько дней спустя на Уимпол-стрит отправляли в оберточной бумаге собачью голову и лапы. Так, по крайней мере, было с одной дамой по соседству, которой вздумалось оспаривать условия мистера Тэйлора. Но мисс Барретт, разумеется, готовилась заплатить все сполна. И как только пришла домой, она призвала своего брата Генри, и брат Генри в тот же день отправился к мистеру Тэйлору. Он застал его «с сигарой в зубах, в кресле, посреди картин» — мистер Тэйлор, говорили, тысячи две-три в год наживал на собаках, — и мистер Тэйлор обещал обсудить дело в «Обществе» и завтра же собаку вернуть. Как бы ни было это обидно и особенно некстати, когда мисс Барретт следовало беречь деньги, — забывая про поводок в 1846 году, вы неизбежно расплачивались за свою оплошность.

Но не так обстояло дело для бедного Флаша. Флаш, рассудила мисс Барретт, «не знает, что мы его вызволим»; Флаш ведь так и не усвоил законов человеческого общества. «Он всю ночь будет скулить и тосковать, я уверена», — писала мисс Барретт мистеру Браунингу во вторник вечером первого сентября. Но куда мисс Барретт писала мистеру Браунингу, Флаш подвергался самому тяжкому испытанию в своей жизни. Он совершенно потерялся. Только что он был на Вир-стрит среди лент и кружев, и вот его сунули головой в мешок; протрясли по улицам и наконец вышвырнули — здесь. Он очутился в кромешной тьме. Он очутился в холоде, в сырости. Когда прошло головокружение, он кое-что разглядел в темной комнате — сломанные стулья, продавленный мат-

рац. Потом его схватили и крепко привязали за ногу к какой-то перегородке. Что-то ползало по полу — человек или зверь, он не мог бы сказать. Туда-сюда шныряли грубые башмаки и грязные юбки. Мухи жужжали над кусками гниющего мяса. Дети повиползали из темных углов и стали таскать его за уши. Он заскулил, и его огрели тяжелой рукой по голове. Он прижался к стене и затих на мокрых плитах. Теперь он разглядел, что в комнате полно собак. Они рвали друг у друга и оспаривали зловонную кость. У них выпирали ребра. Голодные, грязные, больные, нечесаные, жалкие — все они до одной, видел Флаш, были собаки благороднейшего происхождения, привычные к поводку и лакеям, как он сам.

Час за часом лежал он так, не смея даже скулить. Больше всего его мучила жажда; но едва лизнув мутную зеленоватую жидкость из ведра, которое стояло рядом, он сразу ощутил омерзение; он предпочитал умереть, но не прикасаться к ней больше. И однако величавая борзая жадно припала к ведру. Чуть только распахивалась дверь, он поднимал глаза. Мисс Барретт? Она? Пришла наконец? Но нет, то лишь волосатый бандит, распахав всех ногами, прошлепал к поломанному стулу и плюхнулся на него. Потом постепенно сгустилась тьма, Флаш уже еле различал фигуры на полу, на матрасе, на сломанном стуле. На каминной полке торчал свечной огарок. Пламя блестело в сточной канаве за окном. В его грубом подрагивающем свете Флаш видел, как жуткие лица мелькали снаружи, скалясь, припадали к окну. Вот они вошли, и в тесной комнате стало до того тесно, что Флаш совсем вжался в стену. Страшные чудища — одни в лохмотьях, другие в кричащих перьях и размалеванные — рассаживались прямо на полу, толклись у стола. Стали пить; ругались и дрались. Из-за наваленных мешков повылезали еще собаки: болонки, сеттеры, пойнтеры — и все в ошейниках; а громадный какаду метался из угла в угол и орал: «Попка — дурак! Попка — дурак!» — с такими простецкими модуляциями, которые ужаснули бы его

хозяйку, вдову на Мейда-Вейл. Потом женщины открыли сумочки и высыпали на стол браслеты, кольца и брошки вроде тех, что Флаш видел на мисс Барретт и на мисс Генриетте. Страшные женщины шупали их и хватали; ругались и спорили из-за них. Орала дети, и великолепный какаду — Флаш часто видел этих птиц на окнах на Уимпол-стрит — орал: «Попка — дурак! Попка — дурак!» — быстрее, быстрее, пока в него не запустили туфель, и он в отчаянии захлопал сизыми желтопятнистыми крыльями. Свеча опрокинулась и погасла. В комнате стало темно. Делалось жарче и жарче; нагнеталась вонь и жара; Флаша мучил зуд; ему щипало нос. А мисс Барретт все не шла.

Мисс Барретт лежала на кушетке на Уимпол-стрит. Она нервничала; она беспокоилась, но не то чтобы изводилась. Конечно, Флаш будет страдать; конечно, он будет скулить и лаять всю ночь напролет, но ведь все это вопрос нескольких часов. Мистер Тэйлор назначил выкуп; она заплатит; ей возвратят Флаша.

Утро среды второго сентября вставало над трущобами Уайтчепел. Серый рассвет неспешно вползал в пустые оконницы. Он освещал заросшие лица валявшихся на полу бродяг. Флаш очнулся от забытья, и вновь у него раскрылись глаза на безрадостную действительность. Вот она отныне, действительность — эта комната, и бродяги, и скулящие, стонущие собаки, рвущиеся с короткой привязи, и сырость, и мрак. Неужто это он, Флаш, действительно был в лавке, с дамами, среди лент и кружев, не далее как вчера? Неужто на свете по-прежнему существует Уимпол-стрит? И комната, где сверкает в красной мисочке свежая вода? И это он, Флаш, лежал на подушках; ел дивно зажаренного цыпленка; и, раздираемый злобой и ревностью, укусил человека в желтых перчатках? Вся прежняя жизнь, все чувства улетучились, растаяли и казались уже немислимыми.

Едва в окно просеялся пыльный свет, одна из женщин тяжело поднялась с мешка и, качаясь, вышла за пивом. Снова началась попойка и брань.

Какая-то толстуха подняла его за уши, ткнула в ребра и, должно быть, отпустила на его счет унижительную шутку, ибо компания покатила со смеху, когда его опять шмякнули об пол. С шумом распахивалась и хлопала дверь. Он оглядывался. А вдруг Уилсон? Или сам мистер Браунинг? Или мисс Барретт? Нет, то оказывался еще один вор, еще один убийца; он сжимался от одного вида рваных брюк, задубевших башмаков. Он попытался было грызть кость, которую ему швырнули. Но окаменевшее мясо не поддавалось зубам, а в нос бил невозможный запах тухлятины. Жажда вконец его доняла, ему пришлось приложиться к зеленой, пролившейся из ведра луже. Но наступал вечер — он все больше страдал от жажды, от духоты, тело ныло на поломанных досках, и постепенно он погружался в тяжкое безразличие. Он уже почти ничего не замечал вокруг. Только когда отворилась дверь, он, вострепнувшись, оглядывался. Нет, опять не мисс Барретт.

Мисс Барретт, лежа на кушетке на Уимпол-стрит, совсем потеряла покой. Что-то было не так. Тэйлор обещал в среду днем пойти на Уайт-чепел и посоветоваться с «Обществом». Но прошел день, прошел и вечер среды, а Тэйлор не являлся. Это могло означать лишь одно, думала она: он набивает цену — ужасно теперь нехвати. Но разумеется, все равно она готова платить. «Я должна вернуть Флаша, — писала она мистеру Браунингу, — я не могу подвергать риску его жизнь, торговаться и спорить». Она лежала на кушетке, писала мистеру Браунингу и прислушивалась, не раздастся ли стук в дверь. Но пришла Уилсон с почтой; пришла Уилсон с горячей водой. Пора было спать, а Флаша ей не вернуть.

Рассвет четверга третьего сентября встал над Уайтчепел. Отворилась и хлопнула дверь. Рыжего сеттера, скулившего ночь напролет на полу рядом с Флашем, увел бандит в кротовой куртке — и какой же навстречу судьбе? Что лучше — погибнуть или здесь оставаться? Что хуже — эта жизнь или смерть? Пьяный гам, голод и жажда, отвра-

тительная вонь — а подумать только, Флаш ненавидел когда-то запах одеколона — скоро заглушили все мысли, все желания Флаша. В голове кружились обрывки воспоминаний. Не старый ли то доктор Митфорд кличет его в полях? Не Керренхэппок ли болтает за дверью с булочником? Вот что-то затрещало, и ему почудилось, что мисс Митфорд заворачивает пучок герани. Но нет, это только ветер — ведь погода была ненастная — стучал по бумаге в разбитом окне. Только пьяный голос бурлил в сточной канаве. Только старая ведьма бурчала и бурчала в углу, жаря на сковороде селедку. Его забыли, его бросили. И он был так одинок. Никто не разговаривал с ним. Попугаи кричали «Попка — дурак! Попка — дурак!», да канарейки, глупо, не унимаясь, чирикали и щебетали.

И вот снова вечер сгустился в комнате; воткнули в блюдце огарок; грубый свет затрепыхал снаружи; толпы страшных мужчин с заплечными мешками и размалеванных женщин топтались в дверях, толклись у стола, плюхались на продавленные кровати. Снова ночь укрыла тьмою Уайтчепел. А дождь капал, капал сквозь дырявую крышу и, как в барабан, бил в поставленное ведро. Мисс Барретт не пришла.

Над Уимпол-стрит встал рассвет четверга. Флаша не было — не было никаких известий от Тэйлора. Мисс Барретт растревожилась не на шутку. Она навела справки. Она призвала своего брата Генри и допросила его с пристрастием. Она обнаружила, что он ее обманул. «Мерзавец» Тэйлор приходил накануне вечером, как обещал. Он назвал свои условия — шесть гиней для «Общества» и полгиней ему лично. Но Генри, вместо того чтобы сообщить это ей, сообщил мистеру Барретту, с тем, разумеется, результатом, что мистер Барретт велел ему не платить и скрыть визит Тэйлора от сестры. Мисс Барретт «ужасно досадовала и сердилась». Она умоляла брата тотчас пойти к мистеру Тэйлору и заплатить все сполна. Генри упирался и «говорил про папу». Но какой толк говорить про папу? Пока они говорят про папу,

Флаша убьют. Она решилась. Раз Генри не хочет, она пойдет сама, «...если не будет по-моему, я сама завтра утром туда пойду и приведу Флаша», — писала она мистеру Браунингу.

Но скоро мисс Барретт поняла, что не так-то легко это осуществить. Добраться до Флаша оказалось ей почти так же трудно, как Флашу к ней прибежать. Вся Уимпол-стрит против нее сговори-лась. Похищение Флаша и условия Тэйлора стали достоянием гласности. Уимпол-стрит решила дать отпор проходимцам с Уайтчепел. Слепой мистер Бойд извещал, что, по его мнению, платить выкуп — «страшный грех». Отец и братья соединились против нее и готовы были на любое предательство в интересах своего класса. Но хуже — гораздо хуже — было то, что мистер Браунинг весь свой вес, весь свой пыл, всю свою ученость бросил на сторону Уимпол-стрит, против Флаша. Если мисс Барретт покорится Тэйлору, писал он, она покорится тирании, она покорится вымогательству; она поддержит силы зла против сил добра, порок против невинности. Если она пойдет навстречу условиям Тэйлора... «каково же будет людям бедным, у которых неостанет денег на выкуп их собак?» Воображение его разыгралось; он воображал, что бы сам он сказал Тэйлору, буде Тэйлор с него потребовал хотя бы пять шиллингов. Он бы сказал ему: «Вы отвечаете за безобразия, творимые вашей шайкой, и вам от меня не уйти — и лучше не говорите мне глупостей насчет отрезанных лап и голов. Не извольте сомневаться, я всю жизнь свою положу на то, чтобы вас обезвредить, это так же верно, как то, что я стою сейчас перед вами, и всеми возможными средствами я буду добиваться гибели вашей и гибели тех из ваших пособников, кого удастся мне обнаружить, но сами-то вы уже мне попались, и вперед я вас не выпущу из виду». Так мистер Браунинг ответил бы Тэйлору, если б имел удовольствие сойтись с этим джентльменом. Ибо, продолжал он, поспев со вторым письмом к следующей почте в тот же четверг, «...страшно по-

думать, как угнетатели всех рангов могут при желании играть чувствами слабых и безответных, выведав их тайную слабость». Он не порицает мисс Барретт, как бы она ни поступила, он все поймет и простит. И однако, продолжал он в пятницу утром, «...я почел бы это плачевной слабостью...». Поощряя Тэйлора, похищающего собак, она поощряет и Барнарда Грегори, губящего репутации. Косвенным образом она будет ответственна за всех тех несчастных, которые перерезали себе глотку или бежали на чужбину оттого, что какой-нибудь негодяй вроде Барнарда Грегори снял с полки адресную книгу и загубил их репутацию. «Но к чему нанизывать очевидности там, где и без того все яснее ясного?» Так мистер Браунинг бушевал и гремел дважды в день у себя на Нью-Кросс.

Лежа на кушетке, мисс Барретт читала его письма. Как легко было бы уступить, как легко сказать: «Ваше доброе мнение дороже мне сотни кокер-спаниелей». Как легко откинуться на подушки, вздохнуть: «Я слабая женщина; я ничего не смыслю в правах и законах; решите за меня». Всего-навсего не платить выкуп Тэйлору; бросить вызов ему с его «Обществом». А если Флаша убьют, если придет роковой сверток и оттуда вывалятся его голова, его лапы, — с нею рядом будет зато Роберт Браунинг, и он скажет ей, что она поступила похвально и заслужила глубокое его уважение. Но мисс Барретт не оробела. Мисс Барретт взялась за перо и разделала Роберта Браунинга. Вольно ему цитировать Донна, писала она; ссылаться на дело Грегори; сочинять остроумные отповеди мистеру Тэйлору — она и сама бы вела себя так же, буде Тэйлор обидел ее самое; буде этот Грегори ее ославил — да пусть их! Но что стал бы делать мистер Браунинг, если бандиты украли бы ее; держали у себя; грозили отрезать ей уши и послать по почте на Нью-Кросс? Он как хочет, а она решилась. Флаш беззащитен. Ее долг помочь. «Но Флаш, бедный Флаш, он так мне предан; вправе ли я жертвовать им, невиннейшим

существом, ради чести изобличить всех Тэйлоров, вместе взятых?» Что бы ни говорил мистер Браунинг, она решила спасти Флаша, даже если ей придется для этого броситься в разверстую пасть Уайтчепел, даже если мистер Браунинг осудит ее.

И потому в субботу, глядя в открытое письмо мистера Браунинга, лежавшее перед ней на столе, она начала одеваться. Она читала — «еще одно слово — ведь я тем самым восстаю против ненавистного владычества всех мужей, отцов, братьев и прочих угнетателей». Итак, отправляясь на Уайтчепел, она выступает против Роберта Браунинга и на стороне отцов, братьев и прочих угнетателей. Она продолжала меж тем одеваться. Во дворе выла собака. На цепи, во власти жестоких людей. В этом вое мисс Барретт чудилось: «Помни о Флаше». Она надела туфли, мантильку, шляпку. Еще раз заглянула в письмо. «...Мне предстоит жениться на Вас...» Собака все выла. Мисс Барретт вышла за дверь и стала спускаться по лестнице.

Навстречу ей попался Генри Барретт и сказал, что ее ограбят, убьют, если она поступит так, как она грозится. Она велела Уилсон вызвать пролетку. Уилсон, трепеща, покорилась. Пролетка подкатила к парадному. Мисс Барретт велела Уилсон сесть. Уверенная, что отправляется на смерть, Уилсон села. Мисс Барретт велела кучеру ехать на Мэннинг-стрит, в Шодитч. Мисс Барретт сама села в пролетку, и они отправились. Скоро остались позади цельные окна и двери красного дерева. Они очутились в мире, которого никогда прежде не видывала, о котором не подозревала мисс Барретт. Они очутились в мире, где под полом мычат коровы, где целые семьи ютятся в комнатах с выбитыми окнами; где воду пускают только дважды в неделю, где нищета и порок рожают нищету и порок. Они очутились в области, неведомой для почтенного кучера. Пролетка стала; кучер у трактира справился о дороге. Из дверей вышло несколько человек. «Вам, видать, к мистеру Тэйлору!» В этот загадочный мир пролетку с двумя дамами могло занести по одному-единственному поводу,

и уж понятно какому, по высшей степени неприятному поводу. Один из спрашивавших побежал обратно в дом и вышел, оповещая, что мистера Тэйлора «дома нету! Но не угодно ли войти?». Уилсон вне себя от ужаса молила ни о чем таком и не думать. Вокруг пролетки толпились мужчины и мальчишки. «Не угодно ли видеть миссис Тэйлор?» — спросила одна личность. Мисс Барретт не имела желаний видеть миссис Тэйлор; но тут на пороге появилась невероятной толщины особа, «судя по толщине ее, незнакомая с изнурительными угрызениями совести», и сообщила мисс Барретт, что муж ее в отсутствии; «может, через минуту-другую пожалует, а может, и через часок-другой — не угодно ль войти обождать?» Уилсон дернула ее за подол. Ждать у эдакой в доме! И в пролетке-то сидеть было тошно под взглядами этих мужчин и мальчишек. Итак, мисс Барретт вступила в переговоры с «бандиткой огромных размеров», не покидая пролетки. Она сказала, что ее собака — у мистера Тэйлора; мистер Тэйлор обещал вернуть собаку. Можно ли рассчитывать, что мистер Тэйлор доставит собаку на Уимпол-стрит сегодня же? «И не сомневайтесь», — отвечала толстуха с неотразимой улыбкой. Наверное, он как раз по этому делу и отлучился. И она «весьма грациозно мне покивала».

Пролетка повернула и оставила позади Мэннинг-стрит, Шодитч. Уилсон считала, что они «насилу живые отделались». Мисс Барретт и сама переволновалась не на шутку. «Шайка, очевидно, сильная. Общество, «любители»... прочно тут укоренились», — писала она. В голове ее теснились мысли, в глазах кружились картины. Так вот что обреталось позади Уимпол-стрит — эти лица, эти дома... Покуда она сидела в пролетке возле трактира, она увидела больше, чем видела за все пять лет своего заточения в спальне на Уимпол-стрит. «Эти лица!» — восклицала она. Они выжглись на ее зрачках. Они подстрекнули ее воображение, как «божественные мраморные духи» — бюсты над книжной полкой — никогда не могли его под-

стрекнуть. Здесь жили женщины; покуда она лежала на кушетке, читала, писала, вот так они жили. А пролетка уже снова катила мимо четырехэтажных домов. Мимо знакомых дверей и окон; мимо шлифованных кирпичей, медных дверных ручек, неизменяемых занавесей. По Уимпол-стрит, к пятидесятому номеру. Уилсон прыгнула на тротуар — и какое же счастье было снова оказаться в безопасности. Но мисс Барретт, наверное, мгновенно промедлила. Перед ней все стояли «эти лица». Они еще вернутся к ней годы спустя, когда она будет сидеть на балконе под солнцем Италии. Они вдохновят самые яркие страницы «Авроры Ли»¹. А покамест дворецкий распахнул дверь, и она пошла наверх по лестнице к себе в комнату.

В субботу был пятый день заточения Флаша. Почти изнемогший, почти отчаявшийся, лежал он, задыхаясь, в углу переполненной комнаты. Распахивалась и хлопала дверь. Раздавались хриплые крики. Визжали женщины. Попугаи болтали, как привыкли болтать со вдовами на Мейда-Вейл, но здесь злые старухи отвечали им бранью. В шерсти Флаша копошилась какая-то нечисть, но у него не было сил отряхиваться. Все прошлое Флаша, разные сцены — Рединг, теплица, мисс Митфорд, мистер Кеньон, книжные полки, бюсты, крестьяне на шторках — поблекли, растаяли, как тают снежные хлопья в котле. Если он и связывал с чем-то свои надежды, то с чем-то безымянным и смутным; с неясным лицом без черт, которое для него по-прежнему называлось мисс Барретт. Она по-прежнему существовала; все прочее в мире исчезло; она же по-прежнему существовала, но меж ними пролегла такая пропасть, которую едва ли она могла одолеть. Снова на него стала надвигаться тьма, такая тьма, что, казалось, раздавит последнюю его надежду — мисс Барретт.

И правда — силы Уимпол-стрит, даже и в эти последние мгновения, боролись против воссоеди-

¹ Стихотворный роман Элизабет Браунинг (1806—1861), посвященный теме равноправия женщины (1857).

нения мисс Барретт и Флаша. В субботу днем она лежала и ждала, что Тэйлор придет, как пообещала необъятная толстуха. И вот он пришел, но пришел без собаки. Он передал снизу – пусть мисс Барретт вперед выложит шесть гиней, и он сразу пойдет на Уайтчепел за собакой – «честное благородное слово». Чего именно стоило «честное благородное слово» мерзавца Тэйлора, мисс Барретт не знала, но «выхода не было»; на карте стояла жизнь Флаша. Она отсчитала шесть гиней и послала вниз Тэйлору. Но по воле несчастной судьбы, пока Тэйлор ждал в прихожей среди зонтов, гравюр, ковров и прочих ценных предметов, туда вошел Альфред Барретт. Увидев «мерзавца» Тэйлора у себя в доме, он вознегодовал. Он метал громы и молнии. Он обозвал его «мошенником, воров, обманщиком». На каковые определения мистер Тэйлор сумел достойно ответить. И – что значительно хуже – он поклялся «спасением своей души, что нам не видать нашей собаки», и выбежал вон. Значит, наутро ожидался окровавленный сверток.

Мисс Барретт поспешно оделась и кинулась вниз. Где Уилсон? Пусть найдет пролетку. Она тотчас отправится на Мэннинг-стрит. Семейство бросилось ее удерживать. Темнеет. Она и так устала. Предприятие и для здорового мужчины рискованное. С ее стороны – это просто безумие. Так они ей говорили. Братья, сестры обступили ее, и грозили, и убеждали, «орали, что я „безумица“, упряма и зла, – меня честили не хуже, чем мистера Тэйлора». Она стояла на своем. В конце концов они осознали ее неვნемлемость. Что бы это ни повлекло за собой, ей следовало уступить. Септимус обещал, если Ба вернется к себе и успокоится, пойти к Тэйлору, заплатить деньги и привести собаку.

И вот сумерки пятого сентября сгустились и настала ночь на Уайтчепел. Опять распахнулась дверь, вошел тот, косматый, и за шкирку выволок Флаша из угла. Глядя на ненавистную физиономию старого врага, Флаш не знал, ведут ли его навстречу гибели или свободе. И если б не одно зыбкое

воспоминание, ему было бы, в общем, уже все равно. Враг нагнулся. Зачем корявые пальцы ощупали горло Флаша? Нож у него в руках или поводок? Спотыкающегося, валкого, чуть не лучшего Флаша вывели на волю.

На Уимпол-стрит мисс Барретт совсем лишилась аппетита. Жив ли Флаш? Она не знала. В восемь часов в дверь постучали; как всегда — письмо от мистера Браунинга. Но когда дверь отворили, чтоб впустить письмо, в комнату метнулось еще что-то: Флаш. Он тотчас устремился к красной мисочке. Ее три раза наполняли; а он все пил. Мисс Барретт смотрела, как пьет грязная, затравленная собачонка. «Он не так мне обрадовался, как я ожидала», — заключила она. Нет, у него было одно-единственное желание — напиться чистой воды.

Но ведь мисс Барретт только мельком видела лица тех людей и запомнила их навсегда. А Флаш был в их власти почти пять суток. И когда он снова очутился здесь, на подушках, он, кажется, уже ничего не хотел, кроме свежей воды. Он пил не переставая. Прежние пенаты — книжная полка, шкаф, бюсты, — кажется, утратили для него смысл. Комната уже не составляла весь мир; она была лишь укрытие. Лишь овражек рядом с дрожащим листком посреди глухого леса, где затаились звери и чудища; где под каждым кустом залег разбойник и враг. Флаш лежал, опустошенный, в ногах у мисс Барретт, а вой заточенных собак и отчаянные вопли птиц еще звучали у него в ушах. Отворялась дверь, и он вздрагивал, боясь, что войдет тот, косматый, с ножом. То был просто мистер Кеньон с книгой; то был просто мистер Браунинг со своими желтыми перчатками. Но теперь он сжимался при виде мистера Кеньона и мистера Браунинга. Он им больше не верил. За их улыбками скрывались жестокость, предательство и обман. Ласки их ничего не значили. Он даже боялся теперь ходить с Уилсон к почтовой тумбе. Он не мог и шагу ступить без поводка. Когда ему говорили: «Бедный Флаш, злые люди тебя украли, да?» — он поднимал голову и выл и скулил. Заслышав свист

хлыста, он кидался вниз по подвальным ступенькам. Дома он все жался к мисс Барретт. Она одна его не предала. В нее он пока еще веровал. Постепенно он снова ее обретал. Замученный, дрожащий, грязный и страшно тощий, он лежал на кушетке у ее ног.

Шли дни, Уайтчепел стиралась из памяти, и Флаш, лежа рядом с мисс Барретт на кушетке, читал в ее мыслях даже яснее, чем прежде. Их разлучали; и вот они снова вместе. Право же, никогда не были они так близки. Каждый жест ее, каждое движение отзывались в его душе. А теперь она словно все время была в движении. Когда ей принесли пакет, она просто спрыгнула с кушетки. Она вскрыла пакет; трясущимися пальцами вытащила оттуда грубые башмаки. И тотчас запрятала поглубже в шкаф. И снова легла на кушетку. С Флашем наедине она встала и вынула из ящика стола бриллиантовое ожерелье. Вынула шкатулку с письмами мистера Браунинга. Положила башмаки, ожерелье и письма в картонку и — заслышав шаги на лестнице — затолкала ее под кровать, и поскорее легла, и снова укрылась шалью. Эта таинственность, эти маневры предвещали, чувствовал Флаш, важные перемены. Неужто они убегут отсюда оба? Оба покинут страшный мир, где похищают собак, где господствует тирания? О, если бы! Он дрожал и возбужденно скулил; но мисс Барретт тихим голосом призывала его к молчанию, и он затихал. Сама она, тоже очень тихо, лежала на кушетке, когда входили братья и сестры; она лежала и беседовала с мистером Барреттом, как она всегда беседовала с мистером Барреттом.

Но в субботу двенадцатого сентября мисс Барретт сделала то, чего Флаш от нее не ожидал. Сразу после завтрака она оделась для выхода. Более того, по выражению ее лица, пока она одевалась, он совершенно ясно понял, что его с собой не берут. Какие-то у нее были от него тайны. В десять часов Уилсон вошла в комнату. Они вышли вместе; Флаш лежал и ждал, когда

они вернутся. Через час приблизительно мисс Барретт вернулась — одна. На него она и не взглянула, она словно не замечала ничего вокруг. Она сдернула перчатки, и на мгновение в глаза ему сверкнуло золотое кольцо на ее левой руке. Потом он увидел, как она сняла кольцо и сунула во тьму ящика. А потом она, как всегда, легла на кушетку. Он лежал рядом, не смеядохнуть, ибо что бы ни случилось — а что-то определенно случилось, — следовало любой ценой держать в тайне.

Жизнь в спальне любой ценой должна была идти как всегда. И все меж тем изменилось. В каждом взмахе шторы мерещился Флашу сигнал. Свет и тени скользили по бюстам поэтов, и те смотрели хитро и всезнающе. Все в комнате будто готовилось к переменам; готовилось к важным событиям. И все таилось; все скрывалось. Как всегда, приходили и уходили братья и сестры; мистер Барретт, как всегда являлся по вечерам. Как всегда, проверял, выпито ли вино, съеден ли цыпленок. Мисс Барретт смеялась и болтала, когда в комнате кто-нибудь был, и виду не показывала, что она что-то скрывает. А когда они оставались одни, она вытаскивала из-под кровати картонку и воровато, прислушиваясь, что-то совала в нее. Она безусловно нервничала. В воскресенье звонили церковные колокола. «Это где же звонят?» — спросил кто-то. «В Марилебондской церкви», — сказала мисс Генриетта. И мисс Барретт — Флаш видел — побледнела как полотно. А другие ничего не заметили.

Так прошел понедельник, и вторник, и среда, и четверг. И все они притворялись обычными днями — те же были молчание, еда, разговоры, то же лежание на кушетке — как всегда. Флаш беспокойно ворочался во сне, ему снились папоротники в глухом лесу, и они с мисс Барретт там прятались вместе; потом папоротники раздвинулись, и он проснулся. Еще не рассвело; в темноте он различил Уилсон, она осторожно вошла, достала из-под кровати картонку и унесла. Это было ночью в пятницу восемнадцатого сентября. Все субботнее утро он

пролежал так, как лежишь, зная, что вот-вот упадет платок, прошуршит тихий свист — будет дан неотвратимый сигнал. Он смотрел, как одевается мисс Барретт. Без четверти четыре дверь отворилась и вошла Уилсон. Сигнал был дан — мисс Барретт взяла его на руки. Она поднялась и пошла к двери. Здесь была кушетка и кресло мистера Браунинга. Были столики, бюсты. Солнце сквозило сквозь листву плюща, и вздувались шторы с крестьянами. Все как всегда. Все, замерев, ожидало еще миллионов точно таких же мгновений; но для мисс Барретт и Флаша это было — последнее. Очень тихо мисс Барретт затворила дверь.

Очень тихо они скользнули вниз по лестнице, мимо гостиной, библиотеки, мимо столовой. Все выглядело как всегда; пахло как всегда; все было тихо и будто дремало под теплым сентябрьским солнцем. На подстилке в прихожей лежал Катиллина и тоже дремал. Вот дошли до парадной двери и очень тихо повернули ручку. За дверью ждала пролетка.

— К Ходчсону, — сказала мисс Барретт. Почти шепнула. Флаш затих у нее на коленях. Ни за что на свете не нарушил бы он этого страшного молчания.

Глава пятая

ИТАЛИЯ

Потом часами, днями, неделями, наверное, был грохот тьмы, вдруг прорезаемой светом; и опять длинные полосы мрака; и нещадная качка; и вылазки впопыхах на свет, к всходившему над ними лицу мисс Барретт, и к хилым деревцам, и рельсам, и высоким, в точках огней, домам — ибо в ту пору на железной дороге царил дикарский обычай — собак перевозили в ящиках. Однако Флаш не робел. Они ведь спасались бегством. Они убегали от тиранов и похитителей. Грохочи, грохочи, скрежещи, грохочи на здоровье, урчал он, пока поезд

швырял его из стороны в сторону; нам бы только убраться подальше от Уимпол-стрит и Уайтчепел. Потом все вдруг наполнилось светом; грохот смолк. Флаш услышал, как поют птицы и вздыхает ветер в листве. Или это шумела вода? Наконец он открыл глаза, встряхнулся, и взору его предстало непостижимое зрелище. Мисс Барретт была на камне посреди шумящих вод. Над ней склонялись деревья. Кругом бушевала река. Мисс Барретт, конечно, грозила опасность. Одним рывком Флаш одолел поток и оказался с нею рядом. «...Он принял крещение в честь Петрарки», — сказала мисс Барретт, когда он вскарабкался на камень и устроился с нею рядом. Ибо дело происходило в Воклюзе; она обосновалась на камне посреди источника Петрарки.

И опять был грохот и скрежет; и опять его вывели на твердую землю; тьма расступилась; на него хлынул свет. Живой, наяву, сам себе не веря, он стоял на рыжеватых плитах огромной, плывущей в солнечном сиянии комнаты. Он обежал ее, исследовал носом и лапами. Оказалось: ни ковра, ни камина. Ни кушеток, ни кресел, ни книжных полок, ни бюстов. Пряный, неведомый запах ударял ему в ноздри, и он расчихался. Свет, безмерно резкий, отчетливый, слепил ему глаза. Никогда еще не случалось Флашу бывать в комнате — если это, конечно, была комната — такой твердой и яркой, большой и пустой. Мисс Барретт на стуле у стола посерединке казалась совсем крошечной. Потом Уилсон вывела его погулять. Его чуть не ослепило солнце, а потом тень. Половина улицы была немислимо жаркая; на другой был отвратительный холод. Женщины кутались в меха, но прикрывались от солнца зонтиками. И вся улица была совершенно сухая. В середине ноября нигде не замечалось ни лужи, где можно промочить лапы, ни грязи, которая липнет всегда на очесы. И ни колышков; ни полуподвальных дворики. И не было этих мучительно путаных запахов, которые так будоражат тебя во время прогулок по Уимпол-стрит и Оксфорд-стрит. Зато от каменных

острых выступов, от желтых сухих стен веяло чем-то чужим, непонятным и увлекательным. Потом колыханье черного занавеса обдало его чем-то неотразимым; запах выкатывался волнами; Флаш замер; он сделал стойку; он внюхивался, он наслаждался; его неодолимо влек этот запах, и он юркнул под занавес. На миг мелькнула огнями гулкая впадина огромной залы; но Уилсон с истошным криком уже выдернула его обратно. И снова они шли по улице. Улица оглушала. Будто все вместе, надсаживаясь, орали наперебой. Взамен ровного снотворного жужжания Лондона все здесь грохотало, ухало, звякало, тренькало, стучало, щелкало и звенело. Флаш кидался туда-сюда, волоча за собой Уилсон. Их раз двадцать теснили с панели на мостовую и обратно — то тележка, то вол, то отряд солдат, то стадо коров. Он сразу помолодел, он стряхнул с себя несколько лет. Ошалелый, радостный, он рухнул на рыжеватые плиты и заснул таким крепким сном, каким никогда не спал на подушках в спальне на Уимполстрит.

Но скоро Флашу открылось еще более важное отличие Пизы — ибо именно в Пизе они поселились — от Лондона. Собаки тут были другие. В Лондоне, бывало, он до почтовой тумбы не мог пройти, не повстречав по дороге мопса, бульдога, колли, ньюфаундленда, сенбернара, фокса или представителя одного из семи славных ответвлений семейства спаниелей. И про каждую собаку он знал, кто есть кто и какое занимает положение на общественной лестнице. А тут, в Пизе, собак была тьма, но все — не поймешь, что такое; все — возможно ли? — были дворняги. Насколько он понимал, это были просто собаки — серые, рыжие, пятнистые, полосатые; и среди них нельзя было распознать ни единого спаниеля, колли, дога или фокстерьера. Значит, деятельность Собачьего Клуба не распространяется на Италию? А про Клуб Спаниелей тут и не слыхивали? И нет тут закона, который карает беспощадно вихор, осуждает кудрявые уши, одобряет очесы на лапах и строго

предписывает плавный переход ото лба к носу? Да, как видно, такого закона тут не знали. Флаш ощутил себя принцем в изгнании. Он был одинокий аристократ среди сплошных саpaille¹. Он был единственный чистокровный кокер-спаниель во всей Пизе.

За долгие годы Флаш привык себя считать аристократом. Закон красной мисочки и поводка глубоко укоренился в его душе. И неудивительно, что сейчас он был несколько обескуражен. Не станем же мы осуждать какого-нибудь Говарда или Кавендиша, если, оказавшись среди убогих туземцев, жителей грязных лачуг, он нет-нет и вспомнит свой Четсворт и нежно взгрустнет по красным коврам и по галереям, куда закат, подпалив витражи, бросает герцогские короны. Флаш был чуточку суетен, надо признаться; мисс Митфорд давно за ним замечала; и качество это, подавляемое в Лондоне среди высших и равных, теперь дало себя знать, когда он ощутил себя избранным. Он стал надменен и дерзок. «Флаш превратился в абсолютного монарха и нещадно облаивает вас, когда велит вам открыть ему дверь, — писала миссис Браунинг. — Роберт, — продолжала она, — уверяет, будто вышеозначенный Флаш считает, что он, мой муж, для того и создан, чтоб угождать Флашу, и, кажется так оно и есть».

«Роберт». «Мой муж». Пусть Флаш изменился, но и мисс Барретт изменилась тоже. Она не только называла себя теперь миссис Браунинг; не только играла на солнце золотым кольцом; она вообще изменилась не меньше Флаша. Флаш слышал это ее «Роберт, мой муж» по пятьдесят раз на дню, и каждый раз голос ее звенел такой гордостью, что у него даже вздыбливалась холка и падало сердце. Но не в словах и не в голосе дело. Она просто стала совершенно другим человеком. Раньше, например, она едва пригубит наперсток портвейна и потом жалуется на головную боль, а теперь

¹ Сброд, чернь (фр.).

опрокинет целый стаканчик кьянти и спит как убитая. Теперь на столе в столовой пылали апельсинные ветки — и это взамен желтого, голенького, кислого апельсинчика. Раньше она вызывала ландо, чтоб добраться до Риджентс-парка, а теперь надевала грубые башмаки и карабкалась по скалам. Раньше карета мерно везла их по Оксфорд-стрит, а теперь ненадежная колымага с грохотом несла вниз, на берег озера, любоваться горами; и когда она уставала, она не кликала снова пролетку; она садилась на камень и разглядывала ящериц. Она блаженствовала на солнышке; она блаженствовала в тени. Она подбрасывала в камин сосновых поленьев из герцогского леса, когда было холодно. И они садились у потрескивающего огня и впивали крепкий, терпкий запах. Она не уставала сравнивать Италию с Англией не в пользу последней. «...Бедные наши англичане! — восклицала она. — Надо их научить радоваться. Надо их закалять — не на огне, а на солнце». Здесь, в Италии, была воля и жизнь, была радость, порожденная солнцем. Здесь никто не ругался, никто не дрался и не было видно пьяниц; «эти лица» из Шодитча опять вставали у нее перед глазами. Она вечно сравнивала Пизу с Лондоном и говорила о том, насколько больше ей нравится Пиза. Здесь хорошенькая женщина может ходить по улице без провожатых; знатные матроны сперва собственноручно выливают помои, а потом отправляются ко двору «в блеске неоспоримой изысканности». Пиза, ее колокола, дворняги, верблюды и боры были куда привлекательней, чем Уимпол-стрит, и двери красного дерева, и говяжий филей. И каждый день, опрокинув стаканчик кьянти и сорвав с ветки очередной апельсин, миссис Браунинг хвалила Италию и жалела бедную, скучную Англию, бессолнечную, безрадостную, где такая дороговизна и обременительные условности.

Правда, Уилсон, надо сказать, какое-то время оставалась верна Британии. Дворецкие, и кухни в полуподвалах, и двери красного дерева не без труда были вычеркнуты ею из памяти. Она сочла

необходимым выскочить из картинной галереи, ибо «до того неприличная у них эта Венера». И потом еще, когда благодаря любезности своей подруги она получила возможность в щелку поглядеть на герцогское великолепие, она и то не сдалась. «А бедно у них, — отнеслась она о Дворе Великого Герцога, — у нас Сент-Джеймский дворец богаче будет». Да, но она смотрела-смотрела, и взор ее упал на неотразимую фигуру одного из герцогских телохранителей; сердце ее вспыхнуло; суждения тотчас переменялись; критерии рушились. Лили Уилсон влюбилась без памяти в сеньора Ригхи из герцогской стражи.

Но в точности как миссис Браунинг изучала свои новые свободы и наслаждалась открытиями, Флаш тоже делал открытия и изучал свободную жизнь. Еще в Пизе — а весной 1847 года они перебрались во Флоренцию — Флаш постиг страшную истину, которая на первых порах удручала его: закон Собачьего Клуба не есть всеобщий закон. Он пришел к заключению, что легкий вихор не всегда непростителен. Соответственно он пересмотрел весь свой моральный кодекс. Он стал руководиться, сперва с некоторой оглядкой, своими новыми представлениями о структуре собачьего общества. День ото дня он делался демократичней. Еще в Пизе миссис Браунинг замечала, что он «...ежедневно выбегает на улицу и беседует с собачками по-итальянски». А теперь, во Флоренции, старые пути все до ниточки спали с него. Миг раскрепощения настал в один прекрасный день в Касцинском парке. Он носился по «яркой изумрудной мураве» наперегонки с «фазанами, трепетными и быстрыми», и вдруг он вспомнил Риджентс-парк и воззвание: «Собаки должны ходить только на цепи». Ну и где теперь это «должны»? Где теперь цепи? Где зрители со своими дубинками? Их нет — и нет собачьих воров, и Собачьего Клуба, и Клуба Спаниелей — прислужника развращенной аристократии! Нет пролетов, ландо и нет Мэннинг-стрит, нет Уайтчепел! Он скакал, он носился; шерсть его пламенела; сверкали

глаза. Он стал другом всему миру. Все собаки были теперь его братья. Здесь, в этом новом мире, ему не нужен был поводок; он не нуждался в защитниках. Если мистер Браунинг мешкал, когда настаивал час прогулки — теперь их с Флашем связывала теснейшая дружба, — Флаш его призывал к порядку. Он «становится перед ним и лает весьма повелительно», — замечала миссис Браунинг не без досады, ибо собственные ее отношения с Флашем во многом утратили нежность былых времен, когда рыжая шерсть его и сияющий взор восполняли то, чего ей не хватало; теперь настоящий Пан поджидал ее в тени олив и вертоградов; а вечером был опять тут как тут и вслушивался в ароматное потрескивание сосны. Итак, если мистер Браунинг медлил, Флаш становился против него и лаял; но если мистер Браунинг предпочитал посидеть дома и посочинять — не беда. Флаш был теперь независим. Глициния и раakitник цвели вдоль заборов, в садах пламенело иудино дерево; луга искрились тюльпанами. Чего же ждать? И он убежал один. Он теперь был сам себе хозяин. «...Он уходит один и пропадает часами, — писала миссис Браунинг. — ...Он знает все улицы во Флоренции и настаивает на независимости. Я нисколько не тревожусь, когда его нет», — заключала она, с улыбкой вспомнив мучительные часы ожидания на Уимпол-стрит и бандитов, которые нороят выхватить собаку прямо из-под колес, стоит тебе зазеваться. Во Флоренции не было места страху; не было собачьих воров и — вздыхала она, вероятно, — не было отцов.

Но если уж говорить откровенно — не для того, чтоб любоваться живописью, вступать под сумрачные церковные своды и разглядывать темные фрески, убежал Флаш за дверь Casa Guidi, когда ее оставляли открытой. Он спешил насладиться кое-чем, отыскать кое-что, в чем ему долгие годы было отказано. Он уже слышал охотничий рог Венеры однажды в полях Беркшира; он полюбил тогда сучку мистера Партриджа; она ему принесла потомство. И теперь тот же голос звенел над

узкими флорентийскими улочками, но куда повелительней, куда более властно — промолчав столько лет. И Флаш познал то, чего не дано познать человеку, — любовь чистую, любовь простую, любовь в полном смысле слова; любовь, которая не отягчена заботой; не знает стыда; ни отрезвляясь; налетела — и нет ее; как пчела на цветке — налетела и нет. Нынче цветок этот роза, завтра лилия; то дикий болотный чертополох, то оранжерейная орхидея, пышная и торжественная. Так бездумно, свободно ласкал Флаш то пеструю спаниелиху со своей улицы, то полосатую собаку, то рыжую — не важно. Для Флаша все они были равны. Он устремлялся на звук рога, откуда б ни доносил его ветер. Любовь — это всё; любовь — сама себе цель. И никто не осуждал Флаша за его эскапады. Мистер Браунинг только посмеивался («и не совестно? ведь порядочный, кажется, пес»), если Флаш заявлялся за полночь или вовсе под утро. И миссис Браунинг тоже смеялась, глядя, как Флаш валится на пол в спальне и засыпает мертвецким сном на мозаичном гербе семейства Гуиди.

Ибо в Casa Guidi в комнатах все было голо. Куда-то девались переодетые вещи дней отшельничества и заточенья. Кровать тут была кроватью, умывальник — умывальником. Каждый предмет был самим собою и ни во что не рядился. В просторах гостиной терялись несколько старинных резных стульев черного дерева. Над камином висело зеркало, а по бокам два амура держали свечи. Сама миссис Браунинг забросила свои индийские шали. Она носила теперь тюрбан из яркого, тонкого шелка, который нравился ее мужу. Она теперь по-иному причесывалась. И когда пряталось солнце и открывались ставни, она выходила на балкон в белом легком платье. Она любила сидеть на балконе, смотреть, слушать, наблюдать.

Вскоре по приезде их во Флоренцию, как-то под вечер, снизу, с улицы налетел такой шум, что они выбежали на балкон. Внизу бурлила толпа. Несли знамена, кричали и пели. Из окон высывались; свешивались с балконов; те, кто в окнах,

кидали цветы и лавровые ветки тем, кто на улице; а те, кто на улице — торжественные мужчины, веселые юные женщины, — целовались и простирали своих детишек тем, кто стоял на балконах. Мистер и миссис Браунинг приникли к перилам и хлопали, хлопали. Плыли знамена; факелы их озаряли. «Свобода» — было начертано на одном знамени; «Единая Италия» — на другом; и еще «Помни о жертвах» и «Viva Pio Nonno!»¹ и «Viva Leopoldo Secondo!»² — три часа с половиной проплывали знамена, и люди кричали, и мистер и миссис Браунинг стояли на балконе, где горело шесть свечей, и махали, махали. Какое-то время Флаш, лежа между ними и свеся лапы между перил, пытался добросовестно ликовать. Но вот — он не мог этого скрыть — он зевнул. «Он признал наконец, что торжество, на его взгляд, чересчур затянулось», — заметила миссис Браунинг. Усталость, сомнение, цинизм им овладели. И к чему это все? — спрашивал он себя. Кто этот Великий Герцог? И что он им обещал? И чему тут радоваться? Ибо его, надо сказать, раздражало, что миссис Браунинг с таким неумным пылом машет этим знаменам. Великий Герцог, казалось ему, не стоил подобных восторгов. А потом, когда проходил сам Великий Герцог, Флаш заметил, что у парадной двери задержалась собачка. Воспользовавшись тем, что миссис Браунинг совсем увлеклась, он улизнул с балкона и сбежал вниз. Лавируя среди толпы и знамен, он устремился за нею. Она убегала все дальше, к самому сердцу Флоренции. Удалялись, таяли голоса, глохло ликованье толпы. Растворились огни факелов. Только редкие звезды подпрыгивали на ряби Арно и мигали Флашу, который лежал на грязном берегу под сенью старой корзины рядом с пестрой спаниелихой. Так лежали они в любовной истоме, пока не встало солнце. Флаш явился домой только в девять утра, и миссис Браунинг встретила его не без иронии — мог бы

¹ Да здравствует Пий Девятый! (ит.)

² Да здравствует Леопольд Второй! (ит.)

хоть вспомнить, считала она, что сегодня ровно год со дня ее свадьбы. Но, она заметила, «вид у него был чрезвычайно довольный». Что ж. И правда. Сама она находила непонятное удовольствие в топоте тысячных толп, посулах Великого Герцога и зыбком стремленья знамен, Флашу же куда больше понравилась остановившаяся у двери собачка.

Спору нет, миссис Браунинг и Флаш в своих плаваниях открыли совершенно разные земли: она — Великого Герцога, он — пеструю спаниелиху; однако узы, их связывавшие, продолжали крепко держать. Едва Флаш успел распрощаться со всеми «должны», носясь по изумрудной мураве Касцинских садов, где багрецом и золотом вспыхивали фазаны, как его одернули. Снова его оттянули назад, его осадили. Началось с пустяка — с намёка, — просто миссис Браунинг весной 49-го года вдруг взялась за иголку. Но что-то тут не понравилось Флашу. Она вообще не имела обыкновения шить. Он увидел, как Уилсон двигала кровать, и она выдвигала ящик комода и складывала туда какие-то белые вещи. Подняв голову с рыжеватых плит, он смотрел, он внимательно вслушивался. Неужто опять что-то стряется? Он в тревоге ждал, как бы не начали паковать саквояжи. Неужто снова бежать, снова спастись? Спастись — но куда, от чего? Здесь им бояться нечего, убеждал он миссис Браунинг. Здесь, во Флоренции, они оба могут спокойно забыть и про мистера Тэйлора, и про кровавые свертки с собачьими головами. Он, однако, совершенно запутался. Перемены, насколько он в них разбирался, не предвещали бегства. Перемены, таинственным образом, говорили об ожидании. Глядя, как миссис Браунинг спокойно, но чересчур уж прилежно водит иголкой, сидя в своем низком кресле, он чувствовал, что надвигается неизбежное, и ему становилось не по себе. Катились недели. Миссис Браунинг почти не выходила из дому. Будто ждала рокового события. А вдруг нагрянет кто-то такой вроде Тэйлора, и он обидит ее, застигнув одну, без защитника? От этой мысли Флаша бросало в дрожь. Да, бежать

она, по всей видимости, не собиралась. Саквояжей не укладывали. Непохоже было, что кто-то хочет покинуть дом, скорее наоборот — кто-то должен явиться. Флаш с ревнивой тревогой оглядывал каждого гостя. Их было много теперь — мисс Блэгден, мистер Ландор, Хэтти Хосмер, мистер Литтон, — очень много дам и господ посещали теперь Casa Guidi. А миссис Браунинг целыми днями сидела в кресле и шила.

И вот однажды в начале марта миссис Браунинг вовсе не появилась в гостиной. Приходили и уходили другие. Приходили и уходили Уилсон и мистер Браунинг. И они приходили и уходили с такими ужасными лицами, что Флаш забился под кушетку. Кто-то бегал вверх-вниз, по лестнице летал шепот, чужие задушенные голоса. Наверху, в спальне, шаркали. Флаш все глубже забивался во тьму под кушеткой. Каждой жилкой он ощущал, как что-то меняется, происходит страшное что-то. Так же точно давным-давно он ждал, когда под дверью замрут шаги незнакомца в капюшоне. И дверь распахнулась тогда, наконец и мисс Барретт вскрикнула: «Мистер Браунинг!» Но кто теперь еще явится? Какой еще незнакомец? День клонился к вечеру, а про Флаша забыли. Он валялся в гостиной — непоеный, некормленный; и пусть бы хоть тысячи пестрых спаниелей обнюхивали сейчас порог — он бы просто от них отшатнулся. Ибо к концу дня им все более овладевало чувство, что в дом снаружи ломится что-то. Он глянул из-под бахромы. Амуров-факельщиков, резные стулья черного дерева — всех будто расшвыряли друг от друга подальше, и самого его тоже будто отбросили к стенке, расчищая место для чего-то невидимого. Вот промелькнул мистер Браунинг; но мистер Браунинг был на себя не похож; вот промелькнула Уилсон — но Уилсон тоже переменялась, словно оба воочию видели то, что не видел, но угадывал он.

Наконец Уилсон, вся красная, растрепанная, но ликующая, взяла его на руки и понесла наверх. Они вошли в спальню. Что-то слабенько бляло

в затененной комнате — что-то трепыхалось на подушке. Живое. Без всякой их помощи, не открывая парадной двери, сама по себе, одна, миссис Браунинг преобразилась в двоих. Что-то неприличное мяукало и трепыхалось с нею рядом. Раздираемый гневом, и ревностью, и глубоким отвращением, которого он не умел скрыть, Флаш вырвался из рук Уилсон и бросился вниз. Уилсон и миссис Браунинг звали его; соблазняли ласками, обещали вкусно угостить — все напрасно. Он при каждом удобном случае прятался от ненужного зрелища, отталкивающего создания, в потемках кушетки или в укромном углу. «...На две недели целых он впал в глубокую тоску и не отвечал на знаки внимания, которые ему расточали», — была принуждена заметить миссис Браунинг среди новых своих забот. А если мы, как нам и должно, возьмем наши минуты и часы, переведем на собачий счет и посмотрим, как минуты взбухают часами, а часы сутками, — мы заключим без малейшей натяжки, что «глубокая тоска» Флаша длилась полгода по человечесьему времени. Многие мужчины и женщины скорей забывают и свою ненависть, и свою любовь.

Однако Флаш был уже не прежний олух и неуч с Уимпол-стрит. Он получил кой-какие уроки. Уилсон однажды его поколотила. Он съел однажды зачерствевшие бисквиты, тогда как мог съесть их и свежими; он поклялся любить и не кусать. Все это взбивалось у него в голове, пока он лежал под кушеткой; и наконец он вышел на свет. И снова был вознагражден. Награда на сей раз, надо признаться, на первых порах показалась ему весьма скромной, если не сказать унижительной. Мальшиа усадили к нему на спину, и он должен был его катать, а тот его дергал за уши. Но Флаш претерпевал это так благородно, поворачиваясь, когда его дергали за уши, только затем, «чтобы поцеловать голые пухлые ножки», что не прошло и трех месяцев, как беспомощный, слабенький, писклявый, слюнявый детеныш стал отличать его — «в общем» (по свидетельству миссис Браунинг) среди

всех других, а потом уж, к собственному своему удивлению, Флаш и сам привязался к малышу. Разве нет меж ними сродства? Разве малыш не близок во многом Флашу? не сходные ли у них понятия, не общие вкусы? Пейзаж, например. Флашу решительно всякий пейзаж казался неинтересен. Он так и не научился за эти годы любоваться горами. Когда его взяли на Валломброзу, лесные прелести только нагнали на него скуку. И вот, когда малышу было несколько месяцев, они снова сели в карету и отправились в бесконечное странствие. Малыш лежал на руках у кормилицы; Флаш сидел на коленях у миссис Браунинг; карета взбиралась все выше и выше к Апеннинским вершинам. Миссис Браунинг была просто вне себя от восторга. Она буквально не могла оторваться от окна. Среди всех богатств родного языка она не могла найти слов, которые бы отразили ее впечатления. «...Немыслимые, почти нездешние Апеннины, дивная смена красок и очертаний, внезапные превращения гор и живая физиономия каждой, каштановые леса, словно от собственной тяжести низвергающиеся с кручи, скалы, расщепленные бегом ручьев, и горы, горы, горы над горами разворачивают свое величие, как бы сами собой, от усилия меняясь в цвете...» — да, поистине, красоты Апеннин рождали сразу столько слов, что с разгона они сшибались и давили друг друга. Но младенец и Флаш не испытывали ни вдохновений этих, ни этих мук слова. Они оба молчали. Флаш «отвернулся от окна, решив, что смотреть положительно не на что. Он гордо презирает деревья и горы и прочее в этом роде», — заключила миссис Браунинг. Карета грохотала все выше. Флаш уснул, и младенец уснул. Потом вдруг мимо поплыли огни, и дома, и мужчины, и женщины. Въехали в деревню. Тотчас Флаш восторженно вскрикнул, «он с любопытством таранил глаза, он посмотрел на восток, посмотрел на запад, будто делал заметки или собирался для них с мыслями». Его занимали сцены из жизни, не красота. Красоте — нам, по крайней мере, так кажется — надо было

еще выпасть лиловой ли, зеленой пылью, ее надо было еще вспрыснуть неким небесным шприцем в бахромчатые ходы у него за ноздрями, чтоб она покорила воображение Флаша. Но и так рождала она не слова, а немой восторг. Когда миссис Браунинг видела, он чуял; когда она писала — он нюхивался.

Здесь, однако, биограф должен приостановиться. Если для передачи зрительных впечатлений нам порой недостает и наших нескольких тысяч слов — вот ведь миссис Браунинг призналась относительно Апеннин: «Нет, я не могу передать, что это такое», — то для описания запахов мы обходимся всего-то несколькими словами. Вообще неизвестно, для чего человеку нос. Величайшие поэты мира не нюхивали ничего, кроме роз, с одной стороны, и навоза — с другой. Тончайшие же оттенки промежуточных запахов в поэзии так и не отобразились. А Флаш жил главным образом в царстве запахов. Любовь была прежде всего запах; музыка, зодчество, политика, право, наука — все было запах. Для него и религия сама была запах. Описать простейшие его впечатления от ежедневного мяса или бисквита решительно нам не дано. Мистер Суинберн и тот не сумел бы выразить, о чем говорили Флашу запахи Уимпол-стрит в жаркий июньский день. Ну а насчет того, чтобы изобразить запах молодой спаниелихи, спутанный с запахом факелов, лавров, ладана, знамен, восковых свечей и гирлянды из розовых листьев, раздавленной каблучком полежавшей в нафталине шелковой туфельки, — то разве что Шекспир, приостановившись над строками «Антония и Клеопатры»... но Шекспир не приостанавливался. И потому, признавшись в своей беспомощности, мы можем только заметить, что Италия для Флаша в эту его самую зрелую, вольную, счастливую пору означала прежде всего бездну запахов. Любовный пыл, надо думать, утих с годами. Запахи оставались. И вот, когда семейство опять мирно зажило в Casa Guidi, каждый предался любимым занятиям; мистер Браунинг вечно писал в одной комнате, миссис Бра-

унинг вечно писала в другой. Малыш играл в детской. А Флаш слонялся по флорентийским улицам, упиваясь запахами. Он бродил по главным улицам и по окраинам, по площадям, закоулкам, гоняясь за запахами; они все время менялись; были запахи шершавые, гладкие, темные, золотые. Он плутал там и сям, повсюду; где чеканят медь, где пекут хлеб, где женщины сидят и расчесывают волосы, где птички клетки громоздятся одна на другой на панели, где вино растекается по мостовой густо-красными лужами, где пахнет упряжью, чесноком и кожей, где валяют сукно, и дрожит виноградный лист, и мужчины пьют, икают, бросают кости — всюду он бегал, уткнувши нос в землю и впитывая суть вещей или воздев кверху нос, трепещущий от благовоний. Он сворачивался калачиком на горячем припеке — о, какой солнце умеет выманить запах из камня! Он прятался под тенистой аркой — каким острым запахом камень отдает в тени! Он гроздьями пожирал спелый виноград, ради его пурпурного запаха; он жевал и сплевывал самые жалкие объедки козлятины и макарон, которые итальянские хозяйки швыряли с балконов, — у макарон с козлятиной был запах надрывный, малиновый. Он шел на обморочную сладость ладана в лиловатую путаницу темных соборов и, внюхиваясь, слизывал лужи золота, пролившегося на усыпальницы с витражей. И осязание у него было не менее тонко. Он знал мраморную гладкость Флоренции и шершавость ее гравия и булыжника. Тяжелые складки древних одежд, гладкие каменные стопы и пальцы он дарил вниманием ласкового языка, теплом трепетной морды; на чутких подушечках лап он уносил четкие отпечатки гордой латыни. Короче говоря, он знал Флоренцию так, как не дано ее знать ни одному человеку; как не знала ее ни Джордж Элиот, ни Рескин. Он знал ее так, как может знать лишь немой. Ни единое из мириад его восприятий ни разу не подвергалось искаженью в слове.

Но хотя биографу и очень было бы лестно заключить, будто жизнь Флаша в зрелом возрасте

являла сплошную оргию наслаждений, не подвластных никакому перу; утверждать, будто (тогда как малышу ежедневно давалось новое слово, а значит, делались чуть-чуть недоступнее чувства) Флашу судьба сулила пребывать в бесконечном раю, где в первозданности сияет суть вещей и нагая их душа постигается обнаженными нервами, — это, увы, неправда. Флаш не пребывал в таком раю. Разве что дух, парящий от звезды к звезде, да какая-нибудь птица, вышним летом над арктическими снегами и лесами тропиков избавленная от вида наших жилищ и кучерявящегося над ними дымка, могут, насколько нам известно, наслаждаться этим нерушимым, неомраченным блаженством. А Флаш леживал у людей на коленях, слышал человеческие голоса. Плоть его пронизалась человеческими страстями; он знал все степени ревности, гнева, отчаяния. Летом, например, его изводили блохи. По странной прихоти, то же самое солнце, которое питало виноградную гроздь, плодило блох. «Муки Савонаролы здесь, во Флоренции, — писала миссис Браунинг, — были едва ли ужасней, чем страдания бедного Флаша». Блохи суетились во всех углах флорентийских домов. Они выпрыгивали, выскакивали из каждой щелки старых камней, из каждой складки старых обоев, из каждой мангильки, шляпки и одеяла. Они роились в шерсти у Флаша. Они пробивались сквозь густейшие заросли. Он скреб, он раздирал себе кожу. Здоровье его пошатнулось. Он помрачнел, отощал, издергался. Воззвали к мисс Митфорд. Какие есть средства от блох? — тревожно спрашивала в письме миссис Браунинг. Мисс Митфорд, по-прежнему корпевшая в теплице на Третьей Миле над историческими трагедиями, отложила перо, порылась в старых рецептах — чем пользовали Ласку, чем Цезаря? Но редингскую блоху убить проще простого. А флорентийские блохи красные и могучие. От порошков мисс Митфорд они бы только чихали. В отчаянии мистер и миссис Браунинг ползали на коленях подле лохани с водой, изо всех сил стараясь отогнать напасть с помощью

щетки и мыла. Напрасно. Наконец мистер Браунинг, выйдя однажды с Флашем на прогулку, заметил, как на того оборачиваются. Он услышал, как один прохожий, прижав к носу палец, шепнул: «La rogna» (парша). А коль скоро к этому времени «Роберт привязался к Флашу не меньше моего», выйти погулять с другом и услышать на его счет такое было уж слишком. «Терпение Роберта, — писала его жена, — истошилось». Оставалось одно лишь средство, но средство едва ли не более жестокое, чем сама болезнь. Хоть Флаш и сделался намного демократичней и равнодушной к условиям, он по-прежнему был таким, каким его аттестовал Филип Сидни, — благородный дворянин от рождения. Родословную свою он носил на себе. Шерсть для него значила то же, что значат золотые часы с фамильным гербом для промотавшегося землевладельца, для которого наследственное приволье полей сжалось в крохотный этот кружок. И вот шерстью-то и предложил пожертвовать мистер Браунинг. Он призвал Флаша и, «взяв ножницы, всего его обкорнал до полного сходства со львом».

Пока Роберт Браунинг щелкал ножницами, пока знаки отличия кокер-спаниеля падали на пол и взамен высывалась пародия на совсем иного зверя, Флаш чувствовал себя выхолощенным, раздавленным, обесцещенным. Кто я теперь? — думал он, глядясь в зеркало. И зеркало, с грубой откровенностью всех зеркал, отвечало: «Ты — ничто». Он стал никем. Конечно, он уже не был кокер-спаниель. Но пока он смотрел на себя, уши его, теперь голые (да уж, не кудрявые), кажется, дрогнули. Словно непобедимые духи истины и смеха что-то нашептывали в них. Быть ничем — в конце-то концов, не завиднейшее ли из всех состояний? Опять он глянул в зеркало. Вот она — грива. Изображать в смешном виде напыщенность тех, кто много о себе мнит, — не есть ли, в сущности, достойное предназначение? Во всяком случае, к какому бы выводу ни пришел Флаш, от блох он избавился несомненно. Он встряхнул гривой. Он

пустился в пляс на голых истончившихся ножках. Он воспрял духом. Так знаменитая красавица, встав после страшной болезни и обнаружив, что лицо ее обезображено навек, зажигает, наверное, костер из притирок и платьев и радостно хохочет при мысли, что можно теперь не смотреться в зеркало, не бояться охлаждения любовника и обаяния соперницы. Так священнослужитель, весь век потевший под сукном и крахмалом, бросает, наверное, брыжи в мусорный ящик и хватает с полки Вольтера. Так прыгал Флаш, выстриженный до комического сходства со львом, но избавясь от блох. «Флаш умен», — написала сестре миссис Браунинг. Ей, вероятно, вспомнилась греческая мудрость: только через страдания обретается счастье. Тот истинный философ, кто пожертвовал своим видом, но избавился от блох.

Но Флаш недолго ждал, чтобы новообретенная его философия подверглась искусству. Летом 1852 года в Casa Guidi вновь появились предвестия, которые, скапливаясь беззвучно, покуда открывался вот этот ящик комода или небрежно болталась из картонки бечевка, для собаки так же грозны, как тучи, предвещающие молнию пастуху, или слухи, предвещающие войну министру. Снова, значит, что-то менять, снова катить куда-то. Ну — и что же? Вытащили и стянули ремнями сундуки. Няня вынесла малыша. Вышли мистер и миссис Браунинг в дорожных костюмах. У двери стоял экипаж. Флаш философически ждал в передней. Раз они готовы, готов и он. И когда все уселись в карету, он одним махом легко прыгнул следом. В Венецию, в Рим, в Париж — куда? Все страны были теперь для него равны. Все люди ему были братья. Наконец он выучил этот урок. Но когда наконец он вышел из мрака, ему понадобилась вся его философия — он оказался в Лондоне.

Строгие кирпичные ряды домов четко вытянулись справа и слева. Вот из-за двери красного дерева с медным кольцом явилась дама, пышно облаченная в лиловые плавные бархаты. Светлая шляпка, мерцающая цветами, покоилась на волосах. По-

добрав одежды, она брезгливо озидала улицу, пока дворецкий спускал, изобочась, ступеньки ландо. Всю Уимбек-стрит — ибо это была Уимбек-стрит — обтекал оранжевый блеск — не тот чистый, ясный блеск, что в Италии, но матовый, подернутый пылью от миллионов копыт, от миллионов колес. Лондонский сезон был в разгаре. Завеса густого гула, облако смешанных шумов одним протяженным громом накрыло город. Мимо гордая шотландская борзая влекла на поводке пажа. Мерной раскачкой плыл полисмен, поигрывая фонариком. Запах жаркого, запах рагу, запахи соусов и приправ неслись из каждого полуподвала. Ливрейный лакей бросал в почтовую тумбу письмо.

Ошеломленный величием метрополии, Флаш на миг застыл у порога. Уилсон тоже застыла. Какая бедная, если подумать, эта Италия, ее дворцы, революции, и Великие Герцоги с их телохранителями! Когда мимо проплывал полисмен, она воссала хвалу небесам, что не вышла-таки за сеньора Ригхи. Но вот мрачная личность отделилась от двери углового трактира. И ухмыльнулась. Флаш опрометью кинулся в дом.

Несколько недель он был заточен в гостиной меблированных комнат на Уимбек-стрит. Заточение по-прежнему было необходимо. Разразилась-таки холера, и хоть кое-какому улучшению быта в «Грачевниках» она и вправду способствовала, но недостаточно все же, ибо собак по-прежнему воровали и собаки на Уимпол-стрит по-прежнему должны были ходить только на поводках. Флаш, разумеется, появился в обществе. Он виделся с собаками у почтовой тумбы, у трактира. И они приветствовали его возвращение с присущей им прирожденной учтивостью. В точности как английский пэр, проживший всю жизнь на Востоке и перенявший туземный обычай (намекают даже, будто он обращен в мусульманство и награбил китайскую прачку сынком), вновь заняв свое место при дворе, встречает в прежних друзьях готовность не замечать этих странных чудачеств, и его приглашают в Четсворт, ни одним, впрочем, сло-

вом, не помянув о супруге и молчаливо предполагая, что он будет допущен к семейным молитвам, — так же точно пойнтеры и сеттеры Уимпол-стрит приветствовали Флаша в своей среде, стараясь не замечать странностей его фигуры. Флашу, однако, казалось, что среди лондонских собак распространились унылые настроения. Все знали, что Нерон, пес миссис Карлейль, бросился из окна бельэтажа, покушаясь на самоубийство. Говорят, не вынес тяжелой жизни на Чейн-Роу. Флаш, оказавшись снова на Уимбек-стрит, легко мог такое себе представить. Заточение, толпы безделушек, по ночам тараканы и мухи днем, неизбывный запах баранины, назойливые бананы в буфете — все это, вместе с тесным соседством плотно одетых, редко и плохо мывшихся женщин и мужчин, утомляло и нервировало его. Он часами лежал под гостиничной шифоньеркой. Бежать на волю было нельзя. Парадную дверь запирали. Приходилось ждать, когда кто-нибудь удосужится надеть на него поводок.

Лишь два события нарушили течение скучных недель, проведенных им в Лондоне. В самом конце лета Браунинги отправились навестить преподобного Чарльза Кингсли в Фарнеме. В Италии земля была бы голая и жесткая, как кирпич. Лютовали бы блохи. Пришлось бы таскаться от тени к тени, благодаря хоть за тоненькую ее полоску, дарованную воздетой рукой какой-нибудь статуи Донателло. А в Фарнеме зеленели луга, синела вода; шушукались лесные деревья; и был такой нежный дерн, что на нем пружинили лапы. Браунинги и Кингсли провели вместе весь день. И вот когда Флаш трусил за ними следом, снова вдруг протрубил охотничий рог. Его охватило прежнее испугание. Заяц ли это, лисица ли? Флаш понесся по вереску Суррея, как он не носился со времен Третьей Мили. Фейерверком золотых и багряных искр взметнулся фазан, Флаш уже сомкнул было челюсти у него на хвосте, но тут прозвенел голос. Просвистел хлыст. Что это — неужто преподобный Чарльз Кингсли так резко его призывает к ноге?

Во всяком случае, больше уж он не бегал. В Фарнеме леса строго охранялись.

Спустя несколько недель он лежал под шифоньеркой в гостиной на Уимбек-стрит, когда вошла миссис Браунинг, одетая для прогулки, и вызвала его из-под шифоньерки. Она прикрепила к его ошейнику поводок, и впервые после сентября 1846 года они отправились вместе на Уимпол-стрит. Дойдя до двери пятидесятого номера, они остановились, как прежде. Как прежде, им пришлось подождать. Как прежде, дворецкий не торопился. Наконец дверь отворилась. Неужто это Катилина свернулся калачиком на подстилке? Старый беззубый пес зевнул, потянулся, не обращая ни на них никакого внимания. Они поднимались наверх так же тихонько, крадучись, как некогда однажды спускались. Очень тихо отворяя двери, будто боясь того, что она там может увидеть, миссис Браунинг ходила из комнаты в комнату. И делалась все печальней. «...Они показались мне, — писала она, — как-то меньше, темней, а мебель — неудобной и несообразной». По-прежнему постукивал в окно спальни плющ. По-прежнему дом напротив заслоняли веселые шторы. Ничего не изменилось. Ничего не случилось за все эти годы. Она ходила из комнаты в комнату, вспоминая плохое. Но задолго до того, как она кончила свой обход, Флаш начал безумно тревожиться. А вдруг нагрянет мистер Барретт? Нахмурится, взглянет, повернет ключ и навеки запрет их в спальне? Наконец миссис Браунинг затворила двери и, опять очень тихо, спустилась вниз. Да, решила она, в доме, кажется, не мешало бы сделать уборку.

После этого Флаш желал только одного: уехать из Лондона, уехать из Англии навсегда. Он не знал покоя, пока не очутился на палубе парохода, пересекавшего Ла-Манш. Была сильная качка. До французского берега — восемь часов. Пока пароход трясло и болтало, воспоминания вихрем проносились в голове у Флаша — дамы в лиловых бархатах, оборванцы с мешками; Риджентс-парк и королева Виктория, мелькнувшая мимо меж вер-

ховых; зеленые травы Англии, ее вонючие мостовые — все проносилось у него в голове, пока он лежал на палубе. Подняв глаза, он увидел высокого строгого господина, опершегося на перила.

— Мистер Карлейль! — услышал он возглас миссис Браунинг. После чего (не забудем — была сильная качка) Флаша ужасно стошнило. Прибежали матросы с ведрами, с тряпками. «...Его решительно согноли с палубы, бедного пса», — рассказывала миссис Браунинг. Ибо палуба была английская. Собак не должно тошнить на палубах. Таков был его прощальный привет родным берегам.

Глава шестая

КОНЕЦ

Флаш старел. Путешествие в Англию и воспоминания, которые оно воскресило, утомили его. Заметили, что теперь он предпочитает тень, а не солнце, правда, флорентийская тень жарче, чем солнце на Уимпол-стрит. Он мог часами дремать, растянувшись под статуей или устроившись под чашей фонтана ради редких капель, орошающих его шкуру. Вокруг собирались юные псы. Он им рассказывал про Уимпол-стрит и Уайтчепел; описывал запах клевера и запах Оксфорд-стрит; в который раз вспоминал одну революцию и другую — как приходили Великие Герцоги и уходили Великие Герцоги; но пестрая спаниелиха там налево по улице — она, он говаривал, остается навек. И неистовый мистер Ландор, проходя мимо, в шутку грозил ему кулаком. А добрая Ида Блэгден останавливалась и вынимала из ридикюля обсахаренный бисквит. Крестьянки на рыночной площади постилали ему листья в тени своих корзин и бросали ему виноградные грозди. Его знала, его любила вся Флоренция — знатные и простолюдины, собаки и люди.

Но он старел и все чаще норовил прикорнуть, даже не у фонтана — ибо старые кости ломило на жестких булыжниках, — а в спальне у миссис Бра-

унинг, там, где герб семейства Гуиди образовал на полу гладкий круг scagliol'ы¹, или в гостиной, под сенью стола. Вскоре после возвращения из Лондона он лежал там и крепко спал. Он спал крепко, глубоким старческим сном без грез. Да, сегодня он спал даже особенно крепко, ибо, покуда он спал, вокруг него будто сгущалась тьма. Если что и снилось ему — ему снилось, будто он спит в дремучей чащобе, отрезанной от солнечных лучей, от человеческих голосов, и только нет-нет раздавался во сне сонный щебет уснувшей птицы или, когда ветер встряхивал ветки, жирный смешок замечтавшейся обезьяны.

И вот ветки вдруг раздвинулись. Прорвался свет — там и сям, слепящими лучами. Лопотали обезьяны. Птицы метались, гоготали, кричали. Разом он проснулся и вскочил. Вокруг была удивительная кутерьма. Укладывался он спать между ножек обычного стола. Теперь он был зажат между волнением юбок и метанием брюк. Более того — сам стол дико раскачивался из стороны в сторону. Флаш не знал, куда бежать. Господи, да что же это такое? Что случилось с беднягой столом? Флаш поднял голос, он взвыл протяжно и вопросительно.

На вопрос Флаша мы не можем дать удовлетворительного ответа. Лишь немногие, да и то самые голые факты — вот и все, чем мы располагаем. Короче говоря, предположительно в начале девятнадцатого столетия графиня Блессингтон купила у чародея хрустальный шар. Ее сиятельство «так и не научилась им пользоваться». Собственно, для нее он всегда оставался хрустальным шаром, и только. Однако после ее смерти произошла распродажа пожитков, шар перешел к другим, те «смотрели глубже и более чистым взглядом» и увидели в этом шаре кое-что еще, кроме хрусталя. Явился ли покупателем лорд Стэнхоуп, он ли смотрел «более чистым взглядом» — нигде не засвидетельствовано. Но верно то, что в 1852 году лорд

¹ Мозаики (ит.).

Стэнхоуп сделался обладателем хрустального шара, и достаточно ему было в него заглянуть, как он среди прочего обнаружил там «солнечных духов». Разумеется, не такое это было зрелище, чтобы гостеприимный вельможа мог наслаждаться им один, и лорд Стэнхоуп взял за правило демонстрировать шар во время обеда и приглашать друзей, чтобы и те полюбовались на солнечных духов. Что-то упоительное — только, впрочем, не для мистера Чорли — было в этом созерцании. Шары стали модой. И к счастью, один лондонский оптик скоро обнаружил, что и сам может изготавливать такие шары, не будучи ни египтянином, ни чародеем, хотя, разумеется, в Англии хрусталь был недешев. И многие в пятидесятые годы обзавелись шарами, хотя «иные, — по свидетельству лорда Стэнхоупа, — пользовались ими, не имея мужества в том признаться». Меж тем духи взяли в Лондоне такую силу, что в публике замечалась некоторая тревога. И лорд Стэнли намекнул сэру Булвер-Литтону¹, что правительство намеревается назначить комитет, который бы «расследовал, сколько возможно, это явление». То ли слухи о намерениях правительства испугнули духов, то ли они, как и тела, предпочитают размножаться укромно, во всяком случае, духи несомненно стали выказывать признаки беспокойства и, спасаясь повальным бегством, нашли прибежище в ножках столов. Чем бы они ни руководствовались, выбор был удачен. Хрустальный шар — вещь дорогая, стол же есть почти у каждого. И когда миссис Браунинг вернулась зимой 1852 года в Италию, оказалось, что духи опередили ее. Они завелись во Флоренции чуть не в каждом столе. «От дипломатической миссии до английского аптекаря все «угощают столом». Когда собираются вокруг стола, то не ради того, чтобы играть в вист». Нет, конечно, — но ради того, чтобы расшифровать сообщения ножек стола. Например, если вы спросите про

¹ Булвер-Литтон Эдуард Джордж (1803-1873) — известный английский писатель.

возраст ребенка, стол, «изъяснясь весьма отчетливо, стучит ножками в соответствии с алфавитом». А если уж стол умеет вам сообщить, что собственному вашему ребенку четыре года, — то на что только он не способен! Вертящиеся столы рекламировались в лавках. Стены пестрели плакатами, прославляющими чудеса, «scoperte a Livorno»¹. К 1854 году — так быстро росло движение — «четыреста тысяч американских семейств засвидетельствовали, что поистине наслаждаются общением с духами». А из Англии пришло известие, что сэр Эдуард Булвер-Литтон вывез «многих стучащих духов Америки» к себе в Небуэрт с великолепнейшим результатом — маленький Артур Рассел узнал, например, созерцая «странного вида старого господина в жалком халатике», уставившегося на него во время завтрака, что сэр Эдуард Булвер-Литтон считает себя невидимым.

Когда миссис Браунинг как-то за обедом заглянула в хрустальный шар лорда Стэнхоупа, она ничего не увидела в нем, кроме, разумеется, интересного знамения времени.

Дух солнца поведал, что ей предстоит дорога в Рим, а так как в Рим она ехать не намеревалась, она воспротивилась решению духов. «Но, — правдиво добавляет она, — я люблю все чудесное». Кто-кто, а она умела дерзать. Пустилась же она тогда с риском для жизни на Мэннинг-стрит. И открыла особый мир, какой ей и не снился, всего в полчаса езды от Уимпол-стрит. Так отчего бы не быть еще и другому миру в полусекунде лета от Флоренции — миру лучше, прекраснее нашего, миру, где живут мертвые, тщетно пытаюсь с нами связаться? Во всяком случае, надо рискнуть. И она села за стол. Явился мистер Литтон², блистательный сын невидимого отца; и мистер Фредерик Теннисон³, и мистер Паурс, и мистер Виллари — и

¹ Явленные в Ливорно (*ит.*).

² Булвер-Литтон Эдуард Роберт (1831-1891) — сын писателя, дипломат, с 1876 г. — вице-король Индии.

³ Теннисон Фредерик (1807-1898) — старший брат Альфреда Теннисона; поэт.

все сели за стол, и потом, когда стол отбрыкался, они кушали чай и клубнику со сливками, и пока «Флоренция таяла среди фиолетовых гор и высыпали звезды», они говорили, говорили, говорили, «...каких мы историй тогда не рассказывали, в каких не уверяли клятвенно чудесах! О, мы все тут уверовали, Иза, кроме Роберта...» А потом ворвался глухой мистер Киркап, тряся реденькой седой бороденкой. Он пожаловал лишь затем, чтобы возвестить: «Духовный мир существует! Есть жизнь после смерти! Верую! Наконец убедился!» Ну а если уж мистер Киркап, который всегда был «чуть ли не атеист», обратился лишь оттого, что услышал (при своей глухоте) «три столь громких удара, что даже подпрыгнул», то ей ли, миссис Браунинг, оставаться в стороне от стола? «Я ведь скорее, знаете, мистик и тычусь во все двери этого мира, стараюсь выйти наружу». И она скликала верных в Casa Guidi. И они сидели в гостиной, положив руки на стол и стараясь выйти наружу.

Флаш вскочил с ужасным предчувствием. Стол стоял на одной ножке. Но что бы ни видели и ни слышали дамы и господа вокруг стола — Флаш ничего не видел и не слышал. Правда, стол стоял на одной ножке, но так же встанет и всякий стол, если его хорошенько прижать с одного боку. Флаш и сам опрокидывал столы, и ему доставалось за это. Но сейчас миссис Браунинг широко раскрытыми большими глазами смотрела в окно, будто видела что-то прекрасное. Флаш бросился на балкон. Может, какой новый Великий Герцог проезжает среди флагов и факелов? Нет, нигде ничего, только старуха нищенка съежилась на углу над корзиной со своими арбузами. А миссис Браунинг определенно видела что-то. И определенно что-то чудесное. Так вот когда-то на Уимпол-стрит она расплакалась ни с того ни с сего, и он тоже не видел никакой причины. А в другой раз она хотала и совала ему под нос каракули с кляксой. Но сейчас было не то. Что-то в ее взгляде его

испугало. И что-то в комнате ли, в столе или в юбках и брюках ужасно было противное.

Шли недели, а это увлечение невидимым все больше охватывало миссис Браунинг. Сверкал, скажем, ясный солнечный день, а ей не хотелось погулять, посмотреть, как туда-сюда юркают ящерицы, нет, она оставалась сидеть за столом; сияла синяя звездная ночь, а она не читала свою книжку, не водила рукой по бумаге, нет, она — если мистер Браунинг отлучился — призывала Уилсон, и Уилсон являлась позевывая. И обе сидели за столом, пока этот предмет обстановки, чье главное назначение — давать тень, не начнет брыкаться, и тогда миссис Браунинг вскрикивала, что это он предрекает Уилсон болезнь. Уилсон возражала, что ей просто спать охота. Но потом и сама Уилсон — суровая, стойкая британка Уилсон — вопила и падала в обморок, и миссис Браунинг металась в поисках гигиенического уксуса. Очень глупо, по мнению Флаша, было убивать на такие занятия вечера. Уж лучше бы почитать книжку.

Вечная суета, неразборчивый, но в высшей степени непривлекательный запах, брыканья, вскрики и уксус несомненно действовали Флашу на нервы. Хорошо, когда малыш Пеннини молился: «Пусть у Флаша волосики вырастут»; вполне понятные устремления. Но форма молитвы, которая требует присутствия дурно пахнущих, скверно выглядящих людей и диких выходок со стороны солидного с виду предмета черного дерева, безмерно его раздражала, как раздражала она здорового, разумного, элегантного господина — его хозяина. Но больше всяких запахов, больше всяких выходок удручал Флаша этот взгляд миссис Браунинг, когда она смотрела в окно, будто видела что-то чудесное там, где ничего не было. Флаш вставал прямо против нее. Она смотрела сквозь, будто его тут и нет. Этот ее убийственный взгляд хуже всего. Хуже, чем ее холодный гнев, когда он укусил за ногу мистера Браунинга; хуже, чем ее язвительный смех, когда ему прищемило лапу возле Риджентс-

парка. Ей-богу, иногда он грустил даже по Уим-пол-стрит и тамошним столам. Столы в пятидесятом номере никогда не скакали на одной ножке. Обведенный кружком столик, на котором лежали ее украшения, всегда стоял совсем тихо.

В те невозвратные дни ему достаточно было прыгнуть на кушетку, и мисс Барретт, тотчас очнувшись, смотрела на него. И вот он прыгнул на кушетку. Она не обратила на него внимания. Она продолжала писать: «...и по приказанию медиума руки духа взяли со стола гирлянду, которая там лежала, и возложили мне на голову. Та именно рука, которая исполняла это, была величиною с самую большую человеческую руку, притом белоснежная и редкой красоты. И была она от меня так же близко, как моя собственная рука, выводящая эти строки, и я с той же отчетливостью ее видела». Флаш действительно потерепил ее лапой. Она посмотрела на него так, будто он невидимый. Он соскочил с кушетки и побежал вниз, на улицу.

Был палящий, слепящий день. Старуха нищенка на углу дремала над своими арбузами. Солнце, будто жужжа, повисло в воздухе. Знакомыми улицами, держась теневой стороны, Флаш трусил к базарной площади. Она вся сияла навесами, рядами, зонтами. Торговки сидели возле корзин; суетились голуби, захлебывались колокола, щелкали хлысты. Туда-сюда, нюхая, щупая, рыскали разноцветные дворняги Флоренции. Все кипело, как улей, полыхало, как печь. Флаш выискал себе местечко. Он плюхнулся рядом с Катариной, своей приятельницей, возле ее корзин. Красные и желтые цветы в темном ведре бросали тень рядом. Статуя над ними, простерши правую руку, эту тень сгущала, делала фиолетовой. Флаш лежал и смотрел на молодежь, занятую своими делами. Они рычали, кусались, кувыркались, катались в полном самозабвении юного счастья. Они без передышки, без усталости гоняли друг друга, как и он когда-то гонял свою пеструю спаниелиху. На миг его мысли

перенеслись в Рединг, к собаке мистера Партриджа, к первой любви, к чистоте и восторгам юности. Что ж, он свое пожил. И он не завидовал молодым. Ему понравилось жить на этом свете. Он и теперь был не в обиде. Катарина чесала его за ухом. Она его колачивало, бывало, если стянет у нее виноград, и еще за кой-какие грешки. Но теперь он стал старый. И она стала старая. Он стерег ее арбузы, она чесала его за ухом. Она вязала, он подремывал. Над большим арбузом, казавшим красное вспоротое нутро, качался мушиный рой.

Солнце проливалось сквозь листья лилий и бело-зеленый зонт. Мраморная статуя подмешивала к его жару покалывающую свежесть шампанского. Флаш лежал, подставляясь теплу, прогревая всю шерсть до кожи. И, поджарясь, переворачивался, чтоб и другой бок тоже прогрелся. А на базаре все время болтали и торговали; ходили женщины; останавливались, трогали фрукты и овощи. Голоса сливались в ровный, шуршащий гул, который так любил слушать Флаш. Скоро он уснул под тенью лилий. Он спал так, как собаки спят, когда видят сны. Вот задергались лапы — может быть, ему снилось, что он в Испании, гонит кроликов? И мчится вверх раскаленным склоном с темнолицыми горцами, и те орут: «Спан! Спан!», и кролики прыскают из зарослей... Он снова затих. И вдруг залаял. Он тявкнул коротенько, тонко, еще и еще. Возможно, услышал, как мистер Митфорд на охоте в Рединге науськивает борзых... Потом он стал кротко вилять хвостом. Не мисс Митфорд ли кричала: «Гадкий пес! Гадкий пес!», стоя в его сне среди реп и махая зонтиком, пока он виновато к ней возвращался? А потом он всхрапнул, погружаясь в глубокий сон безмятежной старости. И вдруг по нему прошла дрожь. Он вскочил как ужаленный. Что привиделось ему? Что он на Уайтчепел, среди бандитов? И к горлу снова подносят нож?

Как бы там ни было, проснулся он в ужасе. Он пустился бежать, будто спасался от беды, от не-

минуемой гибели. Торговки хохотали, запускали в него гнилым виноградом, звали его. Он и не слышал. Несясь по улицам, он не раз чуть не угодил под колеса, и возницы ругались и стегали его для острастки хлыстом. Полуголые детишки швыряли в него камешками, кричали: «Matta, Mattal!» Выбегали матери, подхватывали их, поскорей уносили в дом. Уж не сошел ли он с ума? Перегрелся на солнце? Или вдруг снова услышал Венерин охотничий рог? Или американский стучащий дух из обитающих в ножках стола и до него наконец-то добрался? Как бы там ни было, он летел стрелой из улицы в улицу, пока не достиг дверей Casa Guidi. Он бросился прямо вверх и вбежал прямо в гостиную.

Миссис Браунинг лежала на кушетке и читала. Она вздрогнула и подняла глаза, когда он вошел. Нет, это не дух — всего только Флаш. Она засмеялась. Потом, когда он прыгнул на кушетку и ткнулся мордой ей в лицо, ей вспомнились собственные строчки:

Пред вами пес. Объятая тоской,
Забыв о нем, я грезам предалась,
Как слезы, за мечтой мечта лилась.
Вдруг у подушки над моей щекой

С лохматой, как у Фавна, головой
Предстал владелец золотистых глаз,
Со щек он слезы мне смахнул тотчас
Обвислым ухом, словно бог живой.

Тогда аркадской нимфой стала я,
Козлиный бог мою тревожит кровь,
Жду Пана в темной роще у ручья,
Но вижу Флаша, расцветают вновь
Восторг и грусть — Пан вечен, нам даря
Чрез дольных тварей горною любовь¹

Она написала эти строчки однажды, давным-давно, на Уимпол-стрит, когда была очень несчастна. Прошли годы, она была счастлива теперь. И она старела. И Флаш старел. На мгновение она склонилась над ним. Большеротая, большеглазая,

¹ Перевод А. Солянова.

с тяжелыми локонами вдоль щек, она по-прежнему до странности походила на Флаша. Расколотые надвое, но вылитые в одной форме — не дополняли ли они тайно друг друга? Но она была женщина. Он — пес. Миссис Браунинг снова принялась за чтение. Потом она опять посмотрела на Флаша. Но он не ответил на ее взгляд. Необычайная перемена произошла в нем. Она закричала: «Флаш!» Он не ответил. Только что он был живой. А теперь лежал мертвый. Вот и все. Стол гостиной, как ни странно, стоял совсем тихо.

ИСТОЧНИКИ

Нужно сознаться, что источники вышеизложенной биографии весьма скудны. Однако читателя, который захочет проверить факты или углубиться в предмет, отсылаем к материалам:

«Флашу, моему псу»,

«Флаш, или Фавн» – стихотворения Элизабет Барретт-Браунинг.

Письма Роберта Браунинга к Элизабет Барретт-Браунинг (в 2-х томах).

Письма Элизабет Барретт-Браунинг, изданные Фредериком Кеньоном (в 2-х томах).

Письма Элизабет Барретт-Браунинг Хенгисту Хорну, изданные Таунсендом Майером (в 2-х томах).

Элизабет Барретт-Браунинг. Письма к сестре (1846-1859), изданные Леонардом Хаксли.

Перси Лаббок. Элизабет Барретт-Браунинг в своих письмах.

Упоминания о Флаше имеются также в письмах Мэри Рассел Митфорд, изданных Чорли (в 2-х томах).

Относительно «Грачевников» Лондона см.: Бимз Томас. «Грачевники» Лондона (1850).

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 394. *Были они из чего-то такого раскрашенного...* — Мисс Барретт пишет: «У меня в открытом окне прозрачные шторы». И прибавляет: «Папа меня корит сходством с лавкой готового платья, однако ж ему самому положительно нравится, когда замок вспыхивает на солнце». Одни полагают, что замок и прочее были нарисованы на тонкой металлической основе; другие — что это были муслиновые занавески, все в вышивке. Установить истину с точностью едва ли возможно.

Стр. 404. *Мистер Кеньон был... слегка шепеляв по причине отсутствия двух передних зубов.* — Здесь допущены некоторое преувеличение и натяжка. В основу положено свидетельство мисс Митфорд. Известно, что она сказала в беседе с мистером Хорном: «Наш милый друг, сами знаете, никого не видит, кроме домашних да еще двух-трех лиц. Она высоко ценит выразительное чтение и тонкий вкус мистера К. и просит его ей читать ее новые стихи... Так что мистер К. стоит на каминном коврике, поднимая манускрипт и голос, а друг наш — вся слух — лежит на кушетке, окутавшись индийской шалью, потупясь и склоняя длинные черные кудри. Теперь добрый мистер К. лишился переднего зуба, правда, не совсем переднего, но почти переднего, а это, понимаете ли, влечет за

собой неверную дикцию, приятную нечеткость, легкое скольжение и слияние слогов, так что порою столпы от толпы даже не отличишь». Едва ли можно усомниться, что мистер К. — не кто иной, как мистер Кеньон; причины конспирации — в особенной стыдливости викторианцев, когда речь идет о зубах. Но тут же встает и другая, более важная для английской литературы проблема. Мисс Барретт долго обвиняли в недостатке слуха. Мисс Митфорд утверждает, что скорей следует обвинять мистера Кеньона в недостатке зуба. С другой стороны, сама мисс Барретт утверждает, что рифмы ее никак не обусловлены ни дефектами его зубов, ни дефектами ее ушей. «Много внимания, — пишет она, — куда больше, чем потребовалось бы на поиски совершенно точных рифм, уделила я раздумьям над рифмой и хладнокровно решила пойти на кое-какие смелые опыты». Эти опыты нам известны. Решать, конечно, профессорам. Но, познакомясь с характером миссис Браунинг и ее поступками, всякий склонен будет заключить, что она своенравно нарушала правила и в творчестве, и в любви, а значит, тоже повинна в развитии современной поэзии.

Стр. 411. *Желтые перчатки*. — Миссис Опп в своей «Жизни Браунинга» отмечает, что он носил желтые перчатки. Миссис Брайдл-Фокс, встречавшаяся с ним в 1835-1836 гг., сообщает: «...Он был тогда строен, смугл, очень хорош собой и, я бы даже сказала, франт, любил лимонно-желтые перчатки и тому подобные вещи».

Стр. 422. *Его украли*. — Собственно, Флаша крали три раза. Но ради единства действия, по-видимому, лучше свести три кражи к одной. Всего мисс Барретт выплатила вора 20 фунтов.

Стр. 434. «...эти лица». Они... вернутся к ней... на балконе под солнцем Италии. ...читатели «Авроры Ли»... — но поскольку таковых не существует, следует объяснить, что миссис Браунинг написала поэму под этим названием, и один из самых ярких ее пассажей (невзирая на некоторую смещенность, естественную, если художник видел предмет толь-

ко раз, да и то с высоты наемной кареты, и притом еще Уилсон дергала за подол) — это описание лондонских трущоб. У миссис Браунинг безусловно был живой интерес к людям, которого никак не могли удовлетворить бюсты Чосера и Гомера.

Стр. 444. *Лили Уилсон влюбилась... в сеньора Ригхи из герцогской стражи.* — Жизнь Лили Уилсон совершенно не изучена и прямо-таки взывает к услугам биографа. Ни одно лицо из переписки Браунингов, кроме главных героев, не подстрекает так нашего любопытства и так не обманывает его. Имя ее Лили, фамилия Уилсон. Вот и все, что мы знаем о ее рождении и воспитании. Была ли она дочкой фермера по соседству с Хоуп-Энд и произвела приятное впечатление на кухарку Барреттов благопристойностью манер и чистотою фартука, столь приятное, что, когда ее по какой-то надобности прислали в господский дом, миссис Барретт нашла повод явиться на кухню и, тотчас одоблив выбор кухарки, взяла Лили горничной к мисс Элизабет; или она была кокни; или она была из Шотландии — установить невозможно. Во всяком случае, в 1846 г. она служила у Барреттов. Она была «дорогая служанка». Ей платили 16 фунтов в год. Коль скоро говорила она почти так же редко, как Флаш, черты ее характера мало известны; а коль скоро про нее мисс Барретт стихов не писала, наружность ее куда менее известна, чем его наружность. Однако по кое-каким строкам из писем ясно, что сначала она была из тех чинных, почти нечеловечески исправных горничных, которые составляли тогда славу английских полуподвалов. Уилсон, очевидно, истово придерживалась правил и церемоний. Уилсон, без сомнения, блюла «места»; она бы первая настаивала на том, чтоб низшая прислуга ела свой пудинг в одном помещении, а высшая прислуга в другом. Все это проглядывает в декорации, которую она сделала, когда побила Флаша рукой: «так ему следует». Того, кто чтит обычай, естественно, ужасает всякое его нарушение; потому, столкнувшись с иными обычаями на Мэннинг-стрит, она куда больше перепугалась и

куда больше верила, что их могут убить, чем в это верила мисс Барретт. Но героизм, с каким она поборола свой ужас и села в карету с мисс Барретт, доказывает, как истово блюла она и другой обычай — верность хозяйке. Раз едет мисс Барретт — Уилсон тоже поедет. Этот же принцип она провела блестяще во время побега. Мисс Барретт сомневалась в мужестве Уилсон; и сомнения оказались неосновательны. «Уилсон, — писала она, и это были последние ее строки, которые она писала мистеру Браунингу, еще оставаясь мисс Барретт, — была великолепна. А я-то! Называть ее робкой, страшиться ее робости! Я начинаю думать, что никто не бывает так храбр, как робкий, если его раззадорить». Стоит, однако, в скобках остановиться на превратностях жизни служанки. Не последуй Уилсон тогда за мисс Барретт, ее, как мисс Барретт знала, «вышвырнули бы на улицу еще до захода солнца» с несколькими шиллингами, скопленными из ее шестнадцати фунтов в год. И что бы она тогда стала делать? Но поскольку английских романистов сороковых годов не занимала жизнь горничных, а биографы никогда не опускали так низко свой пылкий фонарь, вопрос остается без ответа. И Уилсон решилась. Она объявила, что «пойдет за мной на край света». Она бросила полуподвал, свою комнату, весь мир Уимпол-стрит, воплощавший для нее цивилизацию, здравомыслие и благопристойность, ради дикой, распутной, безбожной чужбины. Нет ничего любопытней борьбы, разыгравшейся там между тонкими английскими понятиями Уилсон и ее естеством. Она презрела итальянский Двор; ее ужаснула итальянская живопись. Но хотя «ее отпугнула непристойность Венеры», Уилсон, к чести ее будь сказано, кажется, сообразила, что женщины под одеждой все голые. Ведь и сама-то я, подумала она, вероятно, две-три секунды в день голая бываю. А потому «она решилась снова попробовать и мучительную стыдливость, быть может, удастся преодолеть». Известно, что удалось это очень скоро. Уилсон не просто смирилась с

Италией; она влюбилась в сеньора Ригхи из герцогской стражи («все они на прекрасном счету, весьма порядочные люди и футов шести ростом»), надела обручальное кольцо; отказала лондонскому воздыхателю; и училась говорить по-итальянски. Далее все вновь покрывается туманом. Когда же он рассеивается, мы видим Уилсон покинутой. «Неверный Ригхи порвал помолвку с Уилсон». Подозрение падает на брата сеньора Ригхи, оптового торговца щепетильным товаром в Прато. Выйдя из герцогской стражи, Ригхи, по совету своего брата, занялся галантерейным делом. Требовало ли его новое положение осведомленности жены в щепетильной торговле, удовлетворяла ли этому требованию одна из девушек Прато — известно одно: он не писал Уилсон так часто, как следовало. Но чем «весьма порядочный человек на прекрасном счету» довел к 1850 г. миссис Браунинг до восклицания: «Уилсон решительно с этим покончила, что делает честь ее нравственному чувству и разуму. Как бы могла она и дальше любить такого человека?» Отчего Ригхи за столь короткий срок превратился в «такого человека» — сказать мы не можем. Покинутая им, Уилсон все больше и больше привязывалась к семье Браунингов. Она не только исправляла обязанности горничной, но еще и пекла пироги, шила платья и стала преданной нянькой малышу Пенини; так что Пенини даже произвел ее в ранг члена семьи, к которой она по справедливости принадлежала, и отказывался называть ее иначе как Лили. В 1855 г. Уилсон вышла замуж за Романьоли, слугу Браунингов, «славного человека с добрым сердцем», и какое-то время они вдвоем вели хозяйство Браунингов. Но в 1859 г. Роберт Браунинг «взял на себя опеку над Ландором», задачу нелегкую и ответственную, ибо Ландор был несносен. «Сдержанности в нем никакой, — писала миссис Браунинг, — и ужасная подозрительность». И вот Уилсон произвели в его домоправительницы с жалованьем двадцать два фунта в год, «кроме того, что оставалось от его довольствия». Потом жало-

ванья прибавили до тридцати фунтов, так как роль домоправительницы при «старом льве» с «замашками тигра», который швыряет тарелку за окно или об пол, когда ему не по вкусу обед, и подозревает слуг в том, что они лезут по шкафам, «связана, — замечает миссис Браунинг, — с известным риском, которого я бы, например, постаралась избежать». Но Уилсон знавала мистера Барретта в гневе, и несколько тарелок больше или меньше летело в окно и хлопалось об пол — это уж для нее были мелочи жизни.

Жизнь эта, насколько она доступна нашему взгляду, была, конечно, странная жизнь. Началась она в глухом уголке Англии или в каком другом месте — кончилась она в Венеции, в Палаццо Реццониго. Там, во всяком случае, она жила еще в 1897 г., вдовою, в доме того самого мальчика, которого она нянчила и любила, — мистера Барретта-Браунинга. Да, очень странная жизнь, думала она, наверное, когда сидела в красных лучах венецианского заката и дремала — старая, старая женщина. Подружки ее повыводили за работников и по-прежнему, верно, шлепали по проселкам за пивом. А она вот сбежала с мисс Барретт в Италию; и чего ни понавидалась — революций, телохранителей, духов; и мистер Ландор швырял тарелки в окно. А потом умерла миссис Браунинг — да, много всяких мыслей роилось в голове у старой Уилсон, когда она сидела вечером у окна в Палаццо Реццониго. Но напрасно стали бы мы прикидываться, будто можем их разгадать, ибо была она из той несчетной армии своих сестер — непроницаемых, почти неслышных, почти невидимых горничных, — что прошла по нашей истории. «Более честного, благородного и преданного сердца, чем Уилсон, нигде не найти», — эти слова ее госпожи пусть будут ей эпитафией.

Стр. 454. *...его изводили блохи.* — В середине прошлого века Италия, кажется, славилась блохами. Они помогали даже преодолевать условности, иначе незыблемые. Когда, например, Натаниел Готорн был в гостях у мисс Бремер в Риме (1858), «...мы

говорили о блохах — эти насекомые в Риме никого не минуют и не милуют и столь привычны и неизбежны, что на них принято жаловаться, ничуть не стесняясь. Одна блоха нещадно мучила мисс Бремер, бедняжку, пока та разливала нам чай».

Стр. 458. *Нерон... бросился из окна бельэтажа* — Нерон (1849—1860), согласно Карлейлю, был «маленький кубинский (мальтийский? А то и безродный?) пудель; почти весь белый — чрезвычайно ласковый, веселый песик, не обладавший иными достоинствами и почти совсем невоспитанный». Материалов для его жизнеописания сохранилось множество, но здесь не место использовать их. Достаточно сказать, что его украли; что он явился к Карлейлю с прикрепленным к ошейнику неподписанным чеком на сумму, достаточную для покупки коня; что «два или три раза я бросал его в море (в Абердуре), и это вовсе ему не понравилось»; что в 1850 г. он выпрыгнул из окна кабинета и, миновав подвальные колышки, упал «плашмя» на мостовую. «Он позавтракал, — сообщает мисс Карлейль, — и стоял в открытом окне, наблюдая птиц... Я лежала в постели и вдруг слышу за деревянной перегородкой голос Элизабет: «Господи! Нерон!» — и она молнией кинулась вниз... Я вскочила и побежала, уже ей навстречу, в ночной рубашке... М-р К. вышел из спальни с намыленным подбородком и спросил: «Что такое с Нероном?» — «Ох, сэръ, как бы он все ноги себе не переломал, он выскочил из вашего окна!» — «Ах Боже ты мой», — сказал м-р К. и пошел бриться дальше». Кости, однако, остались целы, и он выжил, но попал под тележку мясника и погиб от увечий 1 февраля 1860 г. Он покоится на углу сада в Чейн-Роу под маленькой каменной табличкой.

Вопрос в том, намеревался ли Нерон покончить с собой или всего лишь, как позволительно заключить из свидетельства мисс Карлейль, погнался за птичкой, мог бы послужить поводом для интереснейшего трактата о психологии собак. Одни полагают, что пес Байрона сошел с ума вследствие

единомыслия с Байроном; другие — что Нерона довело до безысходной точки общество мистера Карлейля. Вообще же более широкая проблема: как сказывается на собаках дух эпохи, и можно ли одного пса причислять к елизаветинцам, другого к георгианцам, а третьего к викторианцам в соответствии с тем влиянием, которое на них оказала философия и поэзия их хозяев, заслуживает подробного рассмотрения в особом исследовании. Пока мотивы Нерона остаются невыясненными.

Стр. 463. *Сэр Эдуард Булвер-Литтон считает себя невидимым.* — Миссис Джэксон в «Викторианском детстве» пишет: «Лорд Артур Рассел мне рассказывал, спустя уже много лет, как мать возила его мальчиком в Небуэрт. Утром, когда он сидел за столом и завтракал, появился странного вида старый господин в жалком халатике и стал медленно обходить вокруг стола, вглядываясь по очереди в лицо каждого гостя. Лорд Артур услышал, как сосед его матери ей шепнул: „Не обращайтесь на него внимания. Он считает себя невидимым“. То был лорд Литтон собственной персоной».

Стр. 469. *А теперь лежал мертвый.* — Точно известно, что Флаш умер, но когда и при каких обстоятельствах, мы не знаем. По единственному сохранившемуся свидетельству «Флаш дожил до прекрасной старости и похоронен под Casa Guidi». Миссис Браунинг похоронена на Английском кладбище во Флоренции, Роберт Браунинг — в Вестминстерском аббатстве. Флаш до сих пор лежит, стало быть, под тем домом, где жили когда-то Браунинги.

СОДЕРЖАНИЕ

МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ. Роман.	5
НА МАЯК. Роман.	193
ФЛАШ. Повесть.	381

Литературно-художественное издание

Вирджиния Вулф
МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ

Ответственный редактор *Марина Бережная*
Художник *Дмитрий Майстренко*
Художественный редактор *Вадим Пожидаев*
Технический редактор *Марина Андреева*
Верстка *Нины Грибещенко*
Корректоры *Маргарита Ахметова, Виктория Листова*

Подписано к печати с оригинала-макета 04.06.93.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура Palatino. Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 100 000 экз. Изд. № 218.
Заказ 351. Цена свободная.

Издательство «Северо-Запад»
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор»,
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15



Только настоящая женщина могла написать эту книгу.

Мир, в котором живут герои Вирджинии Вулф, словно соткан из мелочей, пустяков, взглядов, жестов, деталей — в нем неуловимо слиты прошлое и настоящее, «здесь и там», потому что это мир чувства, и именно чувство, а не сухая логика определяет, что важно, а что нет, превращая момент в вечность, а пустяк в событие.

А за этим искусно сотканным покрывалом сокрыта глубина психологического и философского осмысления жизни: сквозь эту бездонную толщу, как сквозь увеличительное стекло, видим мы взбалмошную и надломленную Кларису Дэллоуэй, обаятельную хозяйку большого дома миссис Рэмзи, художницу Лили Бриско и Элизабет Браунинг, хозяйку милого спаниеля Флаша.

Эта книга — для тех, кто не разучился быть чутким и вдумчивым. Для настоящих женщин!